

**ЛЕВ
ТОЛСТОЙ**

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ 26

**ПРОИЗВЕДЕНИЯ
1885–1889 гг.**

Весь Толстой в один клик

Лев Толстой

**Полное собрание сочинений. Том
26. Произведения 1885–1889 гг.**

«Библиотечный фонд»

1885-1889

Толстой Л. Н.

Полное собрание сочинений. Том 26. Произведения 1885–1889 гг.
/ Л. Н. Толстой — «Библиотечный фонд», 1885-1889 — (Весь
Толстой в один клик)

Содержание

Лев Николаевич	6
Предисловие к электронному изданию	7
ПРОИЗВЕДЕНИЯ	10
ПРЕДИСЛОВИЕ К ДВАДЦАТЬ ШЕСТОМУ ТОМУ.	11
РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.	12
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ	14
ХОЛСТОМЕР.	14
Глава I.	14
Глава II.	15
Глава III.	17
Глава IV.	18
Глава V.	19
ночь 1-я.	20
Глава VI.	22
ночь 2-я.	22
Глава VII.	25
ночь 3-я.	25
Глава VIII.	25
ночь 4-я.	25
ночь 5-я.	27
Глава IX.	28
Глава X.	28
Глава XI.	30
Глава XII.	32
ПЕРВЫЙ ВИНОКУР, ИЛИ КАК ЧЕРТЕНОК КРАЮШКУ	35
ЗАСЛУЖИЛ.	
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.	35
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.	37
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ.	42
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.	47
ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ.	53
ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ.	60
СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА.	63
I.	63
II.	67
III.	71
IV.	75
V.	78
VI.	81
VII.	82
VIII.	84
IX.	88
X.	89
XI.	90
XII.	92

[ОКОНЧАНИЕ «МАЛОРОССИЙСКОЙ ЛЕГЕНДЫ» «СОРОК ЛЕТ», ИЗДАННОЙ КОСТОМАРОВЫМ В 1881 г.]	94
ТЕЧЕНИЕ ВОДЫ.	97
ВЛАСТЬ ТЬМЫ	98
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.	98
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.	127
ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ.	153
ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.	184
СЦЕНА 2-я.	201
ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ.	214
СЦЕНА 1-я.	214
СЦЕНА 2-я.	228
МУДРАЯ ДЕВИЦА.	235
БЕСЕДА ДОСУЖИХ ЛЮДЕЙ.	236
ХОДИТЕ В СВЕТЕ, ПОКА ЕСТЬ СВЕТ.	239
I.	239
II.	243
III.	245
IV.	248
V.	252
VI.	255
VII.	258
VIII.	260
IX.	265
X.	266
ТРИ СЫНА	269
СТАТЬИ	271
ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «ЦВЕТНИК».	271
О ЖИЗНИ	273
ВСТУПЛЕНИЕ.	273
Конец ознакомительного фрагмента.	278

**Лев Николаевич
Толстой
Полное собрание сочинений. Том 26
Произведения
1885—1889 гг.**

Государственное издательство
«Художественная литература»
Москва – 1936

Электронное издание осуществлено компаниями [ABBY](#) и [WEXLER](#) в рамках крауд-сорсингового проекта [«Весь Толстой в один клик»](#)

Организаторы проекта:

[Государственный музей Л. Н. Толстого](#)

[Музей-усадьба «Ясная Поляна»](#)

[Компания АБВУ](#)

Подготовлено на основе электронной копии 26-го тома Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого, предоставленной [Российской государственной библиотекой](#)

Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru

Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам report@tolstoy.ru

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л. Н. Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л. Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером – компанией АBBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные произведения* публикуются в электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л. Н. Толстого.

*Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»
Фекла Толстая*

L É O N T O L S T O Ï

O E U V R E S C O M P L È T E S

SOUS LA RÉDACTION GÉNÉRALE

de V. TCHERTKOFF

AVEC LA COLLABORATION DU COMITÉ DE RÉDACTION:

K. CHOKHOR-TROTSKY, N. GOUDZY, N. GOUSSEFF, A. GROUSINSKY,
N. PIKSANOFF, N. RODIONOFF, P. SAKOULINE, V. SRESNEVSKY,
A. TOLSTÁĀ et M. TSIAVLOVSKY

SANCTIONNÉE PAR LA COMMISSION DE RÉDACTION D'ÉTAT:
V. BONTCH-BROUÏÉVITCH, J. LOUPPOL et M. SAVELIEFF

PREMIÈRE SÉRIE

O E U V R E S

T O M E

26

É D I T I O N D ' É T A T
M O S C O U — 1 9 3 6

Л. Н. Т О Л С Т О Й

П О Л Н О Е С О Б Р А Н И Е С О Ч И Н Е Н И Й

2. *изд.* ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
В. Г. ЧЕРТКОВА

ПРИ УЧАСТИИ РЕДАКТОРСКОГО КОМИТЕТА В СОСТАВЕ
А. Е. ГРУЗИНСКОГО, И. К. ГУДЗИ, И. И. ГУСЕВА, И. К. ПИЕСАНОВА,
И. С. РОДИОНОВА, И. И. САКЗЛИНА, В. И. СРЕЗНЕВСКОГО, А. Л. ТОЛСТОЙ,
М. А. ЦЫВЛОВСКОГО и К. С. ШОХОР-ТРОЦКОГО

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ
В СОСТАВЕ В. Д. БОНИЧ-ВРУЕВИЧА, И. К. ЛУШНОЛА
и М. А. САВЕЛЬЕВА

СЕРИЯ ПЕРВАЯ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Т О М
26

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА — 1986

Перепечатка разрешается безвозмездно.

—
Reproduction libre pour tous les pays.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1885—1889

РЕДАКТОРЫ:

П. В. БУЛЫЧЕВ

Л. И. ГРОССМАН

Н. К. ГУДЗИЙ

А. И. НИКИФОРОВ

Б. М. ЭЙХЕНБАУМ

ПРЕДИСЛОВИЕ К ДВАДЦАТЬ ШЕСТОМУ ТОМУ.

В состав настоящего тома входят художественные произведения, над которыми Толстой работал в период времени с 1884 по 1889 год. Одно из них, именно «Холстомер», законченное в 1885 году, было, впрочем, начато еще в 1863 году. Пять печатающихся здесь произведений Толстого представляют собой неотделанные и незаконченные им наброски, из которых четыре (драматическая обработка легенды об Аггее, «Жил в селе человек – звать его Николай»; «Миташа» и статья «Благо только для всех») были опубликованы после смерти Толстого, отрывок же «В некотором царстве, в некотором государстве жил был царь» публикуется впервые в настоящем издании. Помимо неопубликованных доселе вариантов отдельных эпизодов входящих в данный том произведений, здесь печатается целиком самая ранняя черновая редакция «Смерти Ивана Ильича». Сообщаются впервые также исправления, сделанные Толстым в печатном экземпляре «Власти тьмы».

Из статей, вошедших в данный том, впервые появляются в печати: «Благо только для всех», «О Гоголе», «К молодым людям» и ряд вариантов трактата «О жизни». Ряд значительных вариантов дается к статье «Николай Палкин».

Работу по составлению алфавитного указателя произвел В. С. Мишин.

П. В. Бульчев

Л. П. Гроссман

Н. К. Гудзий

А. И. Никифоров

Б. М. Эйхенбаум

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.

Тексты произведений, *печатавшихся при жизни* Л. Толстого, печатаются по новой орфографии, но с воспроизведением больших букв во всех тех случаях, где они употребляются Толстым, и начертаний до-Гротовской орфографии в тех случаях, когда эти начертания отражают произношение Толстого и лиц его круга (брычка, цаловать).

При воспроизведении текстов, *не печатавшихся при жизни* Толстого (произведения, окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые, а также и черновые тексты), соблюдаются следующие правила:

Текст воспроизводится с соблюдением всех особенностей правописания, которое не унифицируется, т. е. в случаях различного написания одного и того же слова все эти различия воспроизводятся («этаго» и «этого»).

Слова, не написанные явно по рассеянности, вводятся в прямых скобках, без всякой оговорки.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание. Это ударение не оговаривается в сноске.

Ударения (в «что» и других словах), поставленные самим Толстым, воспроизводятся, и это оговаривается в сноске.

Неполно написанные конечные буквы (как, напр., крючок вниз вместо конечного «ъ» или конечных букв «ся» в глагольных формах) воспроизводятся полностью без каких-либо обозначений и оговорок.

Условные сокращения (т. н. «аббревиатуры») типа «к^{ый}», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках: «к[отор]ый», «т[акъ] к[акъ]» и т. п. лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в чтении.

Слитное написание слов, объясняемое лишь тем, что слова, в процессе беглого письма, для экономии времени и сил писались без отрыва пера от бумаги, не воспроизводится.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные явно по рассеянности дважды, воспроизводятся один раз, но это оговаривается в сноске.

После слов, в чтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках: [?]

На месте не поддающихся прочтению слов ставится: [1 неразобр.] или: [2 неразобр.] и т. д., где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что редактор признает важным в том или другом отношении.

Незачеркнутое явно по рассеянности (или зачеркнутое сухим пером) рассматривается как зачеркнутое и не оговаривается.

Более или менее значительные по размерам места (абзац или несколько абзацев, глава или главы), перечеркнутые одной чертой или двумя чертами крест-на-крест и т. п., воспроизводятся *не* в сноске, а в самом тексте, и ставятся в ломаных < > скобках, но в отдельных случаях допускается воспроизведение в ломаных скобках в тексте, а не в сноске, и одного или нескольких зачеркнутых слов.

Написанное Толстым в скобках воспроизводится в круглых скобках. Подчеркнутое печатается курсивом, дважды подчеркнутое – курсивом с оговоркой в сноске.

В отношении пунктуации: 1) воспроизводятся все точки, знаки восклицательные и вопросительные, двоеточия и многоточия (кроме случаев явно ошибочного употребления); 2) из запятых воспроизводятся лишь поставленные согласно с общепринятой пунктуацией; 3) ставятся все знаки в тех местах, где они отсутствуют с точки зрения общепринятой пунктуации, причем отсутствующие тире, двоеточия, кавычки и точки ставятся в самых редких случаях.

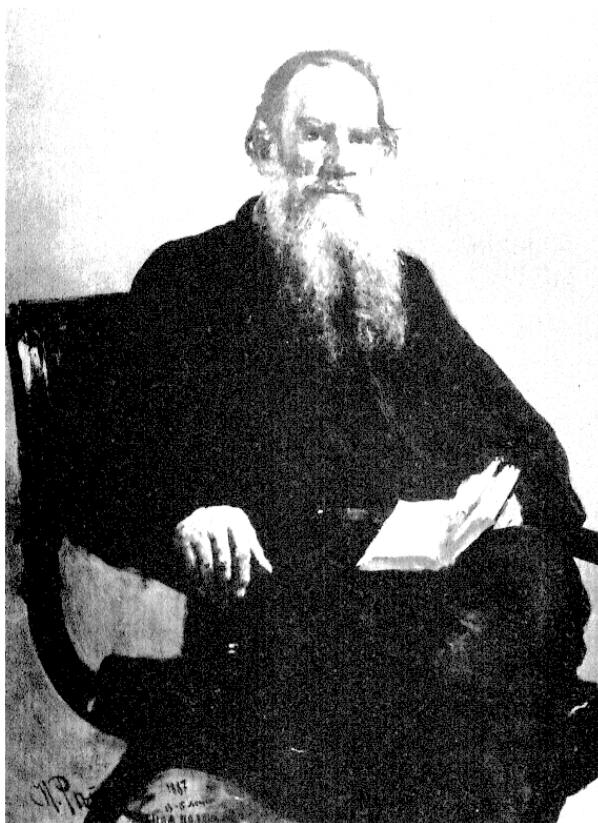
При воспроизведении многоточий Толстого ставится столько же точек, сколько стоит у Толстого.

Воспроизводятся все абзацы. Делаются отсутствующие в диалогах абзацы без оговорки в сноске, а в других, самых редких случаях – с оговоркой в сноске: «*Абзац редактора*».

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому и печатаемые в сносках (внизу страницы), печатаются (петитом) без скобок.

Переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие редактору, печатаются в прямых [] скобках.

Пометы: в оглавлении томов, на шмуцтитулах и в тексте, как при названиях произведений, так и при номерах вариантов, означают: * – что печатается впервые, ** – что напечатано после смерти Толстого, – что не вошло ни в одно из собраний сочинений Толстого и что печаталось со значительными сокращениями и искажениями текста.



Л. Н. ТОЛСТОЙ.

1887 г.

Портрет работы И. Е. Репина.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1885—1889.

ХОЛСТОМЕР.

История лошади.

Посвящается памяти М. А. Стаховича.¹

Глава I.

Всё выше и выше поднималось небо, шире расплывалась заря, блее становилось матовое серебро росы, безжизненнее становился серп месяца, звучнее – лес, люди начинали подниматься, и на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фыркание, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржание столпившихся и повздоривших за что-то лошадей.

– Ноо! успеешь! проголодались! – сказал старый табунщик, отворяя скрипящие ворота. – Куда? – крикнул он замахиваясь на кобылку, которая сунулась было в ворота.

Табунщик Нестер был одет в казакин, подпоясанный ремнем с набором, кнут у него был захлестнут через плечо, и хлеб в полотенце был за поясом. В руках он нес седло и уздечку.

Лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика, они сделали вид, что им всё равно, и не торопливо отошли от ворот, только одна старая каракочная гривастая кобыла приложила ухо и быстро повернулась задом. При этом случае молодая кобылка, стоявшая сзади и до которой это вовсе не касалось, взвизгнула и поддала задом первой попавшейся лошади.

– Ноо! – еще громче и грознее закричал табунщик и направился в угол двора.

Из всех лошадей, находившихся на варке (их было около сотни), меньше всех нетерпения показывал пегий мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и, прищуриль глаза, лизавший дубовую соху сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом пегий мерин, но выражение его было серьезно и задумчиво, когда он это делал.

– Балуй! – опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя к нему и кладя на навоз подле него седло и залоснившийся потник.

Пегий мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестера. Он не засмеялся, не рассердился, не нахмурился, а понес только всем животом и тяжело, тяжело вздохнул и отвернулся. Табунщик обнял его шею и надел уздечку.

– Что вздыхаешь? – сказал Нестер.

Мерин взмахнул хвостом, как будто говоря: «так, ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, причем мерин приложил уши, выражая, должно быть, свое неудовольствие, но его только выбрали за это дрянью и стали стягивать подпруги. При этом мерин надулся, но ему всунули палец в рот и ударили коленом в живот, так что он должен был выпустить дух. Несмотря на то, когда зубом подтягивали трок, он еще раз приложил уши и даже

¹ Сюжет этот был задуман М. А. Стаховичем, автором «Ночного» и «Наездники» и передан автору А. А. Стаховичем.

оглянулся. Хотя он знал, что это не поможет, он всё-таки считал нужным выразить, что ему это неприятно и всегда будет показывать это. Когда он был оседлан, он отставил оплывшую правую ногу и стал жевать удила, тоже по каким-то особенным соображениям, потому что пора ему было знать, что в удилах не может быть никакого вкуса.

Нестер по короткому стремени влез на мерина, размотал кнут, выпростал из-под колена казакин, уселся на седле особенной, кучерской, охотничьей, табунщицкой посадкой и дернул за поводья. Мерин поднял голову, изъясняя готовность итти, куда прикажут, но не тронулся с места. Он знал, что прежде чем ехать, многое еще будут кричать, сидя на нем, приказывать другому табунщику Ваське и лошадям. Действительно, Нестер стал кричать: «Васька! а Васька! Маток выпустил, что ль? Куда ты, лешой! Но! Аль спишь. Отворяй, пушай наперед матки пройдут» и т. д.

Ворота заскрипели, Васька сердитый и заспанный, держа лошадь в поводу, стоял у вереи и пропускал лошадей. Лошади одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить, молодые кобылки, стригуны, сосунчики и тяжелые матки, осторожно, по одной, в воротах пронося свои утробы. Молодые кобылки теснились иногда по двое, по трое, кладя друг другу головы через спины, и торопились ногами в воротах, за что всякий раз получали бранные слова от табунщиков. Сосунчики бросались к ногам иногда чужих маток и звонко ржали, отзываясь на короткое гоготанье маток.

Молодая кобылка шалунья, как только выбралась за ворота, загнула вниз и на бок голову, взнесла задом и взвизгнула; но всё-таки не посмела забежать вперед серой, старой осыпанной гречкой Жулдыбы, которая тихим, тяжелым шагом, с боку на бок переваливая брюхо, степенно шла, как всегда, впереди всех лошадей.

За несколько минут столь оживленный полный варок, печально опустел; грустно торчали столбы под пустыми навесами и виднелась одна измятая, унавоженная солома. Как ни привычна была эта картина опустения пегому мерину, она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно, как бы кланяясь, опустил и поднял голову, вздохнул, насколько ему позволял стянутый трок, и ковыляя своими погнутыми нерасходившимися ногами, побрел за табуном, унося на своей костлявой спине старого Нестера.

«Знаю теперь, как выедем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой, – думал мерин. – Я рад этому, потому что, рано поутру с росой, мне приятен этот запах и напоминает много приятного, досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком; а мне больно с этой стороны. Впрочем бог с ним, мне не в новости страдать для удовольствия других. Я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбриться ему одному, пока его никто не видит, пускай сидит боком», рассуждал мерин и, осторожно ступая покоробленными ногами, шел по середине дороги.

Глава II.

Пригнав табун к реке, около которой должны были пастись лошади, Нестер слез и расседлал. Табун между тем уже медленно стал разбираться по несбитому еще лугу, покрытому росой и паром, поднимавшимся одинаково от луга и от реки, огибавшей его.

Сняв уздечку с пегого мерина, Нестер почесал его под шеей, в ответ на что мерин, в знак благодарности и удовольствия, закрыл глаза. – Любит, старый пес! – проговорил Нестер. Мерин же несколько не любил этого чесанья и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно, он помотал головой в знак согласия. Но вдруг, совершенно неожиданно и без всякой причины, Нестер, предполагая, может быть, что слишком большая фамильярность может дать ложные о своем значении мысли пегому мерину, Нестер без всякого приготовления оттолкнул

от себя голову мерина и, замахнувшись уздой, очень больно ударил пряжкой узды мерина по сухой ноге и, ничего не говоря, пошел на бугорок к пню, около которого он сживал обыкновенно.

Поступок этот хотя и огорчил пегого мерина, он не показал никакого вида и, медленно помахивая вылезшим хвостом и приносясь к чему-то, и только для рассеянья пощипывая траву, пошел к реке. Не обращая никакого внимания на то, что выделяли вокруг него образованные утром молодые кобылки, стрыгунки и сосунчики, и зная, что здоровее всего, особенно в его лета, прежде напиться хорошенько натошак, а потом уже есть, он выбрал где поотлогее и просторнее берег, и, моча копыты и щетку ног, всунул храп в воду и стал сосать воду сквозь свои прорванные губы, поводить наполнявшимися боками и от удовольствия помахать своим жидким, пегим хвостом с оголенной репицею.

Бурая кобылка, забияка, всегда дразнившая старика и делавшая ему всякие неприятности, и тут по воде подошла к нему, как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намотить ему воду перед носом. Но пегий уж напился и, как будто не замечая умысла бурой кобылки, спокойно вытащил одну за другой свои увязшие ноги, отряхнул голову и, отойдя в сторонку от молодежи, принялся есть. На различные манеры отставляя ноги и не топчя лишней травы, он, почти не разгибаясь, ел ровно три часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок на худых крутых ребрах, он установился ровно на всех четырех больных ногах так, чтобы было как можно менее больно, особенно правой передней ноге, которая была слабее всех, и заснул.

Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая и величественная вместе. Старость пегого мерина была именно такого рода.

Мерин был роста большого – не менее 2-х аршин 3-х вершков. Мастью он был воронопегий. Таким он был, но теперь вороные пятна стали грязно-бурого цвета. Пежина его составлялась из трех пятен; одно на голове с кривой, с боку носа, лысиной и до половины шеи. Длинная и засоренная репьями грива была где белая, где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого бока и до половины живота, третье пятно на крупе, захватывая верхнюю часть хвоста и до половины ляжек. Остаток хвоста был белесоватый, пестрый. Большая костлявая голова с глубокими впадинами над глазами и отвисшей, разорванной когда-то черной губой тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной, шее. Из-за отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, опускались низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать липших мух. Один клочок еще длинный от чолки висел сзади за ухом, открытый лоб был углублен и шершав, на просторных салазках мешками висела кожа. На шее и голове жилы связались узлами, вздрагивавшими и дрожавшими при каждом прикосновении мухи. Выражение лица было строго-терпеливое, глубокомысленное и страдальческое. Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пегина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее; но стертые на ляжках, видимо, давно, и шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несоразмерно длинны по худобе стана. Ребра, хотя и крутые, были так открыты и обтянуты, что шкура, казалось, присохла к лощинкам между ними. Холка и спина были испещрены старыми побоями, и сзади была еще свежая опухшая и гноящаяся болячка, черная репица хвоста с обозначавшимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе, около хвоста, была заросшая белыми волосами в ладонь рана, в роде укуса, другая рана-рубец видна была в передней лопатке. Задние коленки и хвост были нечисты от постоянного расстройства желудка. Шерсть по всему телу, хотя и короткая, стояла торчком. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее, а знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь. —

Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные маслаки, такие копыты, такую тонкость кости ноги, такой постанок шеи, главное, такую кость головы, глаз – большой, черный и светлый, и такие породистые комки жил около головы и шеи, и тонкую шкуру и волос. – Действительно, было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страшном соединении в ней отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти, и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия сознательной красоты и силы.

Как живая развалина, он стоял одиноко посереде росистого луга, а недалеко от него слышались топот, фырканье, молодое ржанье, взвизгиванье рассыпавшегося табуна.

Глава III.

Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестело на траве и извилах реки. Роса обсыхала и собиралась каплями, кое-где, около болотца, и над лесом, как дымок, расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветру еще не было. За рекой щетинкой стояла зеленая, свертывавшаяся в трубку рожь, и пахло свежей зеленью и цветом. Кукушка куковала с прихрипываньем из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворонки поднимались над рожью и лугом. Запоздалый заяц попался между табуна и, выскочив на простор, сел у куста и прислушивался. Васька задремал, уткнув голову в траву, кобылки еще просторнее, обойдя его, рассыпались по низу. Старые, пофыркывая, прокладывали по росе светлый следок и всё выбирали такое место, где бы никто не мешал им, но уж не ели, а только закусывали вкусными травками. Весь табун незаметно подвигался в одном направлении. И опять – старая Жулдыба, степенно выступая впереди других, показывала возможность идти дальше. Молодая, в первый раз ожеребившаяся, вороная Мушка беспрестанно гоготала и, подняв хвост, фыркала на своего лиловенького сосунчика, который дрожа коленами ковылял около ней. Караковая холостая Ласточка, как атласная, гладкая и блестящая шерстью, опустив голову так, что черная шелковистая чолка закрывала ей лоб и глаза, играла с травой, – щипнет и бросит и стукнет мокрой от росы ногой с пушистой щеткой. Один из старших сосунчиков, должно быть воображая себе какую-нибудь игру, уже 26 раз, подняв панашем коротенький кудрявый хвостик, обскакал кругом своей матки, которая спокойно щипала траву, успев уже привыкнуть к характеру своего сына, и только изредка косилась на него большим черным глазом. Один из самых маленьких сосунов, черный, головастый, с удивленно торчащей между ушами чолкой и хвостиком, свернутым еще на ту сторону, на которую он был загнут в брюхе матери, уставив уши и тупые глаза, не двигаясь с места, пристально смотрел на сосуна, который скакал и пятился, неизвестно, завидуя или осуждая, зачем он это делает. Которые сосут, подталкивая носом, которые, неизвестно почему, несмотря на зовы матерей, бегут маленькой, неловкой рысцой прямо в противоположную сторону, как будто отыскивая что-то, и потом, неизвестно для чего, останавливаются и ржат отчаянно-пронзительным голосом; которые лежат боком в повалку, которые учатся есть траву, которые чешутся задней ногой за ухом. Две еще жеребые кобылы ходят отдельно и, медленно передвигая ноги, всё еще едят. Видно, что их положение уважаемо другими, и никто из молодежи не решается подходить и мешать. Ежели и вздумает какая-нибудь шалунья подойти близко к ним, то одного движенья уха и хвоста достаточно, чтобы показать им всю неприличность их поведения.

Стригунки, годовалые кобылки притворяются уж большими и степенными, и редко подпрыгивают и сходятся с веселыми компаниями. Они чинно едят траву, выгибая свои лебедьные стриженные шейки, и, как будто у них тоже есть хвосты, помахивают своими веничками. Так же, как большие, некоторые ложатся, катаются или чешут друг друга. Самая веселая компания составляется из двухлеток-трехлеток и холостых кобыл. Они ходят почти все вместе и отдельно веселой девичьей гурьбой. Между ними слышится топот, взвизгиванье, ржанье, бры-

канье. Они сходятся, кладут головы друг другу через плечи, обнюхиваются, прыгают и иногда, всхрапнув и подняв трубой хвост, полу-рысью, полу-тропотой гордо и кокетливо пробегают перед товарками. Первой красавицей и затейщицей между всей этой молодежью была шалунья бурая кобылка. Что она затевала, то делали и другие; куда она шла, туда за ней шла и вся гурьба красавиц. Шалунья была в особенно игривом расположении в это утро. Веселый стих нашел на нее, так, как он находит и на людей. Еще на водопое, подшутив над стариком, она побежала вдоль по воде, притворилась, что испугалась чего-то, храпнула и во все ноги понеслась в поле, так что Васька должен был скакать за ней и за другими, увязавшимися за ней. Потом, поев немного, она начала валяться, потом дразнить старух тем, что заходила вперед их, потом отбила одного сосунка и начала бегать за ним, как будто желая укусить его. Мать испугалась и бросила есть, сосунчик кричал жалким голосом, но шалунья ничем даже не тронула его, а только попугала его и доставила зрелище товаркам, которые с сочувствием смотрели на ее проделки. Потом она затеяла вскружить голову чалой лошадке, на которой далеко за рекой по ржам проезжал мужичок с сохой. Она остановилась, гордо, несколько на бок, подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть выражались в этом ржаньи. В нем было и желанье, и обещанье любви, и грусть по ней.

Вон дергач, в густом тростнике, перебегая с места на место, страстно зовет к себе свою подругу, вон и кукушка и перепел поют любовь, и цветы по ветру пересылают свою душистую пыль друг другу.

«И я и молода, и хороша, и сильна, – говорило ржанье шалуньи, – а мне не дано было до сей поры испытать сладость этого чувства, не только не дано испытать, но ни один любовник, ни один еще не видал меня».

И многозначущее ржанье грустно и молодо отозвалось низом и полем и издали донеслось до чалой лошадки. Она подняла уши и остановилась. Мужик ударил ее лаптем, но чалая лошадка была очарована серебряным звуком далекого ржанья и заржала тоже. Мужик рассердился, дернул ее возжами и ударил так лаптем по брюху, что она не успела закончить своего ржанья и пошла дальше. Но чалой лошадке стало сладко и грустно, и из далеких ржей долго еще долетали до табуна звуки начатого страстного ржанья и сердитого голоса мужика.

Ежели от одного звука этого голоса чалая лошадка могла ошалеть так, что забыла свою должность, что бы было с ней, ежели бы она видела всю красавицу шалунью, как она, насторожив уши, растопырив ноздри, втягивая в себя воздух и куда-то порываясь и дрожа всем своим молодым и красивым телом, звала ее.

Но шалунья долго не задумывалась над своими впечатлениями. Когда голос чалого замолк, она насмешливо поржала еще и, опустив голову, стала копать ногой землю, а потом пошла будить и дразнить пегого мерина. Пегий мерин был всегдашним мучеником и шутком этой счастливой молодежи. Он страдал от этой молодежи, больше, чем от людей. Ни тем, ни другим он не делал зла. Людям он был нужен, но за что же мучали его молодые лошади?

Глава IV.

Он был стар, они были молоды, он был худ, они были сыты, он был скучен, они были веселы. Стало-быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. – Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить. Но ведь не виноват же был пегий мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив?... Казалось бы, что нет. Но по-лошадиному он был виноват, и правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы, те, у которых было всё впереди, те, у которых от ненужного напряжения дрожал каждый мускул и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам пегий мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался,

что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь; но он всё-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувств оскорбления, грусти и негодования, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни. Причиной безжалостности лошадей было тоже и аристократическое чувство. Каждая из них вела свою родословную по отцу или по матери от знаменитого Сметанки, пегий же был неизвестно какого рода; пегий был пришлец, купленный 3 года тому назад за 80 рублей ассигнациями на ярманке.

Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу пегого мерина и толкнула его. Он уж знал, что это такое, и, не открывая глаз, приложил уши и оскалился. Кобылка повернулась задом и сделала вид, что хочет ударить его. Он открыл глаза и отошел в другую сторону. Спать ему уже не хотелось и он начал есть. Снова шалуныя, сопровождаемая своими подругами, подошла к мерину. Двухлетняя, лысая кобылка, очень глупая, всегда подражавшая и во всем следовавшая за бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подражатели, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица. Бурая кобылка обыкновенно подходила как будто по своему делу и проходила мимо самого носа мерина, не глядя на него, так что он решительно не знал, сердиться или нет, и это было действительно смешно. Она сделала это и теперь, но лысая, шедшая за ней и особенно развеселившаяся, уже прямо грудью ударила мерина. Он снова оскалил зубы, взвизгнул и с прытью, которую нельзя бы было ожидать от него, – бросился за ней и укусил ее в ляжку. Лысенькая ударила всем задом и тяжело ударила старика по худым голым ребрам. Старик захрипел даже, хотел броситься еще, но потом раздумал и, тяжело вздохнув, отошел в сторону. Должно быть, вся молодежь табуна приняла за личное оскорбление дерзость, которую позволил себе пегий мерин в отношении лысой кобылки, и весь остальной день ему решительно не давали кормиться и ни на минуту не давали покоя, так что табунщик несколько раз унимал их и не мог понять, что с ними сделалось. Мерин так был обижен, что сам подошел к Нестеру, когда старик собрался гнать назад табун, и почувствовал себя счастливее и покойнее, когда его оседлали и сели на него.

Бог знает о чем думал старик мерин, унося на своей спине старика Нестера. С горечью ли думал он о неотвязчивой и жестокой молодежи или, с свойственной старикам презрительной и молчаливой гордостью, прощал своих обидчиков, только он ничем не проявил своих размышлений до самого дома.

В этот вечер к Нестеру приехали кумовья и, прогоняя табун мимо дворовых изб, он заметил телегу с лошадей, привязанную к его крыльцу. Загнав табун, он так поторопился, что, не сняв седла, пустил на двор мерина и, крикнув Ваське, чтоб он расседлал табунного, запер ворота и пошел к кумовьям. Вследствие ли оскорбления, нанесенного лысой кобылке, Сметанкиной правнучке, «коростовой дрянью», купленной на конной и не знающей отца и матери, и оскорбленного поэтому аристократического чувства всего варка, или вследствие того, что мерин в высоком седле без седока представлял странно-фантастическое для лошадей зрелище, только на варке произошло в эту ночь что-то необыкновенное. Все лошади – молодые и старые, с оскаленными зубами бегали за меринком, гоняя его по двору, раздавались звуки копыт об его худые бока и тяжелое кряхтение. Мерин не мог более переносить этого, не мог более избегать ударов. Он остановился посередине двора, на лице его выразилось отвратительное слабое озлобление бессильной старости, потом отчаяние; он приложил уши, и вдруг что-то такое сделал, отчего все лошади вдруг затихли. Подошла самая старая кобыла Вязопуриха, понюхала мерина и вздохнула. Вздохнул и мерин.

.....

Глава V.

По середине освещенного луной двора стояла высокая худая фигура мерина с высоким седлом, с торчащей шишкой луки. Лошади неподвижно и в глубоком молчании стояли вокруг него, как будто они что-то новое, необыкновенное узнали от него. И точно, новое и неожиданное они узнали от него.

Вот что они узнали от него.

.....

ночь 1-я.

– Да, я сын Любезного 1-го и Бабы. Имя мое по родословной Мужик 1-й. Я Мужик 1-й по родословной, я Холстомер по-уличному, прозванный так толпою за длинный и размашистый ход, равного которому не было в России. По происхождению нет в мире лошади выше меня по крови. Я никогда бы не сказал вам этого. К чему? Вы бы никогда не узнали меня. Как не узнавала меня Вязопуриха, бывшая со мной вместе в Хреновом и теперь только признавшая меня. Вы бы и теперь не поверили мне, ежели бы не было свидетельства этой Вязопурихи. Я бы никогда не сказал вам этого. Мне не нужно лошадиное сожаление. Но вы хотели этого. Да, я тот Холстомер, которого отыскивают и не находят охотники, тот Холстомер, которого знал сам Граф и сбыл с завода за то, что я обежал его любимца Лебеда.

.....

Когда я родился, я не знал, что такое значит *пегий*, я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать. Я родился, должно быть, ночью, к утру я, уже облизанный матерью стоял на ногах. Помню, что мне всё чего-то хотелось и всё мне казалось чрезвычайно удивительно и вместе чрезвычайно просто. Денники у нас были в длинном теплом коридоре, с решетчатыми дверьми, сквозь которые всё видно было. Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом, – то ей под передние ноги, то под косягу. Вдруг мать оглянулась на решетчатую дверь и, перенесши через меня ногу, посторонилась. Дневальный конюх смотрел к нам в денник через решетку.

– Ишь ты, Баба-то ожеребилась, – сказал он и стал отворять задвижку, он взошел по свежей постилке и обнял меня руками. – Глянь-ка, Тарас, – крикнул он, – пегой какой, ровно сорока.

Я рванулся от него и спотыкнулся на колени.

– Вишь чертенюк, – проговорил он.

Мать обеспокоилась, но не стала защищать меня и, только тяжело-тяжело вздохнув, отошла немного в сторону. Пришли конюха и стали смотреть меня. Один побежал объявить конюшему. Все смеялись, глядя на мои пежины, и давали мне разные странные названия. Не только я, но и мать не понимала значения этих слов. До сих пор между нами и всеми моими родными не было ни одного пегого. Мы не думали, чтоб в этом было что-нибудь дурное. Сложение же и силу мою и тогда все хвалили.

– Вишь какой шустрый, – говорил конюх, – не удержишь.

Через несколько времени пришел конюший и стал удивляться на мой цвет, он даже казался огорченным.

– И в кого такая уродина, – сказал он, – генерал его теперь не оставит в заводе. Эх, Баба, посадила ты меня, – обратился он к моей матери. – Хоть бы лысого ожеребила, а то вовсе пегого!

Мать моя ничего не отвечала и, как всегда в подобных случаях, опять вздохнула.

– И в какого чорта он уродился, точно мужик, – продолжал он, – в заводе нельзя оставить, срам, а хорош, очень хорош, – говорил и он, говорили и все, глядя на меня. Через несколько дней пришел и сам генерал посмотреть на меня, и опять все чему-то ужасались и бранили меня

и мою мать за цвет моей шерсти. «А хорош, очень хорош», повторял всякий, кто только меня видел.

До весны мы жили в маточной все порознь, каждый при своей матери, только изредка, когда снег на крышах варков стал уже таять от солнца, нас с матерями стали выпускать на широкий двор, устланный свежей соломой. Тут в первый раз я узнал всех своих родных, близких и дальних. Тут из разных дверей я видел, как выходили с своими сосунками все знаменитые кобылы того времени. Тут была старая Голанка, Мушка Сметанкина дочь, Краснуха, верховая Доброхотиха, все знаменитости того времени, все собирались тут с своими сосунками, похаживали по солнышку, катались по свежей соломе и обнюхивали друг друга как и простые лошади. Вид этого варка, наполненного красавицами того времени, я не могу забыть до сих пор. Вам странно думать и верить, что и я был молод и резв, но это так было. Тут была эта самая Вязопуриха, тогда еще годовалым стригунчиком – милой, веселой и резвой лошадкой; но не в обиду будь ей сказано, несмотря на то, что она редкостью по крови теперь считается между вами, тогда она была из худших лошадей того приплода. Она сама вам подтвердит это.

Пестрота моя, так не нравившаяся людям, чрезвычайно понравилась всем лошадям; все окружили меня, любовались и заигрывали со мною. Я начал уже забывать слова людей о моей пестроте и чувствовал себя счастливым. Но скоро я узнал первое горе в моей жизни, и причиной его была мать. Когда уже начало таять, воробьи чирикали под навесами и в воздухе сильнее начала чувствоваться весна, мать моя стала переменяться в обращении со мною. Весь нрав ее изменился; то она вдруг без всякой причины начинала играть, бегая по двору, что совершенно не шло к ее почтенному возрасту; то задумывалась и начинала ржать; то кусала и брыкала в своих сестер кобыл; то начинала обнюхивать меня и недовольно фыркать; то, выходя на солнце, клала свою голову чрез плечо своей двоюродной сестре Купчихе и долго задумчиво чесала ей спину и отталкивала меня от сосков. Один раз пришел конюший, велел надеть на нее недоуздок – и ее повели из денника. Она заржала, я откликнулся ей и бросился за нею; но она и не оглянулась на меня. Конюх Тарас схватил меня в охапку, в то время как затворяли дверь за выведенной матерью. Я рванулся, сбил конюха в солому, – но дверь была заперта, и я только слышал всё удалявшееся ржание матери. И в ржании этом я уже не слышал призыва, а слышал другое выражение. На ее голос далеко отозвался могущественный голос, как я после узнал, Доброго первого, который с двумя конюхами по сторонам шел на свидание с моею матерью. Я не помню, как вышел Тарас из моего денника: мне было слишком грустно. Я чувствовал, что навсегда потерял любовь своей матери. И всё оттого, что я пегий, думал я, вспоминая слова людей о своей шерсти, и такое зло меня взяло, что я стал биться об стены денника головой и коленами – и бился до тех пор, пока не вспотел и не остановился в изнеможении.

Через несколько времени мать вернулась ко мне. Я слышал, как она рысцой и непривычным ходом подбегала к нашему деннику по коридору. Ей отворили дверь, я не узнал ее, как она помолодела и похорошела. Она обнюхала меня, фыркнула и начала гоготать. По всему выражению ее я видел, что она меня не любила. Она рассказывала мне про красоту Доброго и про свою любовь к нему. Свидания эти продолжались, и между мною и матерью отношения становились холоднее и холоднее.

Скоро нас выпустили на траву. С этой поры я узнал новые радости, которые мне заменили потерю любви моей матери. У меня были подруги и товарищи, мы вместе учились есть траву, ржать так же, как и большие, и, подняв хвосты, скакать кругами вокруг своих матерей. Это было счастливое время. Мне всё прощалось, все меня любили, любовались мною и снисходительно смотрели на всё, что бы я ни сделал. Это продолжалось не долго. Тут скоро случилось со мной ужасное. – Мерин вздохнул тяжело-тяжело и пошел прочь от лошадей.

Заря уже давно занялась. – Заскрыпели ворота, вошел Нестер. Лошади разошлись. Табунщик оправило седло на мерине и выгнал табун.

Глава VI.

ночь 2-я.

Как только лошади были загнаны, они опять столпились вокруг пегого.

– В августе месяце нас разлучили с матерью, – продолжал пегий, – и я не чувствовал особенного горя. Я видел, что мать моя носила уже меньшого моего брата, знаменитого Усана, и я уже не был тем, чем был прежде. Я не ревновал, – но я чувствовал, что становился холодней к ней. Кроме того, я знал, что, оставив мать, я поступлю в общее отделение жеребят, где мы стояли по-двое и по-трое – и каждый день всей гурьбой молодежи выходили на воздух. Я стоял в одном деннике с Милым. Милый был верховый, и впоследствии на нем ездил Император, и его изображали на картинках и в статуях. Тогда он еще был простой сосунок, с глянцевиной нежной шерстью, лебединой шейкой и как струнки ровными и тонкими ногами. Он был всегда весел, добродушен и любезен; всегда был готов играть, лизаться и подшутить над лошадью или человеком. Мы с ним невольно подружились, живя вместе, и дружба эта продолжалась во всё время нашей молодости. Он был весел и легкомыслен. Он тогда уже начинал любить, заигрывал с кобылками и смеялся над моей невинностью. И на мое несчастье я из самолюбия стал подражать ему; и очень скоро увлекся любовью. И эта ранняя склонность моя была причиной величайшей перемены моей судьбы. Случилось так, что я увлекся.

Вязопуриха была старше меня одним годом, мы с нею были особенно дружны; но под конец осени я заметил, что она начала дичиться меня..... Но я не стану рассказывать всей этой несчастной истории моей первой любви, она сама помнит мое безумное увлечение, окончившееся для меня самой важной переменной в моей жизни. Табунщики бросились гонять ее и бить меня. Вечером меня загнали в особый денник; я ржал целую ночь, как будто предчувствуя событие завтрашнего дня.

На утро пришли в коридор моего денника генерал, конюший, конюха и табунщики, и начался страшный крик. Генерал кричал на конюшего, конюший оправдывался, что он не велел меня пускать, а что это самовольно сделали конюха. Генерал сказал, что он всех перепорет, а жеребчиков нельзя держать. Конюший обещался, что всё исполнит. Они затихли и ушли. Я ничего не понимал, но я видел, что что-то такое замышлялось обо мне.

.....
.....

На другой день после этого я уже навеки перестал ржать, я стал тем, что я теперь. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто мне не стало мило, я углубился в себя и стал размышлять. Сначала мне всё было постыло. Я перестал даже пить, есть и ходить, а уж об игре и думать нечего. Иногда мне приходило в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать; но сейчас же представлялся страшный вопрос: зачем? к чему? И последние силы пропадали.

Один раз меня проваживали вечером, в то время как табун гнали с поля. Я издалека еще увидал облако пыли с неясными знакомыми очертаниями всех наших маток. Я услышал веселое гоготанье и топот. Я остановился, несмотря на то, что веревка недоуздка, за который меня тянул конюх, резала мне затылок, и стал смотреть на приближающийся табун, как смотрят на всегда потерянное и невозвратимое счастье. Они приближались, и я различал по одной – все мне знакомые, красивые, величавые, здоровые и сытые фигуры. Кое-кто из них тоже оглянулся на меня. Я не чувствовал боль от дерганья недоуздка конюха. Я забылся и невольно по старой памяти заржал и побежал рысью; но ржание мое отозвалось грустно, смешно и нелепо. В табуне не засмеялись, – но я заметил, как многие из них из приличия отвернулись от меня. Им видимо и гадко, и жалко, и совестно, и главное – смешно было на меня. Им смешно было на

мою тонкую – невыразительную шею, большую голову (я похудел в это время), – на мои длинные, неуклюжие ноги и на глупый аллюр рысцей, который я, по старой привычке, предпринял вокруг конюха. Никто не отозвался на мое ржание, все отвернулись от меня. Я вдруг всё понял, понял, насколько я навсегда стал далек от всех их, и не помню, как пришел домой за конюхом.

Я уже и прежде показывал склонность к серьезности и глубокомыслию, теперь же во мне сделался решительный переворот. Моя пежина, возбуждавшая такое странное презрение в людях, мое странное неожиданное несчастье и еще какое-то особенное положение мое на заводе, которое я чувствовал, но никак еще не мог объяснить себе, заставили меня углубиться в себя. Я задумывался над несправедливостью людей, осуждавших меня за то, что я пегий, я задумывался о непостоянстве материнской и вообще женской любви и зависимости ее от физических условий, и главное я задумывался над свойствами той странной породы животных, с которыми мы так тесно связаны и которых мы называем людьми – теми свойствами, из которых вытекала особенность моего положения на заводе, которую я чувствовал, но не мог понять. Значение этой особенности и свойств людских, на которых она была основана, открылось мне по следующему случаю.

Это было зимою во время праздников. Целый день мне не давали корму и не поили меня. Как я после узнал, это происходило потому, что конюх был пьян. В этот же день конюший взошел ко мне, посмотрел, что нет корму, и начал ругать самыми дурными словами конюха, которого здесь не было, потом ушел. На другой день конюх с другим товарищем взошел в наш денник задавать нам сена, я заметил, что он особенно был бледен и печален; в особенности в выражении длинной спины его было что-то значительное и вызывающее сострадание. Он сердито бросил сено за решетку; я сунулся было головой чрез его плечо; но он кулаком так больно ударил меня по храпу, что я отскочил. Он еще ударил меня сапогом по животу.

– Кабы не этот коростовый, – сказал он, – ничего бы не было.

– А что? – спросил другой конюх.

– Небось графских не ходит проведывать, а *своего* жеребенка по два раза в день навевывает.

– Разве отдали ему пегого-то? – спросил другой.

– Продали, подарили ли, пес их ведает. Графских хоть всех голодом помори – ничего, а вот как смел *его* жеребенку корму не дать. Ложись, говорит, и ну бузовать. Христианства нет. Скотину жалчей человека, креста, видно, на нем нет, сам считал, варвар. Генерал так не парывал, всю спину исполосовал, видно христианской души нет.

То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял, – но для меня совершенно было темно тогда, что такое значили слова: *своего*, *его* жеребенка, из которых я видел, что люди предполагали какую-то связь между мною и конюшим. В чем состояла эта связь, я никак не мог понять тогда. Только гораздо уже после, когда меня отделили от других лошадей, я понял, что это значило. Тогда же я никак не мог понять, что такое значило то, что *меня* называли собственностью человека. Слова: моя лошадь, относимые ко мне, живой лошади, казались мне так же странны, как слова: моя земля, мой воздух, моя вода.

Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставая думал об этом и только долго после самых разнообразных отношений с людьми понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: мой, моя, мое, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил – *мое*. И тот, кто про наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит *мое*, тот считается у

них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю; но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это какую-нибудь прямою выгодою; но это оказалось несправедливым.

Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошадыю, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. Делали мне добро опять-таки не они – те, которые называли меня своей лошадыю, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие *мое* не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит: «дом мой», и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит: «моя лавка». «Моя лавка сукон», например, – и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видали этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, а никогда не видали этих людей; и всё отношение их к этим людям состоит в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами, а женщины эти живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей *своими*. Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное различие людей от нас. И потому, не говоря уже о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди: деятельность людей – по крайней мере тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наша же делом. И вот это право говорить обо мне *моя* лошадь получил конюший и от этого высек конюха. Это открытие сильно поразило меня и вместе с теми мыслями и суждениями, которые вызывала в людях моя пегая масть, и с задумчивостью, вызванною во мне изменою моей матери, заставило меня сделаться тем серьезным и глубокомысленным мериком, которым я есмь.

Я был трижды несчастлив: я был пегий, я был мерин, и люди вообразили себе обо мне, что я принадлежал не Богу и себе, как это свойственно всему живому, а что я принадлежал конюшему.

Последствий того, что они вообразили себе это обо мне, было много. Первое из них уж было то, что меня держали отдельно, кормили лучше, чаще гоняли на корде и раньше запрягли. Меня запрягли в первый раз по 3-му году. Я помню, как в первый раз сам конюший, который воображал, что я ему принадлежу, с толпою конюхов стали запрягать меня, ожидая от меня буйства или противодействия. Они скрянчили мне губу. Они обвили меня веревками, заводя в оглобли; они надели мне на спину широкий ременный крест и привязали его к оглоблям, чтоб я не бил задом; а я ожидал только случая показать свою охоту и любовь к труду.

Они удивлялись, что я пошел как старая лошадь. Меня стали проезжать, и я стал упражняться в беганьи рысью. С каждым днем я делал бдльшие и бдльшие успехи, так что чрез три месяца сам Генерал и многие другие хвалили мой ход. Но странное дело, именно потому, что они воображали себе, что я не свой, а конюшого, ход мой получал для них совсем другое значение.

Жеребцов, моих братьев, проезжали на бегу, вымеряли их пронос, выходили смотреть на них, ездили в золоченых дрожках, накидывали на них дорогие попоны. Я ездил в простых дрожках конюшого по его делам в Чесменку и другие хутора. Всё это происходило оттого, что я был пегий, а главное потому, что я был, по их мнению, не графский, собственность конюшого.

Завтра, если будем живы, я расскажу вам, какое главное последствие имело для меня это право собственности, которое воображал себе конюший.

Весь этот день лошади почтительно обращались с Холстомером. Но обращение Нестера было так же грубо. Чалый жеребеночек мужика, уже подходя к табуну, заржал, и бурая кобылка опять кокетничала.

Глава VII.

ночь 3-я.

Народился месяц, и узенький серп его освещал фигуру Холстомера, стоявшего по середине двора. Лошади толпились около него.

– Главное удивительное последствие для меня того, что я был не графский, не божий, а конюшого, – продолжал пегий, – было то, что то, что составляет главную заслугу нашу – резвый ход, сделалось причиной моего изгнания. Проезжали на кругу Лебеда, а конюший из Чесменки подъехал на мне и стал у круга. Лебедь прошел мимо нас. Он хорошо ехал, но он всё-таки щеголял, не было в нем той спорости, которую я выработал в себе, того, чтобы мгновенно при прикосновении одной ноги отделялась другая и не тратилось бы ни малейшего усилия праздно, а всякое усилие двигало бы вперед. Лебедь прошел мимо нас. Я потянулся в круг, конюший не задержал меня. «А что померять моего Пегаша?» крикнул он, и когда Лебедь поровнялся другой раз, он пустил меня. У того уж была набрана скорость, и потому я отстал на первом заезде, но во второй я стал набирать на него, стал близиться к дрожкам, стал ровняться, обходить и обошел. Попытали другой раз – то же самое. Я был резвее. И это привело всех в ужас. – Решили, чтобы скорее продать меня подальше, чтобы и слуху не было. «А то узнает граф – и беда!» Так говорили они. И меня продали барышнику в коренной. У барышника я пробыл недолго. Меня купил гусар, приезжавший за ремонтом. Всё это было так несправедливо, так жестоко, что я был рад, когда меня вывели из Хреновой и навсегда разлучили со всем, что мне было родно и мило. Мне было слишком тяжело между ними. Им предстояли любовь, почести, свобода, мне – труд, унижения, унижения, труд и до конца моей жизни! За что? За то, что я был пегий и что от этого я должен был сделаться чьею-то лошадыю.

Дальше в этот вечер Холстомер не мог рассказывать. На варке случилось событие, переполошившее всех лошадей. Купчиха, жеребая запоздавшая кобыла, слушавшая сначала рассказ, вдруг повернулась и медленно отошла под сарай, и там начала кряхтеть так громко, что все лошади обратили на нее внимание; потом она легла, потом опять встала, опять легла. Старые матки поняли, что с ней, но молодежь пришла в волнение и, оставив мерина, окружила больную. – К утру был новый жеребенок, качавшийся на ножках. Нестер кликнул конюшого, и кобылу с жеребенком отвели в денник, а лошадей погнали без нее.

Глава VIII.

ночь 4-я.

Вечером, когда ворота затворили и всё затихло, пегий продолжал так:

– Много наблюдений над людьми и лошадыми успел я сделать во время всех моих переходов из рук в руки. Дольше всего я был у двух хозяев: у князя, гусарского офицера, потом у старушки, жившей у Николы Явленного.

У гусарского офицера я провел лучшее время моей жизни.

Хотя он был причиной моей гибели, хотя он ничего и никого никогда не любил, я любил его и люблю его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил. Вы понимаете это наше высокое лошадиное чувство. Его холодность, его жестокость, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загони меня, думал я, бывало, в наши хорошие времена, я тем буду счастливее.

Он купил меня у барышника, которому за 800 р. продал меня конюший. Он купил меня за то, что ни у кого не было пегих лошадей. Это было мое лучшее время. У него была любовница. Я знал это потому, что каждый день возил его к ней и ее и иногда возил их вместе. Любовница его была красавица, и он был красавец, и кучер у него был красавец. И я всех их любил за это. И мне было хорошо жить. Жизнь моя проходила так: с утра приходил конюх чистить меня, не сам кучер, а конюх. Конюх был молодой молодчик, взятый из мужиков. Он отворял дверь, выпускал пар лошадиный, выкидывал навоз, снимал попоны и начинал ерзать щеткой по телу и скребницей класть беловатые ряды плоти на избитый шипами канатник пола. Я шутиливо покусывал его за рукав, я постукивал ногой. Потом подводили одного за другим к чану холодной воды, и малый любовался на гладкие своего труда пежины, на ногу прямую как стрела, с широким копытом, и на лоснящийся круп и спину, хоть спать ложись. – За высокие решетки закладывали сено, всыпали овес в дубовые ясли. Приходил Феофан, старший кучер.

Хозяин и кучер были похожи. И тот и другой ничего не боялись и никого не любили кроме себя, и за это все любили их. Феофан ходил в красной рубахе и плисовых штанах и поддевке. Я любил, когда он, бывало, в праздник, напомаженный, в поддевке, зайдет в конюшню и крикнет: «Ну, животина, забыла!» и толконет рукояткой вилок меня по ляжке, но никогда не больно, а только для шутки. Я тотчас же понимал шутку и, прикладывая ухо, щелкал зубами.

Был у нас вороной жеребец из пары. Меня по ночам запрягали и с ним. Полкан этот не понимал шуток, а был просто зол как черт. Я с ним рядом стоял, через стойло, и бывало серьезно грызся. Феофан не боялся его. Бывало, подойдет прямо, крикнет, кажется убьет – нет, мимо, и Феофан наденет оброть. Раз мы с ним в паре понесли вниз по Кузнецкому. Ни хозяин, ни кучер не испугались, оба смеялись, кричали на народ и сдерживали и поворачивали, так никого и не задавили.

В их службе я потерял лучшие свои качества и половину жизни. Тут меня и опоили и разбили на ноги. Но несмотря на то, это было лучшее время моей жизни. В 12 приходили, впрягали, мазали копыты, смачивали чолку и гриву и вводили в оглобли.

Сани были камышевые плетеные бархатные, сбруя с маленькими серебряными пряжечками, вожжи шелковые и одно время – филе. Запряжка была такая, что когда все поводки, ремешки были прилажены и застегнуты, нельзя было разобрать где кончается запряжка и начинается лошадь. Запрягут в сарае на развязке. Выйдет Феофан с задом шире плеч, в красном кушаке под мышки, оглядит запряжку, сядет, заправит кафтан, выставит ногу в стремя, пошутит что-нибудь всегда, привесит кнут, которым почти никогда не стегнет меня, только для порядка, и скажет: «пуцай!». И играя каждым шагом, я трогаю из ворот, и кухарка, вышедшая выплеснуть помои, останавливается на пороге, и мужики, привезшие на двор дрова, таращат глаза. Выедет, проедет и станет. Выйдут лакеи, подъедут кучера, и пойдут разговоры. Всё ждут, часа три иногда стоим у подъезда, изредка проезжаем, заворачиваем и опять становимся.

Наконец зашумят в дверях, выбежит во фраке седой Тихон с брюшком: «Подавай!» Тогда не было этой глупой манеры говорить: «вперед», как будто я не знаю, что ездют не назад, а вперед. Чмокнет Феофан. Подъедет, и выходит торопливо-небрежно, как будто ничего удивительного нет ни в этих санях, ни в лошади, ни в Феофане, который изогнет спину и вытянет руки так, как их, кажется, держать долго нельзя, выйдет князь в кивере и шинели с бобровым седым воротником, закрывающим румяное, чернобровое красивое лицо, которое бы никогда закрывать не надо, выйдет, побрякивая саблей, шпорами и медными задниками калош, ступая по ковру, как будто торопясь и не обращая внимания на меня и на Феофана, то, на что смотрят и чем любят все кроме его. Чмокнет Феофан, я влягу в поводья и честно, шагом подъедем, станем; я покошусь на князя, взмахну кровной головой и тонкой чолкой. Князь в духе, иногда пошутит с Феофаном, Феофан ответит чуть оборачивая красивую голову и, не спуская рук, делает чуть заметное, понятное для меня движение вожжами, и раз-раз-раз, всё шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег с грязью под передок, я еду. Тогда тоже не было

нынешней глупой манеры кричать: «О!» как будто у кучера болит чтонибудь, а не понятное: «Пади берегись!». – Пади берегись! – покрикивает Феофан, и народ сторонится и останавливается и шею кривит, оглядываясь на красавца мерина, красавца кучера и красавца барина.

Любил я перегнать рысака. Когда, бывало, мы издали завидим с Феофаном упряжь, достойную нашего усилия, и мы, летя как вихрь, медленно начинаем наплывать ближе и ближе, уж я кидаю грязь в спинку саней, ровняюсь с седоком и над головой фыркаю ему, ровняюсь с седелкой, с дугой, уж не вижу его и слышу только сзади себя всё удаляющиеся его звуки. А князь и Феофан и я мы все молчим и делаем вид, что мы просто едем по своему делу, что мы и не замечаем тех, которые попадают на пути на плохих лошадях. Любил я перегнать, но любил я также встретиться с хорошим рысаком; один миг, звук, взгляд, и мы уж разъехались и опять одиноко летим каждый в свою сторону.

Заскрипели ворота и послышались голоса Нестера и Васьки.

ночь 5-я.

Погода начала изменяться. Было пасмурно, с утра и росы не было, но тепло, и комары липли. Как только табун загнали, лошади собрались вокруг пегого, и он так кончил свою историю.

– Счастливая жизнь моя кончилась скоро. Я прожил так только два года. В конце 2-й зимы случилось самое радостное для меня событие и вслед за ним самое большое мое несчастье. – Это было на маслянице, я повез князя на бег. На бегу ехали Атласный и Бычок. Не знаю, что он делал там в беседке, но знаю, что он вышел и велел Феофану въехать в круг. Помню, меня ввели в круг, поставили, и поставили Атласного. Атласный ехал с поддужным, я, как был, в городских санках. В завороте я его кинул; и хохот и рев восторга приветствовали меня.

Когда меня проваживали, за мной ходила толпа. И человек 5 предлагали князю тысячи. Он только смеялся, показывая свои белые зубы.

– Нет, – говорил он, – это не лошадь, а друг, горы золота не возьму. До свиданья, господа, – расстегнул полость, сел.

– На Стожинку. – Это была квартира его любовницы. И мы полетели. Это был наш последний счастливый день.

Мы приехали к ней. Он называл ее своею. А она полюбила другого и уехала с ним. Он узнал это у нее на квартире. Было 5 часов, и он, не отпрягая меня, поехал за ней. Чего никогда не было: меня стегали кнутом и пускали скакать. В первый раз я сделал сбой, и мне совестно стало, и я хотел поправиться; но вдруг я услышал, князь кричал не своим голосом: «Валяй!». И свиснул кнут и резнул меня, и я поскакал, ударяя ногой в железо передка. Мы догнали ее за 25 верст. Я довез его, но дрожал всю ночь и не мог ничего есть. На утро мне дали воды. Я выпил и на век перестал быть той лошадейю, какою я был. Я болел, меня мучали и калечили – лечили, как это называют люди. Сошли копыты, сделались наливывы, и ноги согнулись, груди не стало и появилась вялость и слабость во всем. Меня продали барышнику. Он меня кормил морковью и еще чем-то и сделал из меня что-то совсем непохожее на меня, но такое, что могло обмануть незнающего. Ни силы, ни езды во мне уже не было. Кроме того барышник мучал меня тем, что как только приходили покупатели, он входил в мой денник и начинал больным кнутом стегать и пугать меня, так что доводил до бешенства. Потом затирает рубцы от кнута и выводил. У барышника купила меня старушка. Ездила она всё к Николе Явленному и секла кучера. Кучер плакал в моем стойле. И тут я узнал, что слезы имеют приятный соленый вкус. Потом старушка умерла. Приказчик ее взял меня в деревню и продал краснорядцу, потом я объелся пшеницы и еще хуже заболел. Меня продали мужику. Там я пахал, почти ничего не ел, и мне подрезали ногу сошниками. Я опять болел. Цыган выменял меня. Он мучал меня ужасно и, наконец, продал здешнему приказчику. И вот я здесь.

Все молчали. Стал накрапывать дождь.

Глава IX.

Возвращаясь домой в следующий вечер, табун наткнулся на хозяина с гостем. Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две мужские фигуры: один был молодой хозяин в соломенной шляпе, другой высокий, толстый, обрюзгший военный. Старуха покосилась на людей и, прижав, прошла подле него; остальные – молодежь – переполошились, замялись, особенно когда хозяин с гостем нарочно вошли в середину лошадей, что-то показывая друг другу и разговаривая.

– Вот эту я у Воейкова купил – серую в яблоках, – говорил хозяин.

– А эта молодая вороная белоножка чья – хороша, – говорил гость. Они перебрали много лошадей, забегая и останавливая. Заметили и бурую кобылку.

– Это от верховых хреновских осталась у меня порода, – сказал хозяин.

Они не могли рассмотреть всех лошадей на ходу. Хозяин закричал Нестера; и старик, торопливо постукивая каблуками бока пегого, рысцой выбежал вперед. Пегий ковылял, припадая на одну ногу, но бежал так, что, видно было, он ни в каком случае не стал бы роптать, даже ежели бы ему велели бежать так, насколько хватит силы, на край света. Он даже готов был бежать навскачь и даже покушался на это с правой ноги.

– Вот лучше этой кобылы – я смело могу сказать, нет лошади в России, – сказал хозяин, указывая на одну из кобыл. Гость похвалил. Хозяин взволнованно заходил, забегал, показывал и рассказывал историю и породу каждой лошади. Гостю, очевидно, было скучно слушать хозяина, и он придумывал вопросы, чтобы было похоже, что и он интересуется этим.

– Да, да, – говорил он рассеянно.

– Ты взгляни, – говорил хозяин, не отвечая, – ноги взгляни... Дорого досталась, да уж у меня третьяк от нее и едет.

– Хорошо едет? – сказал гость.

Так перебрали почти всех лошадей и показывать больше нечего было. И они замолчали.

– Ну что ж – пойдем?

– Пойдем. – Они пошли в ворота. Гость рад был, что кончилось показыванье и что пойдут домой, где можно поесть, попить, покурить, и видимо повеселел. Проходя мимо Нестера, который, сидя на пегом, ожидал еще приказаний, гость хлопнул большой жирной рукой по крупу пегого.

– Вот росписной-то! – сказал он. – Такой-то у меня был пегий, помнишь я тебе рассказывал.

Хозяин услышал, что говорят не об его лошадях, и не слушал, а, оглядываясь, продолжал смотреть на табун.

Вдруг над самым ухом его послышалось глупое, слабое, старческое ржание. Это заржал пегий, не кончил и, как будто сконфузился, оборвал. Ни гость, ни хозяин не обратили внимания на это ржанье и прошли домой. Холстомер узнал в обрюзгшем старике своего любимого хозяина, бывшего блестящего богача-красавца Серпуховского.

Глава X.

.....
.....
Дождь продолжал моросить. На варке было пасмурно, а в барском доме было совсем другое. У хозяина был накрыт роскошный вечерний чай в роскошной гостиной. За чаем сидели хозяин, хозяйка и приезжий гость.

Хозяйка беременная, что очень заметно было по ее поднявшемуся животу, прямой выгнутой позе, по полноте и в особенности по глазам, внутрь кротко и важно смотревшим большим глазам, сидела за самоваром.

Хозяин держал в руках ящик особенных 10-ти летних сигар, каких ни у кого не было по его словам, и сбирался похвастать ими перед гостем. Хозяин был красавец лет 25-ти, свежий, холенный, расчесанный. Он дома был одет в свежую широкую, толстую пару, сделанную в Лондоне. На цепочке у него были крупные дорогие брелоки. Запонки рубашки были большие, тоже массивные, золотые, с бирюзой. Борода была à la Наполеон III и мышинные хвостики были намажены и торчали так, как только могли это произвести в Париже. На хозяйке было платье шелковой кисеи с большими пестрыми букетами, на голове большие золотые, какие-то особенные шпильки в густых русых, хоть и не вполне своих, но прекрасных волосах. На руках было много браслетов и колец, и всё дорогие. Самовар был серебряный, сервиз тоненький. Лакей великолепный в своем фраке и белом жилете и галстук, как статуя, стоял у двери, ожидая приказаний. Мебель была гнутая, изогнутая и яркая; обои темные большими цветами. Около стола звенела серебряным ошейником левретка, необычайно тонкая, которую звали необычайно трудным аглицким именем, плохо выговариваемым обоими, не знавшими по-аглицки. В углу в цветах стояло фортепьяно *incrusté*.² От всего веяло новизной, роскошью и редкостью. Всё было очень хорошо, но на всем был особенный отпечаток излишка, богатства и отсутствия умственных интересов.

Хозяин был рысистый охотник, крепыш-сангвиник, один из тех, которые никогда не переводятся, ездят в собольих шубах, бросают дорогие букеты актрисам, пьют вино самое дорогое с самой новой маркой, в самой дорогой гостинице, дают призы своего имени и содержат самую дорогую.

Приезжий, Никита Серпуховской, был человек лет за 40, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он опустился видимо физически и морально и денежно.

На нем было столько долгов, что он должен был служить, чтобы его не посадили в яму. Он теперь ехал в губернский город начальником коннозаводства. Ему выхлопотали это его важные родные. Он был одет в военный китель и синие штаны. Китель и штаны были такие, каких бы никто себе не сделал кроме богача, белье тоже, часы были тоже английские. Сапоги были на каких-то чудных, в палец толщины, подошвах.

Никита Серпуховской промотал в жизни состояние в 2 миллиона и остался еще должен 120 тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающий кредит и возможность почти роскошно прожить еще лет десять. Лет десять уж проходили и размах кончался, и Никите становилось грустно жить. Он начинал уже попивать, т. е. хмелеть от вина, чего прежде с ним не бывало. Пить же собственно он никогда не начинал и не кончал. Более же всего заметно было его падение в беспокойстве взглядов (глаза его начинали бегать) и нетвердости интонаций и движений. Это беспокойство поражало тем, что оно, очевидно, недавно пришло к нему, потому что видно было, что он долго привык всю жизнь никого и ничего не бояться и что теперь, недавно только, он дошел тяжелыми страданиями до этого страха, столь несвойственного его натуре. Хозяин и хозяйка замечали это, переглядывались так, что видимо, понимая друг друга, откладывали только до постели подробное обсуждение этого предмета и переносили бедного Никиту и даже ухаживали за ним. Вид счастья молодого хозяина унижал Никиту и заставлял его, вспоминая свое безвозвратное прошедшее, болезненно завидовать.

– Что вам ничего сигары, Мари, – сказал он, обращаясь к даме тем особенным, неуловимым и приобретаемым только опытностью тоном – вежливым, приятельским, но не вполне уважительным, которым говорят люди, знающие свет, с содержанками в отличие от жен. Не то

² [с инкрустацией].

чтобы он хотел оскорбить ее, напротив, теперь он скорее хотел подделаться к ней и ее хозяину, хотя ни за что сам себе не признался бы в этом. Но он уж привык говорить так с такими женщинами. Он знал, что она сама бы удивилась, даже оскорбилась бы, ежели бы он с ней обходился как с дамой. Притом надо было удерживать за собой известный оттенок почтительного тона для настоящей жены своего равного. Он обращался с такими дамами всегда уважительно, но не потому, чтобы он разделял так называемые убеждения, которые проповедаются в журналах (он никогда не читал этой дряни) о уважении к личности каждого человека, о ничтожности брака и т. д., а потому что так поступают все порядочные люди, а он был порядочный человек, хотя и упавший.

Он взял сигару. Но хозяин неловко взял горсть сигар и предложил гостю.

– Нет, ты увидишь, как хороши. Возьми.

Никита отклонил рукой сигары, и в глазах его мелькнуло чуть заметно оскорбление и стыд.

– Спасибо. – Он достал сигарочницу. – Попробуй моих.

Хозяйка была чуткая. Она заметила это и поспешила заговорить с ним.

– Я очень люблю сигары. – Я бы сама курила, если бы не все курили вокруг меня.

И она улыбнулась своей красивой доброй улыбкой. Он улыбнулся в ответ ей нетвердо. Двух зубов у него не было.

– Нет, ты возьми эту, – продолжал не чуткий хозяин. – Другие те послабее. Фриц, bringen sie noch *eine* Kasten, – сказал он, – dort zwei.³

Немец лакей принес другой ящик.

– Ты какие больше любишь? Крепкие? Эти очень хороши. Ты возьми все, – продолжал он совать. Он, видимо, был рад, что было перед кем похвастаться своими редкостями, и ничего не замечал. Серпуховской закурил и поспешил продолжать начатый разговор.

– Так во сколько тебе пришелся Атласный? – сказал он.

– Дорог пришелся, не меньше пяти тысяч, но по крайней мере уж я обеспечен. Какие дети, я тебе скажу.

– Едут? – спросил Серпуховской.

– Хорошо едут. Нынче сын его взял три приза: в Туле, Москве и в Петербурге бежал с Воейковским Вороным. Каналья наездник сбил 4 сбоя, а то бы за флагом оставил.

– Сыр он немного. Голандщины много, вот что я тебе скажу, – сказал Серпуховской.

– Ну а матки-то на что? Я тебе покажу завтра. Добрыню я дал 3 тысячи. Ласковую 2 тысячи.

И опять хозяин начал перечислять свое богатство. – Хозяйка видела, что Серпуховскому это тяжело и что он притворно слушает.

– Будете еще чай пить? – спросила она.

– Не буду, – сказал хозяин и продолжал рассказывать. Она встала, хозяин остановил ее, обнял и поцеловал.

Серпуховской начал было улыбаться, глядя на них и для них, ненатуральной улыбкой, но когда хозяин встал и, обняв ее, вышел с ней до портьера – лицо Никиты вдруг изменилось, он тяжело вздохнул, и на обрюзгшем лице его вдруг выразилось отчаяние. Даже злоба была видна на нем.

Глава XI.

Хозяин вернулся и, улыбаясь, сел против Никиты. Они помолчали.

– Да, ты говорил у Воейкова купил, – сказал Серпуховской, как будто небрежно.

³ [принесите еще ящик, там два.]

– Да – Атласного, ведь я говорил. Мне всё хотелось кобыл у Дубовицкого купить. Да дрянь осталась.

– Он прогорел, – сказал Серпуховской и вдруг остановился и оглянулся кругом. Он вспомнил, что должен этому самому прогоревшему 20 тысяч. И что если говорить про кого «прогорел», то уж верно про него говорят это. – Он замолчал.

Оба опять долго молчали. Хозяин в голове перебирал, чем бы похвастаться перед гостем. Серпуховской придумывал, чем бы показать, что он не считает себя прогоревшим. Но у обоих мысли ходили туго, несмотря на то, что они старались подбодрять себя сигарами. «Что ж когда выпить?» думал Серпуховской. «Неприменно надо выпить, а то с ним с тоски умрешь», думал хозяин.

– Так как же ты долго здесь пробудешь? – сказал Серпуховской.

– Да еще с месяц. Что ж поужинаем, что ль? Фриц, готово?

Они вышли в столовую. В столовой под лампой стоял стол, уставленный свечами и самыми необыкновенными вещами: сифоны, куколки на пробках, вино необыкновенное в графинах, необыкновенные закуски, водки. – Они выпили, съели, еще выпили, еще съели, и разговор завязался. Серпуховской раскраснелся и стал говорить не робея.

Они говорили про женщин. У кого какая: цыганка, танцовщица, француженка.

– Ну что ж, ты оставил Матье? – спросил хозяин. Это была содержанка, которая разорила Серпуховского.

– Не я, а она. Ах, брат, как вспомнишь, что просадил в своей жизни! Теперь я рад, как заведутся 1000 рублей, рад, право, как уеду от всех. В Москве не могу. Ах, что говорить.

Хозяину было скучно слушать Серпуховского. Ему хотелось говорить про себя – хвастаться. А Серпуховскому хотелось говорить про себя – про свое блестящее прошедшее. Хозяин налил ему вина и ждал, когда он кончит, чтобы рассказать ему про себя, как у него теперь устроен завод так, как ни у кого не был прежде. И что его Мари не только из-за денег, но сердцем любит его.

– Я тебе хотел сказать, что в моем заводе... – начал было он. Но Серпуховской перебил его.

– Было время, могу сказать, – начал он, – что я любил и умел пожить. Ты вот говоришь про езду, ну скажи, какая у тебя самая резвая лошадь?

Хозяин обрадовался случаю рассказать еще про завод, и он начал было; но Серпуховской опять перебил его.

– Да, да, – сказал он. – Ведь это у вас у заводчиков только для тщеславия, а не для удовольствий и для жизни. А у меня не так было. Вот я тебе говорил нынче, что у меня была ездовая лошадь пегая, такие же пежины, как под твоим табунщиком. Ох, лошадь же была. Ты не мог знать; это было в 42-м году, я только приехал в Москву, поехал к барышнику и вижу – пегий мерин. Ладов хороших. Мне понравился. Цена? 1000 рублей. Мне понравился, я взял и стал ездить. Не было у меня, да и у тебя нет и не будет такой лошади. Лучше я не знал лошади ни ездой, ни силой, ни красотой. Ты мальчишка был, тогда ты не мог знать, но ты слышал, я думаю. Вся Москва знала его.

– Да, я слышал, – неохотно сказал хозяин, – но я хотел тебе сказать про своих...

– Так ты слышал. Я купил его так, без породы, без аттестата; потом уж я узнал. Мы с Воейковым добирались. Это был сын Любезного 1-го, Холстомер. Холсты меряет. Его за пегину отдали с Хреновского завода конюшему, а тот выхолостил и продал барышнику. Таких уж лошадей нет, дружок! Ах, время было. Ах ты молодость! – пропел он из цыганской песни. Он начинал хмелеть. – Эх, хорошее было время. Мне было 25 лет, у меня было 80 тысяч серебром дохода тогда, ни одного седого волоса, все зубы как жемчуг. За что ни возьмусь, всё удается, и всё кончилось.

– Ну тогда не было той резвости, – сказал хозяин, пользуясь перерывом. – Я тебе скажу, что мои первые лошади стали ходить без.....

– Твои лошади! Да тогда резвее были.

– Как резвее?

– Резвее. Я как теперь помню, выехал я раз в Москве на бег на нем. Моих лошадей не было. Я не любил рысистых, у меня были кровные, Генерал, Шоле, Магомет. На пегом я ездил. Кучер у меня был славный мальш, я любил его. Тоже спился. Так приехал я. – Серпуховской, когда, – говорят, – ты заведешь рысистых? – Мужиков-то ваших, чорт их возьми, у меня извозничий пегий всех ваших обежит. – Да вот не обегает. – Пари 1000 рублей. – Ударилсь. Пустили. На пять секунд обошел, 1000 рублей выиграл пари. Да это что. Я на кровных, на тройке 100 верст в 3 часа сделал. Вся Москва знает.

И Серпуховской начал врать так складно и так непрерывно, что хозяин не мог вставить ни одного слова и с унылым лицом сидел против него, только для развлечения подливая себе и ему вино в стаканы.

Стало уж светать. А они всё сидели. Хозяину было мучительно скучно. Он встал.

– Спать – так спать, – сказал Серпуховской, вставая и шатаясь, и отдуваясь пошел в отведенную комнату.

Хозяин лежал с любовницей.

– Нет, он невозможен. Напился и врет не переставая.

– И за мной ухаживает.

– Я боюсь, будет просить денег.

Серпуховской лежал нераздетый на постели и отдувался.

«Кажется, я много врал, – подумал он. – Ну всё равно. Вино хорошо, но свинья он большая. Купеческое что-то. И я свинья большая, – сказал он сам себе и захохотал. – То я содержал, то меня содержат. Да, Винклерша содержит – я у ней деньги беру. Так ему и надо, так ему и надо! – Однако раздеться, сапоги не снимешь».

– Эй! Эй! – крикнул он, но человек, приставленный к нему, ушел давно спать.

Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как, но сапог долго не мог стащить, брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой бился, бился, запыхался и устал. И так с ногой в голенище повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости.

Глава XII.

Ежели Холстомер что еще вспоминал в эту ночь, то его развлек Васька. Кинул на него попону и поскакал, до утра он держал его у двери кабака с мужицкой лошадей. Они лизались. Утром он пошел в табун и всё чесался.

«Что-то больно чешется», думал он.

Прошло 5 дней. Позвали коновала. Он с радостью сказал:

– Короста. Позвольте цыганам продать.

– Зачем? Зарежьте, только чтоб нынче его не было.

Утро тихое, ясное. Табун пошел в поле. Холстомер остался. Пришел странный человек, худой, черный, грязный, в забрызганном чем-то черным кафтане. Это был драч. Он взял, не поглядев на него, повод оброти, надетой на Холстомера, и повел. Холстомер пошел спокойно, не оглядываясь, как всегда волоча ноги и цепляя задними по соломе. Выйдя за ворота, он потянулся к колодцу, но драч дернул и сказал: – Не к чему.

Драч и Васька, шедший сзади, пришли в лошину за кирпичным сараем и, как будто что-то особенное было на этом самом обыкновенном месте, остановились, и драч, передав Ваське повод, снял кафтан, засучил рукава, достал из голенища нож и брусок, стал точить [о]

брусок. Мерин потянулся к поводу, хотел от скуки пожевать его, но далеко было, он вздохнул и закрыл глаза. Губа его повисла, открылись съеденные желтые зубы, и он стал задремывать под звуки точения ножа. Только подрагивала его больная с наплывом отставленная нога. Вдруг он почувствовал, что его взяли под салазки и поднимают кверху голову. Он открыл глаза. Две собаки были перед ним. Одна нюхала по направлению к драчу, другая сидела глядя на мерина, как будто ожидая чего-то именно от него. Мерин взглянул на них и стал тереть скулою о руку, которая держала его.

«Лечить, верно, хотят, – подумал он. – Пускай!»

И точно, он почувствовал, что что-то сделали с его горлом. Ему стало больно, он вздрогнул, ботнул ногой, но удержался и стал ждать, что будет дальше. Дальше сделалось то, что что-то жидкое полилось большой струей ему на шею и грудь. Он вздохнул во все бока. И ему стало легче гораздо. Облегчилась вся тяжесть его жизни. Он закрыл глаза и стал склонять голову – никто не держал ее. Потом стала склоняться шея, потом ноги задрожали, зашаталось всё тело. Он не столько испугался, сколько удивился. Всё так ново стало. Он удивился, рванулся вперед, вверх. Но вместо этого ноги, сдвинувшись с места, заплелись, он стал валиться на бок и, желая переступить, завалился вперед и на левый бок. Драч подождал, пока прекратились судороги, отогнал собак, подвинувшихся ближе, и потом, взяв за ногу и отворотив мерина на спину и велел Ваське держать за ногу, начал свежевать.

– Тоже лошадь была, – сказал Васька.

– Кабы посытее, хороша бы кожа была, – сказал драч.

–

Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли с левого края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали воронья и коршуны. Одна собака, упершись лапами в стерву, мотая головой, отрывала с треском то, что зацепила. Бурая кобылка остановилась, вытянула голову и шею и долго втягивала в себя воздух. Насилу могли отогнать ее.

–

На заре в овраге старого леса, в заросшем низу на полянке, радостно выли головастые волченята. Их было пять: четыре почти равные, а один маленький с головой больше туловища. Худая линиявшая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по земле, вышла из кустов и села против волчат. – Волченята полукругом стали против нее. Она подошла к самому маленькому и, опустив полено и перегнув морду книзу, сделала несколько судорожных движений и, открыв зубастый зев, натужилась и выхаркнула большой кусок конины. Волченята побольше сунулись к ней, но она угрожающе двинулась к ним и предоставила всё маленькому. Маленький, как бы гневаясь, рыча ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхаркнула волчица другому, и третьему, и всем пятерым и тогда легла против них, отдыхая.

Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и два маслака, остальное всё было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти маслаки и череп и пустил их в дело.

–

Ходившее по свету, евшее и пившее мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда негодились. А как уже 20 лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю было только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен, всем уж давно он был в тягость, но всё-таки мертвые, хоронящие мертвых, нашли нужным одеть это тотчас же загнившее пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб, с новыми кисточками на 4-х углах, потом положить этот новый гроб в другой свинцовый и свезти его в Москву и там раскопать давнишние людские кости и именно туда спрятать это гниющее, кишашее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать всё землю.

—

ПЕРВЫЙ ВИНОКУР, ИЛИ КАК ЧЕРТЕНОК КРАЮШКУ ЗАСЛУЖИЛ.

КОМЕДИЯ.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.

СЦЕНА 1-я.

Мужик (*пашет, глядит вверх*).

Вот и полдни, пора отпрягать. Но, вылезь! Заморилась сердечная. Вот завернусь оттуда, последнюю борозду проеду, да и обедать. Спасибо, догадался, с собою краюшку хлеба взял. Домой не поеду. Закушу у колодца, вздремну, а буланка травки покушает. Да с Богом опять за работу. Рано отпашусь, Бог даст.

СЦЕНА 2-я.

Выбегает чертенок к кусту.

Чертенок.

Ишь добрый какой! Всё Бога поминает. Погоди ж ты, и чорта помянешь. Унесу у него краюшку. Хватится, станет искать. Жрать захочется, обругается и чорта помянет.

(Берет краюшку, уносит и садится за куст, выглядывает, что будет делать мужик.)

Мужик (*выхлестывает гужи*).

Господи, благослови! (*Выводит лошадь, пускает, идет к кафтану.*) Страсть проголодался! Краюшку большую баба отрезала, а гляди, всю съем. (*Подходит к кафтану.*) Нету! Должно я ее кафтаном накрыл. (*Поднимает кафтан.*) И тут нет. Вот что-то! (*Трясет кафтан.*)

Чертенок (*из-за куста*).

Ищи, ищи, она вот она! (*Садится на нее.*)

Мужик (*поднимает сволока, еще трясет кафтаном*):

Чудо, право чудо! Никого не было, а нет краюшки. Кабы птицы расклевали, крошки бы были. А то и крох нет. Никого не было, а унес кто-то.

Чертенюк (*поднимается, заглядывает*).

Сейчас меня помянет.

Мужик

Видно, так и быть. С голоду не помру. Унес, так унес. Пускай ест на здоровье!

Чертенюк (*плюется*).

Ах, ты, проклятый мужик! Ему бы надо ругаться, а он говорит: на здоровье! Ничего с ним не сделаешь. (*Мужик укладывается спать, крестится, зевает и засыпает.*)

Чертенюк (*выходит из-за куста*).

Вот и толкуй старшой! Старшой всё говорит: мало ты в ад ко мне мужиков водишь. Гляди-ка, купцов, господ да попов сколько каждый день прибывает, а мужиков мало. Как его обротаешь? Не подобьешься к нему никак. Уж чего же лучше – последнюю краюшку украл. А он всё не обругался. И не знаю, что теперь делать! Пойду, доложусь.

(*Проваливается.*)

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.

АД.

На главном месте сидит старшой чорт. Писарь чортов сидит внизу, за столом с письменными принадлежностями. Стражи стоят по сторонам. Направо – 5 чертенят разных видов; налево у дверей – привратник; один франтоватый чертенок стоит прямо перед старшим.

Франтоватый чертенок.

Всей добычи моей за три года 263753 человека. Все теперь у меня во власти.

Старшой.

Хорошо. Благодарю. Проходи!

(Франтоватый чертенок проходит направо.)

Старшой (к писарю).

Устал я. Много ли там еще осталось дела? От кого и от кого получили отчет и от кого еще осталось получить?

Писарь (считает по пальцам и указывает по мере счета на стоящих направо чертенят. Когда называет какого чертенка, то тот кланяется).

От боярского беса получен отчет. Всех забрал 1836. От купеческого получен, 9643. От поповского получен, 1517. От монашеского получен, 112. От судейского получен, 3423. От бабьего сейчас тоже получен, всех 263753. Баб 186315, девок 17438. Только два и остаются: приказный да мужицкий.

Старшой.

Ну, уж видно покончить нынче. *(Привратнику.)* Пускай!

(Входит приказный чертенок, кланяется старшому.)

Старшой.

Ну, что? твои дела как?

Приказный чертенок *(всё смеется, потирает руки).*

Мои дела как сажа бела. Добыча такая, что с сотворения мира и не запомню.

Старшой.

А что, али много забрал?

Приказный чертенок.

Не в счете дело. Счетом хоть и немного, всего 1350 человек, да хороши ребята. Такие ребята, что заместо чертей отвечать могут. Сами лучше чертей людей смущают. Новую моду я им завел.

Старшой.

Какую же такую новую моду?

Приказный чертенок.

А вот какую: прежде были приказные при судьях, людей обманывали. А теперь я их научил особо от судей быть. А кто денег больше даст, за того он и хлопочет. И так хлопчат, что где и делать нечего, дела заводят. Много лучше чертей людей мутят.

Старшой.

Погляжу, проходи! *(Приказный чертенок проходит вправо.)*

Старшой *(привратнику).*

Впусти последнего!

(Входит мужицкий чертенок с краюшкой, кланяется в ноги.)

Мужицкий чертенок.

Не могу больше жить, приставь в другое место.

Старшой.

Куда приставить, что ты городишь? Встань, говори толком. Давай отчет, много ли ты за эту неделю мужиков забрал?

Мужицкий чертенок (плачет).

Ни одного!

Старшой.

Что? Ни одного! Как ни одного? Что же ты делал? Где же ты болтался?

Мужицкий чертенок (хныкает).

Не болтался я; всё время из кожи вон бился, да ничего сделать не могу. Вот у одного из-под носу последнюю краюшку украл, и то не обругал, а велел съесть на здоровье.

Старшой.

Что?.. Что... ты бормочешь? Высморкайся, да расскажи толком, а то ничего от тебя и не разберешь.

Мужицкий чертенок.

Да вот пахал мужик; и знаю я, что у него с собой одна краюшка, и больше есть нечего. Украл я у него краюшку. Надо бы ему обругаться, а он что же? Говорит: кто взял, пусть съест на здоровье. Вот я и краюшку принес. Вот она.

Старшой.

Ну, а другие-то что ж?

Мужицкий чертенок.

Да все такие же, – ни одного не забрал.

Старшой.

Да как же ты смеешь с пустыми руками ко мне ворочаться? Да еще краюшку какую-то вонючую принес; что ты надо мной смеяться вздумал? А? Что ты в аду даром хлеб есть хочешь? Другие стараются, хлопочут. Вот ведь они (*показывает на чертенят*), кто 10 000, кто 20 000, кто вон 200 000 доставил. Из монахов – и то 112 привел. А ты с пустыми руками пришел да еще какую-то краюшку принес. Да мне басни рассказываешь! Болтаешься ты, не работаешь. Вот они у тебя и отбились от рук. Погоди ж, брат, я тебя выучу.

Мужицкий чертенок.

Не вели казнить, вели слово молвить! Тем чертям хорошо, с боярами ли, с купцами ли, с бабами ли. Там дело известное: покажи боярину шапку соболью да вотчину, прямо его и обротал и веди, куда хочешь. Тоже и купца. Покажи ему денежки да раззадорь завистью, – и веди как на аркане, не вырвется. А с бабами дело тоже известное. Наряды да сласти, – тоже делай с ней что хочешь. А вот с мужиками повозись. Как он с утра до ночи на работе, да и ночи захватит, да без Бога дела не начнет, так к нему как подъедешь? Отец, уволь ты меня от мужиков, замучался я с ними. И тебя прогневил.

Старшой.

Врешь, лентяй. На других указывать нечего. Оттого они и купцов, и бояр, и баб забирают, что знают, как их обходить, новые штуки придумывают. Вот приказный совсем новое колено сделал. И ты придумай. А то краюшку украл, хвалится. Вишь, хитрость какая! Обсыпай их сетями, в какую-нибудь да попадетсЯ. А как ты болтаешься да дал им ходу, – они, твои мужики, силу забрали. Стали уже и краюшки не жалеть. Если они такую повадку возьмут да еще баб научат, так они вовсе от рук отобьются. Придумывай. Растягивайся, как знаешь.

Мужицкий чертенок.

Не знаю, что и придумать. Отмени ты меня. Не могу больше.

Старшой (с гневом).

Не можешь! Что ж я сам, что ли, за тебя работать пойду?

Мужицкий чертенок.

Не могу.

Старшой.

Не можешь? Погоди ж. Эй! давайте сюда прутьев, порите его! (*Стражи хватают чертенка и секут его.*)

Мужицкий чертенок.

Ой! ой! ой!

Старшой.

Придумал?

Мужицкий чертенок.

Ой! ой! не могу придумать.

Старшой.

Порите еще. (*Секут.*) Придумал?

Мужицкий чертенок.

Придумал, придумал!

Старшой.

Ну, рассказывай, что придумал?

Мужицкий чертенок.

Придумал такую штуку, что всех в свои руки заберу. Позволь только мне в работники к мужику наняться, а рассказать мне наперед дела нельзя.

Старшой.

Ну, ладно, только помни, что, если ты в три года краюшку не заслужишь, я в святой воде выкупаю тебя.

Мужицкий чертенок.

Через три года все мои будут.

Старшой.

Ну, хорошо. Через три года сам приду посмотреть.

Занавес.

—

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ.

Амбар. Стоят воза с хлебом.

СЦЕНА 1-я.

РАБОТНИК — ЧОРТ.

Работник насыпает с воза, мужик носит мерками.

Работник.

Седьмая.

Мужик.

Сколько четвертей?

Работник (*смотрит на двери метки*).

Верно 26 четвертей да на 27-ю седьмая мерка.

Мужик.

Не войдет вся, уж полно.

Работник.

Разгреби хорошенько.

Мужик.

И то. (*Уносит мерку.*)

СЦЕНА 2-я.

Работник (*один, снимает шапку, рога выставляются*).

Теперь не скоро выйдет. Немножко рога расправить. (*Рога расправляются.*) Да разуться, а то при нем нельзя. (*Вьнимает ноги из сапог, видны копыта. Садится на порог*).

Вот уж третий год идет. Приходит дело к расчету. Хлеба девать некуда. Только и осталось, что последнюю штуку научить. А тогда приходи сам старшой смотреть. Будет что показать. Заплатит он мне за краюшку.

(*Подходит сосед.*)

СЦЕНА 3-я.

Работник прячет рога.

Сосед.

Здорово!

Работник.

Здорово!

Сосед.

Где хозяин?

Работник.

Да пошел разгрести в закроме, не входит вся.

Сосед.

Эка благодать у хозяина твоего. И сыпать некуда. Мы и то дивимся все, какой у твоего хозяина второй год хлеб родится. Как будто ему кто сказывает. То, летось, сухой год – в болото посеял; у людей не родилось, а вы полно гумно наставили. Нынче мочливое лето – догадался же он на горах посеять. У людей поперел, а у вас обломный хлеб. И зерно-то, зерно!

(Трясет на руке и берет на зуб.)

СЦЕНА 4-я.

Мужик *(выходит с пустой меркой).*

Здорово, кум.

Сосед.

Здорово. Да вот толкую с работником твоим, как угадали вы, где посеять. Весь народ тебе завидует. Хлеба-то, хлеба что набрал. В десять лет не съешь.

Мужик.

Вот спасибо Потапу. *(Показывает на работника.)* Его счастье. Послал я его летом пахать, а он возьми да в болоте вспаши. Я его ругал. Да уговорил он меня посеять. Посеяли – и вышло к лучшему. А вот и нынче опять угадал, на горах посеял.

Сосед.

Да точно знает, какой год будет. Да, набрал же ты хлебца. *(Молчание.)* А я вот пришел к тебе осьминку ржицы попросить. Дошел весь, на лето отдам.

Мужик.

Что ж, возьми.

Работник *(толкает мужика).*

Не давай.

Мужик.

Будет толковать-то, бери.

Сосед.

Спасибо, сбегаю за мешком.

Работник (в сторону).

Всё не бросает старую повадку – дает. Не во всем меня слушает. Ну, дай срок, – перестанет скоро давать.

(Уходит сосед.)

СЦЕНА 5-я.

Мужик (присаживается на порог).

Отчего же доброму человеку не дать?

Работник.

Дать-то – дашь, да назад не возьмешь. Долги давать – под гору кидать, а собирать – на гору вытягивать. Так-то старики говорят.

Мужик.

Не замай. Хлеба много.

Работник.

Так что ж, что много?

Мужик.

Не то что до новины, а и на два года хватит. Куда же его?

Работник.

Как куда? Да из хлеба из этого я тебе такое добро сделаю, что ты и целую жизнь радоваться будешь.

Мужик.

Что ж ты сделаешь?

Работник.

Да питье сделаю. Такое питье, что если сил нет, силы прибавится; если есть хочется, сыт сделаешься. Если сон не берет, заснешь сейчас; если скучно, весело станет. Если заробел, смелости даст. Вот какое питье сделаю!

Мужик.

Врешь!

Работник.

Вот то-то врешь! Так же не верил, как я тебе велел хлеб сначала в болоте, а потом на горах сеять. Теперь узнал. Так же и про питье узнаешь.

Мужик.

Да из чего же его делать будешь?

Работник.

Да вот из самого из хлеба этого.

Мужик.

А не грех это будет?

Работник.

Вона! Какой же тут грех? Всё на радость человеку дано.

Мужик.

И где ты, Потап, такого ума большого набрался? Смотрю я на тебя, человек ты не мудрененький, работающий. Вот два года живешь, ты и не разувался никак ни разу. А всё-то ты знаешь. Как ты до всего дошел?

Работник.

Да бывал повсюду.

Мужик.

Так и силы от него, от питья-то, прибудет?

Работник.

Вот увидишь, – всё от него хорошее.

Мужик.

Так как же делать-то будем?

Работник.

Делать его не хитро, когда знаешь. Только надо котел достать да чугунов два.

Мужик.

А на вкус-то она приятная?

Работник.

Сладкая, как мед. Отведешь разок, ты с ней век не расстанешься.

Мужик.

Ой ли? Пойду к куму, у него котел был. Надо попытать.

Занавес.

–

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Театр представляет сарай, в середине стоит замазанный котел на огне с чугуном и краном. Мужик и работник.

СЦЕНА 1-я.

Работник (*держит стакан под краном, пьет вино*).

Ну, хозяин, готово.

Мужик (*сидит на корточках, глядит*).

Вот штука-то! Из теста вода пошла. Что ж это ты воду прежде спускаешь?

Работник.

Это не вода, это она самая и есть.

Мужик.

Что же светлая? Я думал, она будет красная, как пиво. А эта ровно вода.

Работник.

Да ты понюхай дух-то.

Мужик (*нюхает*).

Ух, духовитая! Ну-ка, ну-ка, как она во рту-то будет, дай отведать. (*Рвет из рук.*)

Работник.

Погоди, прольешь. (*Завертывает кран, сам пьет, пощелкивает языком.*) Пospела! На, пей.

Мужик (*пьет сначала чуть-чуть, еще, еще и выпивает всю. Подает стакан*).

Ну-ка еще. С малости вкуса не разберешь.

Работник (*смеется*).

Аль полюбилось? (*Наливает еще.*)

Мужик (*пьет*).

Ну, штука! Надо бабу позвать. Эй, Марья, иди. Готова! Иди, иди, что ль!

СЦЕНА 2-я.

Баба и девочка и прежние.

Баба.

Ну, чего? Что орешь?

Мужик.

Да ты вот отведай, чего мы накурили. *(Подает.)* Понюхай, чем пахнет.

Баба *(нюхает)*.

Вишь ты!

Мужик.

Пей!

Баба.

Как бы чего от нее не было?

Мужик.

Пей, дура!

Баба *(пьет)*.

И то хороша!

Мужик *(захмелел немного)*.

То-то хороша. Да ты погоди, что будет. Потап сказывал, что от нее вся усталь из тела выходит. Молодые старыми сделаются... то, бишь, старые молодыми сделаются. Вот я всего два стаканчика выпил, и то все кости расправились. *(Куржится.)* Видишь? Погоди, мы с тобой, как каждый день ее пить станем, опять молодые будем. Ну, Машенька! *(Обнимает ее.)*

Баба.

Ну тебя! Ты и то одурел от нее.

Мужик.

А, то-то! Говорила, что мы с Потапом хлеб губим, а мы какую штуку спроворили. А? Говори, хороша?

Баба.

Да как же не хороша, коли старых на молодых переделывает. Вишь ты какой веселый стал! И мне весело стало. Подтягивай! И... и... и... *(Поет.)*

Мужик.

То-то. Все молодые, все веселые будем.

Баба.

Надо свекровь звать, а то она всё ругается да скучает. И ее переделать. Она помолодеет, добрее будет.

Мужик (пьяный).

Зови мать, зови сюда. Эй, ты, Машка! Беги, бабку зови да и деду вели итти. Скажи, я велю, чтобы слезал с печи. Что он валяется! Молодым сделаем. Ну, живо! Чтобы одна нога здесь, другая там. Стреляй! *(Девчонка бежит.)*

Мужик (бабе).

Ну-ка еще по стаканчику!

(Работник наливает и подносит.)

Мужик (выпивает).

То сверху помолодила, в языке, потом в руки прошла. Теперь до ног дошла. Чую, ноги помолодели. Вишь, сами пошли. *(Начинает выплясывать.)*

Баба (выпивает).

Ну-ка, ты мастер, Потапушка, заиграй! *(Потап берет балалайку, играет. Мужик и баба пляшут.)*

Работник (*играет на авансцене и смеется, подмигивает на них. Перестает играть, они всё пляшут*).

Заплатишь мне за краюшку; готовы молодцы – не отвернутся. Пускай посмотрит.

СЦЕНА 3-я.

Входит свежая старуха и старый, белый старик и прежние.

Старик.

Что вы, очумели, что ли? Люди работают, а они плясать.

Баба (*пляшет и бьет в ладоши*).

Их, их, их! (*Припевает.*) Согрешила перед Богом. Один Бог без грехов!

Старуха.

Ах, ты, паскудница! Печь не убрана, а она плясать!

Мужик.

Ты, матушка, погоди. Что у нас тут сделалось! Старых на молодых переделываем. Вот, на! Выпей только! (*Подает.*)

Старуха.

Воды-то и в колодце много. (*Нюхает.*) Чего же ты туда напустил? Вишь, дух-то какой!

Мужик и баба.

Да ты выпей!

Старуха (*пробует*).

Ишь ты! А не помрешь от нее?

Баба.

Вовсе оживешь. Совсем молодая станешь.

Старуха.

Ну! (*Пьет.*) А хороша! Лучше пива. Ну-ка, батюшка, покушай и ты.

(Дед садится и качает головой.)

Работник.

Оставьте его. А вот бабушке еще стаканчик надо. (*Подносит бабушке.*)

Старуха.

Как бы чего не сделалось? Ой, жжет она! А тянет.

Баба.

Выпей. Почуешь, как она по жилам пойдет.

Старуха.

Ну уж, видно, попытать. (*Выпивает.*)

Баба.

Что, дошла до ног-то?

Старуха.

И то доходит. Вот она, тута! И то легость от нее. Ну-ка еще! (*Выпивает еще.*) Важно! И то совсем молодая стала.

Мужик.

Я тебе и говорил.

Старуха.

Эх, старика моего нет! Поглядел бы он еще разок, какая я молодая была.

(Работник играет. Мужик и баба пляшут.)

Старуха *(выходит в середку).*

Разве так пляшут? Я вот покажу. *(Пляшет.)* Вот как. Еще этак да вот так. Видали?

(Дед подходит к котлу и выпускает наземь вино.)

Мужик *(замечает это и бросается к деду).*

Что ж ты это, злодей, наделал? Добро такое упустил! Ах, ты, старый хрен! *(Толкает его и подставляет стакан.)* Всё упустил.

Дед.

Зло это, не добро. Хлеб тебе Бог зародил себя и людей кормить, а ты его на дьявольское питье перегнал. Не будет от этого добра. Брось ты эти дела. А то пропадешь и людей погубишь! Это, думаешь, питье? Это – огонь, сожжет он тебя.

*(Берет лучину из-под котла, зажигает.
Разлитое вино горит. Все стоят в ужасе.)*

Занавес.

—

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ.

СЦЕНА 1-я.

Изба мужика. Один работник с рогами и копытами.

Работник.

Хлеба много, девать некуда, а вкус-то уж он в нем разобрал. Теперь опять накурили и в бочку слили и от людей спрятали. Даром поить людей не будем. А кого нам нужно, того попоим. Нынче вот я научил его стариков-мироедов позвать, попоить их, чтобы они его от

деда отделили, ничего бы деду не дали. Нынче и срок мой вышел, три года прошло, и дело мое готово. Пускай сам старшой приходит смотреть. Не стыдно и ему показать.

СЦЕНА 2-я.

Из-под земли выходит старшой.

Старшой.

Ну, нынче срок! Заслужил ли краюшку? Я тебе обещал притти сам посмотреть. Обротал мужика?

Работник.

Обротал совсем. Сам посуди. Сейчас вот сюда соберутся. Садись в печку, смотри, что они делать будут. Останешься доволен.

Старшой (*лезет в печку*).

Посмотрим.

СЦЕНА 3-я.

Входит хозяин и четыре старика; сзади баба. Садятся за стол. Баба накрывает и ставит студень и пироги. Старики здороваются с работником.

1-й старик.

Что ж, много еще питья наделал?

Работник.

Да накурили сколько нужно. Что ж добру даром пропадать?

2-й старик.

И хороша удалась?

Работник.

Еще лучше той.

2-й старик.

И где ты научился?

Работник.

По свету ходишь – всему научишься.

3-й старик.

Так, так – дошлый.

Мужик.

Кушайте! *(Баба подносит.)*

Баба *(приносит графин, наливает).*

Просим милости!

1-й старик *(пьет).*

Будьте здоровы. Ах, хорошо! по суставам пошло! ну, питье!

(То же делают три старика друг за другом. Старшой вылезает из устья печи, работник становится с ним рядом.)

Работник *(старшому).*

Смотри теперь, что будет. Я бабе ногу подставлю, она прольет стакан. То он краюшки не пожалел, – посмотри теперь, что за стаканчик вина будет.

Мужик.

Ну, баба, наливай еще, подноси чередом: куму, а потом дяде Михайле.

Баба *(наливает и идет вокруг стола, работник подставляет ей ногу, она спотыкается и проливает стакан).*

Ай, батюшки, пролила! И тебя же тут нелегкая принесла!

Мужик (на бабу).

Экая косолапая чертовка! Сама как безрукая, а на людей говоришь. Ишь, добро какое на пол льешь!

Баба.

Да ведь ненароком.

Мужик.

То-то ненароком. Вот дай встану, я те научу, как вино наземь лить. *(На работника.)* Да и ты, проклятый, около стола чего вертишься? Иди ты к чорту!

(Баба вновь наливает и подносит вино.)

Работник (подходит к печи и говорит старшому).

Видишь: то последнюю краюшку не пожалел, а теперь за стаканчик чуть жену не прибил и меня к тебе, к чорту, послал.

Старшой.

Хорошо, очень хорошо. Хвалю!

Работник.

Погоди еще. Дай они всю бутылку выпьют – посмотри, то ли еще будет. И теперь гладкие слова, масляные, говорят, а вот сейчас так начнут друг к дружке подольщаться, что все, как лисицы, хитрые сделаются.

Мужик.

Так как же, старички, как же вы мое дело рассудите? Жил у меня дед, кормил я его, кормил, а он теперь сошел к дяде и хочет свою часть дома взять – дяде отдать. Рассудите, как лучше. Вы люди умные. Без вас мы как без головы. Уж против вас во всей деревне нет людей. Вот хоть бы Иван Федотыч, ведь и люди говорят, что первый человек. А я тебе, Иван Федотыч, правду говорю: больше отца-матери люблю. А Михайла Степаныч – старинный друг.

1-й старик (к хозяину).

С хорошим человеком и говорить хорошо, – ума наберешься. Так-то с тобой. Ведь против тебя не найдешь человека.

2-й старик.

Потому умный и ласковый; за то и люблю.

3-й старик.

Уж как я тебя жалею, что и слов нет. Я нынче бабе говорю.

4-й старик.

Дружок, истинно дружок.

Работник (толкает старшого).

Видишь! Всё врут. Как врозь, так друг дружку ругают. А теперь видишь, как подмасливают, как лисицы хвостами виляют. А всё от питья.

Старшой.

Хорошо питье! Очень хорошо. Коли они так врать будут, все наши будут. Хорошо, хвалю.

Работник.

Погоди, дай другую бутылъ выпьют, то ли еще будет.

Баба (подносит).

Кушайте на здоровье.

1-й старик.

Не много ли будет? Будьте здоровы! (*Пьет.*) С хорошим человеком и выпить лестно.

2-й старик.

Нельзя не выпить. Будьте здоровы, хозяин с хозяйшкой!

3-й старик.

Дружки! здравствуйте!

4-й старик.

Вот так брага! Гуляй! Всё сделаем. Потому во всём моя воля.

1-й старик.

Твоя-то – не твоя, а как постарше тебя скажут.

4-й старик.

Старше да глупее. Поди ты корове под хвост.

2-й старик.

Чего ругаешься? Эх ты, дура!

3-й старик.

Он верно говорит. Потому хозяин нас угощает не спроста. Ему дело нужно. Дело можно рассудить. Только ты угости. Почет сделай. Потому я тебе нужен, а не ты мне. Ты кто? Ты свинье брат.

Мужик.

Сам съешь. Что горло-то дерешь? Не видали, что ли? Жрать-то вы все здоровы.

1-й старик.

Ты что гордыбачишь? Вот я те нос-то поправлю на сторону.

Мужик.

Кто кого?

2-й старик.

Эка невидаль! Ну те к чорту! Не хочу с тобой говорить, уйду.

Мужик (держит).

Да ты что компанию расстраиваешь?

2-й старик.

Пусти! Свисну!

Мужик.

Не пуцу! Какую ты имеешь праву?

2-й старик.

А вот какую! (*Бьет.*)

Мужик (*старикам*).

Заступитесь!

(Свалка. Мужик и старики все вместе вдруг говорят.)

1-й старик.

Потому, значит, гу.....ляем!

2-й старик.

Всё я могу!

3-й старик.

Давай еще!

Мужик (*кричит бабе*).

Давай еще бутыль!

(Все садятся опять за стол и пьют.)

Работник (*старшому*).

Теперь видел? Заговорила в них волчья кровь. Как волки, все злы сделались.

Старшой.

Хорошо питье! Хвалю.

Работник.

Погоди. Дай еще 3-ю бутыль выпьют, то ли еще будет.

Занавес.

—

ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ.

Сцена представляет улицу. Справа старики сидят на бревнах, между ними дед. В середине водят хороводы бабы, девки и парни. Играют плясовую и пляшут. Из избы слышутся шум, пьяные крики; выходит старик и кричит пьяным голосом; за ним хозяин, уводит его назад.

СЦЕНА 1-я.

Дед.

Ах, грехи, грехи! Чего еще нужно? Будни работай, пришел праздник – помойся, сбрую оправь, отдохни, с семейными посиди, поди на улицу к старикам, общественное дело посуди. А молод – что ж, и поиграй! Вон хорошо играют, смотреть весело. Честно, хорошо. *(Крик в избе.)* А то это что? Только людей смущают да чертей радуют. А всё от жиру!

СЦЕНА 2-я.

Из избы вываливаются пьяные, идут к хороводам, кричат, хватают девок.

Девки.

Брось, дядя Карп, что ты!

Парни.

Уйти надо на проулок. А то какая же тут игра!

(Уходят все, кроме пьяных и деда.)

Мужик *(идет к деду, показывает шиш).*

Что, взял? Всё мне старики обещали присудить. Тебе вот что! На, выкуси. Всё мне отдали, тебе ничего. Вот они скажут.

(1-й, 2-й, 3-й, 4-й старики в один голос.)

1-й старик.

Потому я всю правду могу рассудить.

2-й старик.

Я всякого переспорю, потому я сам с усам!

3-й старик.

Друг! дружок, дружочек!

4-й старик.

Ходи изба, ходи печь, хозяйюшке негде лечь! Гуляем!

(Ухватываются старики по-двое и, шатаясь, идут и уходят – одна пара, потом другая. Хозяин идет к дому, не доходит, спотыкается, падает и бормочет что-то непонятное, подобно хрюканью. Дед с мужиками поднимается и уходит.)

СЦЕНА 3-я.

Выходит старшой с работником.

Работник.

Видел? Теперь заговорила свиная кровь. Из волков свиньями поделались. *(Показывает на хозяина.)* Лежит, как боров в грязи, хрюкает.

Старшой.

Заслужил! Сначала как лисицы, потом как волки, а теперь как свиньи сделались. Ну, уж питье! Скажи ж, как ты такое питье сделал? Должно, ты туда лисьей, волчьей и свиной крови пустил.

Работник.

Нет, я только хлеба лишнего зародил. Как было у него хлеба с нужду, так ему и краюшки не жаль было; а как стало девать некуда, и поднялась в нем лисья, волчья и свиная кровь. Звериная кровь всегда в нем была, только ходу ей не было.

Старшой.

Ну, молодец! Заслужил краюшку. Теперь только бы вино пили, а они у нас в руках всегда будут!

Занавес.

СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА.

I.

В большом здании судебных учреждений во время перерыва заседания по делу Мельвинских члены и прокурор сошлись в кабинете Ивана Егоровича Шебек, и зашел разговор о знаменитом красовском деле. Федор Васильевич разгорячился, доказывая неподсудность, Иван Егорович стоял на своем, Петр же Иванович, не вступив сначала в спор, не принимал в нем участия и просматривал только что поданные Ведомости.

– Господа! – сказал он, – Иван Ильич-то умер.

– Неужели?

– Вот, читайте, – сказал он Федору Васильевичу, подавая ему свежий, пахучий еще номер.

В черном ободке было напечатано: «Прасковья Федоровна Головина с душевным прискорбием извещает родных и знакомых о кончине возлюбленного супруга своего, члена Судебной палаты, Ивана Ильича Головина, последовавшей 4-го февраля сего 1882 года. Вынос тела в пятницу, в 1 час пополудни».

Иван Ильич был сотоварищ собравшихся господ, и все любили его. Он болел уже несколько недель; говорили, что болезнь его неизлечима. Место оставалось за ним, но было соображение о том, что в случае его смерти Алексеев может быть назначен на его место, на место же Алексеева – или Винников, или Штабель. Так что, услышав о смерти Ивана Ильича, первая мысль каждого из господ, собравшихся в кабинете, была о том, какое значение может иметь эта смерть на перемещения или повышения самих членов или их знакомых.

«Теперь наверно получу место Штабеля или Винникова, – подумал Федор Васильевич. – Мне это и давно обещано, а это повышение составляет для меня 800 руб. прибавки, кроме канцелярии».

«Надо будет попросить теперь о переводе шурина из Калуги, – подумал Петр Иванович. – Жена будет очень рада. Теперь уж нельзя будет говорить, что я никогда ничего не сделал для ее родных».

– Я так и думал, что ему не подняться, – вслух сказал Петр Иванович. – Жалко.

– Да что у него собственно было?

– Доктора не могли определить. То есть определяли, но различно. Когда я видел его последний раз, мне казалось, что он поправится.

– А я так и не был у него с самых праздников. Всё собирался.

– Что, у него было состояние?

– Кажется, что-то очень небольшое у жены. Но что-то ничтожное.

– Да, надо будет поехать. Ужасно далеко жили они.

– То есть от вас далеко. От вас всё далеко.

– Вот не может мне простить, что я живу за рекой, – улыбаясь на Шебека, сказал Петр Иванович. И заговорили о дальности городских расстояний, и пошли в заседание.

Кроме вызванных этой смертью в каждом соображений о перемещениях и возможных изменениях по службе, могущих последовать от этой смерти, самый факт смерти близкого знакомого вызвал во всех, узнавших про нее, как всегда, чувство радости о том, что умер он, а не я.

«Каково, умер; а я вот нет», подумал или почувствовал каждый. Близкие же знакомые, так называемые друзья Ивана Ильича, при этом подумали невольно и о том, что теперь им

надобно исполнить очень скучные обязанности приличия и поехать на панихиду и к вдове с визитом соблезнования.

Ближе всех были Федор Васильевич и Петр Иванович.

Петр Иванович был товарищем по училищу правоверения и считал себя обязанным Иваном Ильичом.

Передав за обедом жене известие о смерти Ивана Ильича и соображения о возможности перевода шурина в их округ, Петр Иванович, не ложась отдыхать, надел фрак и поехал к Ивану Ильичу.

У подъезда квартиры Ивана Ильича стояла карета и два извозчика. Внизу, в передней, у вешалки прислонена была к стене глазетовая крышка гроба с кисточками и начищенным порошком галуном. Две дамы в черном снимали шубки. Одна сестра Ивана Ильича, знакомая, другая незнакомая дама. Товарищ Петра Ивановича, Шварц, сходил сверху и, с верхней ступени увидав входившего, остановился и подмигнул ему, как бы говоря: «глупо распорядился Иван Ильич; то ли дело мы с вами».

Лицо Шварца с английскими бакенбардами и вся худая фигура во фраке имела, как всегда, изящную торжественность, и эта торжественность, всегда противоречащая характеру игривости Шварца, здесь имела особенную соль. Так подумал Петр Иванович.

Петр Иванович пропустил вперед себя дам и медленно пошел за ними на лестницу. Шварц не стал сходить, а остановился наверху. Петр Иванович понял зачем; он, очевидно, хотел стовориться, где повинтить нынче. Дамы прошли на лестницу к вдове, а Шварц, с серьезно сложенными, крепкими губами и игривым взглядом, движением бровей показал Петру Ивановичу направо, в комнату мертвеца.

Петр Иванович вошел, как всегда это бывает, с недоумением о том, что ему там надо будет делать. Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. На счет того, что нужно ли при этом и кланяться, он не совсем был уверен и потому выбрал среднее: войдя в комнату, он стал креститься и немножко как будто кланяться. Насколько ему позволяли движения рук и головы, он вместе с тем оглядывал комнату. Два молодые человека, один гимназист, кажется, племянники, крестясь, выходили из комнаты. Старушка стояла неподвижно. И дама с странно поднятыми бровями что-то ей говорила шопотом. Дьячок в сюртуке, бодрый, решительный, читал что-то громко с выражением, исключаящим всякое противоречие; буфетный мужик Герасим, пройдя перед Петром Ивановичем легкими шагами, что-то посыпал по полу. Увидав это, Петр Иванович тотчас же почувствовал легкий запах разлагающегося трупа. В последнее свое посещение Ивана Ильича Петр Иванович видел этого мужика в кабинете; он исполнял должность сиделки, и Иван Ильич особенно любил его. Петр Иванович всё крестился и слегка кланялся по срединному направлению между гробом, дьячком и образами на столе в углу. Потом, когда это движение крещения рукою показалось ему уже слишком продолжительно, он приостановился и стал разглядывать мертвеца.

Мертвец лежал, как всегда лежат мертвецы, особенно тяжело, по-мертвецки утонувши окоченевшими членами в подстилке гроба, с навсегда согнувшеюся головой на подушке, и выставлял, как всегда выставляют мертвецы, свой желтый восковой лоб с взлизями на ввалившихся висках и торчащий нос, как бы надавивший на верхнюю губу. Он очень переменялся, еще похудел с тех пор, как Петр Иванович не видал его, но, как у всех мертвецов, лицо его было красивее, главное – значительнее, чем оно было у живого. На лице было выражение того, что то, что нужно было сделать, сделано; и сделано правильно. Кроме того, в этом выражении был еще упрек или напоминание живым. Напоминание это показалось Петру Ивановичу неуместным или, по крайней мере, до него не касающимся. Что-то ему стало неприятно, и потому Петр Иванович еще раз поспешно перекрестился и, как ему показалось, слишком поспешно, несообразно с приличиями, повернулся и пошел к двери. Шварц ждал его в проходной комнате, расставив широко ноги и играя обеими руками за спиной своим цилиндром. Один взгляд на игри-

вую, чистоплотную и элегантную фигуру Шварца освежил Петра Ивановича. Петр Иванович понял, что он, Шварц, стоит выше этого и не поддается удручающим впечатлениям. Один вид его говорил: инцидент панихиды Ивана Ильича никак не может служить достаточным поводом для признания порядка заседания нарушенным, т. е. что ничто не может помешать нынче же вечером шелконуть, распечатывая ее, колодой карт, в то время как лакей будет расставлять четыре необожженные свечи; вообще нет основания предполагать, чтобы инцидент этот мог помешать нам провести приятно и сегодняшний вечер. Он и сказал это шопотом проходившему Петру Ивановичу, предлагая соединиться на партию у Федора Васильевича. Но, видно, Петру Ивановичу была не судьба винтить нынче вечером. Прасковья Федоровна, невысокая, жирная женщина, несмотря на все старания устроить противное, всё-таки расширявшаяся от плеч книзу, вся в черном, с покрытой кружевом головой и с такими же странно поднятыми бровями, как и та дама, стоявшая против гроба, вышла из своих покоев с другими дамами и, проводив их в дверь мертвеца, сказала: «Сейчас будет панихида; пройдите».

Шварц, неопределенно поклонившись, остановился, очевидно не принимая и не отклоняя этого предложения. Прасковья Федоровна, узнав Петра Ивановича, вздохнула, подошла к нему вплоть, взяла его за руку и сказала: «Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича...» и посмотрела на него, ожидая от него соответствующие этим словам действия. Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: «поверьте!» И он так и сделал. И, сделав это, почувствовал, что результат получился желаемый: что он тронут и она тронута.

– Пойдемте, пока там не началось; мне надо поговорить с вами, – сказала вдова. – Дайте мне руку.

Петр Иванович подал руку, и они направились во внутренние комнаты, мимо Шварца, который печально подмигнул Петру Ивановичу.

«Вот-те и винт! Уж не взыщите, другого партнера возьмем. Нешто впятером, когда отделяетесь», сказал его игривый взгляд.

Петр Иванович вздохнул еще глубже и печальнее, и Прасковья Федоровна благодарно пожала ему руку. Войдя в ее обитую розовым кретоном гостиную с пасмурной лампой, они сели у стола: она на диван, а Петр Иванович на расстроившийся пружинами и неправильно подававшийся под его сиденьем низенький пуф. Прасковья Федоровна хотела предупредить его, чтобы он сел на другой стул, но нашла это предупреждение не соответствующим своему положению и раздумала. Садясь на этот пуф, Петр Иванович вспомнил, как Иван Ильич устраивал эту гостиную и советовался с ним об этом самом розовом с зелеными листьями кретоне. Садясь на диван и проходя мимо стола (вообще вся гостиная была полна вещей и мебели), вдова зацепилась черным кружевом черной мантилии за резьбу стола. Петр Иванович приподнялся, чтобы отцепить, и освобожденный под ним пуф стал волноваться и подталкивать его. Вдова сама стала отцеплять свое кружево, и Петр Иванович опять сел, придавив бунтовавший под ним пуф. Но вдова не всё отцепила, и Петр Иванович опять поднялся, и опять пуф забунтовал и даже шелкнул. Когда всё это кончилось, она вынула чистый батистовый платок и стала плакать. Петра же Ивановича охладил эпизод с кружевом и борьба с пуфом, и он сидел насупившись. Неловкое это положение перервал Соколов, буфетчик Ивана Ильича, с докладом о том, что место на кладбище, то, которое назначила Прасковья Федоровна, будет стоить 200 руб. Она перестала плакать и, с видом жертвы взглянув на Петра Ивановича, сказала по-французски, что ей очень тяжело. Петр Иванович сделал молчаливый знак, выразивший несомненную уверенность в том, что это не может быть иначе.

– Курите, пожалуйста, – сказала она великодушным и вместе убитым голосом и занялась с Соколовым вопросом о цене места. Петр Иванович, закуривая, слышал, что она очень обстоятельно расспросила о разных ценах земли и определила ту, которую следует взять. Кроме того, окончив о месте, она распорядилась и о певчих. Соколов ушел.

– Я всё сама делаю, – сказала она Петру Ивановичу, отодвигая к одной стороне альбомы, лежавшие на столе; и, заметив, что пепел угрожал столу, не мешкая подвинула Петру Ивановичу пепельницу и проговорила: – Я нахожу притворством уверять, что я не могу от горя заниматься практическими делами. Меня, напротив, если может что не утешить... а развлечь, то это заботы о нем же. – Она опять достала платок, как бы собираясь плакать, и вдруг, как бы пересиливая себя, встряхнулась и стала говорить спокойно.

– Однако у меня дело есть к вам.

Петр Иванович поклонился, не давая расходиться пружинам пуфа, тотчас же зашевелившимся под ним.

– В последние дни он ужасно страдал.

– Очень страдал? – спросил Петр Иванович.

– Ах, ужасно! Последние не минуты, а часы он не переставая кричал. Трое суток сряду он, не переводя голоса, кричал. Это было невыносимо. Я не могу понять, как я вынесла это; за тремя дверьми слышно было. Ах! что я вынесла!

– И неужели он был в памяти? – спросил Петр Иванович.

– Да, – прошептала она, – до последней минуты. Он простился с нами за $\frac{1}{4}$ часа до смерти и еще просил увести Володю.

Мысль о страдании человека, которого он знал так близко, сначала веселым мальчиком, школьником, потом взрослым партнером, несмотря на неприятное сознание притворства своего и этой женщины, вдруг ужаснула Петра Ивановича. Он увидел опять этот лоб, нажимавший на губу нос, и ему стало страшно за себя.

«Трое суток ужасных страданий и смерть. Ведь это сейчас, всякую минуту может наступить и для меня», подумал он, и ему стало на мгновение страшно. Но тотчас же, он сам не знал как, ему на помощь пришла обычная мысль, что это случилось с Иваном Ильичем, а не с ним, и что с ним этого случиться не должно и не может; что, думая так, он поддается мрачному настроению, чего не следует делать, как это очевидно было по лицу Шварца. И, сделав это рассуждение, Петр Иванович успокоился и с интересом стал расспрашивать подробности о кончине Ивана Ильича, как будто смерть была такое приключение, которое свойственно только Ивану Ильичу, но совсем не свойственно ему.

После разных разговоров о подробностях действительно ужасных физических страданий, перенесенных Иваном Ильичем (подробности эти узнавал Петр Иванович только по тому, как мучения Ивана Ильича действовали на нервы Прасковьи Федоровны), вдова, очевидно, нашла нужным перейти к делу.

– Ах, Петр Иванович, как тяжело, как ужасно тяжело, как ужасно тяжело, – и она опять заплакала.

Петр Иванович вздыхал и ждал, когда она высморкается. Когда она высморкалась, он сказал: «Поверьте...», и опять она разговорилась и высказала то, что было, очевидно, ее главным делом к нему; дело это состояло в вопросах о том, как бы по случаю смерти мужа достать денег от казны. Она сделала вид, что спрашивает у Петра Ивановича совета о пенсионе; но он видел, что она уже знает до мельчайших подробностей и то, чего он не знал: всё то, что можно вытянуть от казны по случаю этой смерти; но что ей хотелось узнать, нельзя ли как-нибудь вытянуть еще побольше денег. Петр Иванович постарался выдумать такое средство, но, подумав несколько и из приличия побранив наше правительство за его скардность, сказал, что, кажется, больше нельзя. Тогда она вздохнула и, очевидно, стала придумывать средство избавиться от своего посетителя. Он понял это, затушил папироску, встал, пожал руку и пошел в переднюю.

В столовой с часами, которым Иван Ильич так рад был, что купил в брикабраке, Петр Иванович встретил священника и еще несколько знакомых, приехавших на панихиду, и увидел знакомую ему красивую барышню, дочь Ивана Ильича. Она была вся в черном. Талия ее,

очень тонкая, казалась еще тоньше. Она имела мрачный, решительный, почти гневный вид. Она поклонилась Петру Ивановичу, как будто он был в чем-то виноват. За дочерью стоял с таким же обиженным видом знакомый Петру Ивановичу богатый молодой человек, судебный следователь, ее жених, как он слышал. Он уныло поклонился им и хотел пройти в комнату мертвеца, когда из-под лестницы показалась фигурка гимназистика-сына, ужасно похожего на Ивана Ильича. Это был маленький Иван Ильич, каким Петр Иванович помнил его в Правоведении. Глаза у него были и заплаканные и такие, какие бывают у нечистых мальчиков в 13—14 лет. Мальчик, увидав Петра Ивановича, стал сурово и стыдливо морщиться. Петр Иванович кивнул ему головой и вошел в комнату мертвеца. Началась панихида, – свечи, стоны, ладон, слезы, всхлипывания. Петр Иванович стоял нахмурившись, глядя на ноги перед собой. Он не взглянул ни разу на мертвеца и до конца не поддался расслабляющим влияниям и один из первых вышел. В передней никого не было. Герасим, буфетный мужик, выскочил из комнаты покойника, перешвырял своими сильными руками все шубы, чтобы найти шубу Петра Ивановича, и подал ее.

– Что, брат, Герасим? – сказал Петр Иванович, чтобы сказать что-нибудь. – Жалко?

– Божья воля. Все там же будем, – сказал Герасим, оскаливая свои белые, сплошные мужицкие зубы, и, как человек в разгаре усиленной работы, живо отворил дверь, кликнул кучера, посадил Петра Ивановича и прыгнул назад к крыльцу, как будто придумывая, что бы ему еще сделать.

Петру Ивановичу особенно приятно былодохнуть чистым воздухом после запаха ладона, трупа и карболовой кислоты.

– Куда прикажете? – спросил кучер.

– Не поздно. Заеду еще к Федору Васильевичу.

И Петр Иванович поехал. И действительно застал их при конце 1-го робера, так что ему удобно было вступить пятым.

II.

Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная.

Иван Ильич умер 45-ти лет, членом Судебной палаты. Он был сын чиновника, сделавшего в Петербурге по разным министерствам и департаментам ту карьеру, которая доводит людей до того положения, в котором, хотя и ясно оказывается, что исполнять какую-нибудь существенную должность они не годятся, они всё-таки по своей долгой и прошедшей службе и своим чинам не могут быть выгнаны и потому получают выдуманные фиктивные места и нефиктивные тысячи от 6-ти до 10-ти, с которыми они и доживают до глубокой старости.

Таков был тайный советник, ненужный член разных ненужных учреждений, Илья Ефимович Головин.

У него было три сына. Иван Ильич был второй сын. Старший делал такую же карьеру, как и отец, только по другому министерству, и уж близко подходил к тому служебному возрасту, при котором получается эта инерция жалованья. Третий сын был неудачник. Он в разных местах везде напортил себе и теперь служил по железным дорогам: и его отец, и братья, и особенно их жены не только не любили встречаться с ним, но без крайней необходимости и не вспоминали о его существовании. Сестра была за бароном Грефом, таким же петербургским чиновником, как и его тесть. Иван Ильич был *le phenix de la famille*,⁴ как говорили. Он был не такой холодный и аккуратный, как старший, и не такой отчаянный, как меньшой. Он был середина между ними – умный, живой, приятный и приличный человек. Воспитывался он вместе

⁴ [Гордость семьи.]

с меньшим братом в Правоведении. Меньшой не кончил и был выгнан из 5-го класса, Иван же Ильич хорошо кончил курс. В Правоведении уже он был тем, чем он был впоследствии всю свою жизнь: человеком способным, весело-добродушным и общительным, но строго исполняющим то, что он считал своим долгом; долгом же он своим считал всё то, что считалось таковым наивысше поставленными людьми. Он не был заискивающим ни мальчиком, ни потом взрослым человеком, но у него с самых молодых лет было то, что он, как муха к свету, тянулся к наивысше поставленным в свете людям, усваивал себе их приемы, их взгляды на жизнь и с ними устанавливал дружеские отношения. Все увлечения детства и молодости прошли для него, не оставив больших следов; он отдавался и чувственности, и тщеславию, и – под конец в высших классах – либеральности, но всё в известных пределах, которые верно указывало ему его чувство.

Были в Правоведении совершены им поступки, которые прежде представлялись ему большими гадостями и внушали ему отвращение к самому себе в то время, как он совершал их; но впоследствии, увидав, что поступки эти были совершаемы и высоко стоящими людьми и не считались ими дурными, он не то что признал их хорошими, но совершенно забыл их и нисколько не огорчался воспоминаниями о них.

Выйдя из Правоведения десятым классом и получив от отца деньги на обмундировку, Иван Ильич заказал себе платье у Шармера, повесил на брелоки медальку с надписью: *respice finem*,⁵ простился с принцем и воспитателем, пообедал с товарищами у Донона и с новыми модными чемоданом, бельем, платьем, бритвенными и туалетными принадлежностями и пледом, заказанными и купленными в самых лучших магазинах, уехал в провинцию на место чиновника особых поручений губернатора, которое доставил ему отец.

В провинции Иван Ильич сразу устроил себе такое же легкое и приятное положение, каково было его положение в Правоведении. Он служил, делал карьеру и, вместе с тем, приятно и прилично веселился; изредка он ездил по поручению начальства в уезды, держал себя с достоинством и с высшими и с низшими и с точностью и неподкупной честностью, которой не мог не гордиться, исполнял возложенные на него поручения, преимущественно по делам раскольников.

В служебных делах он был, несмотря на свою молодость и склонность к легкому веселью, чрезвычайно сдержан, официален и даже строг; но в общественных он был часто игрив и остроумен и всегда добродушен, приличен и *bon enfant*,⁶ как говорил про него его начальник и начальница, у которых он был домашним человеком.

Была в провинции и связь с одной из дам, навязавшейся щеголеватому правоведе; была и модистка; были и попойки с приезжими флигель-адъютантами, и поездки в дальнюю улицу после ужина; было и подслуживанье начальнику и даже жене начальника, но всё это носило на себе такой высокий тон порядочности, что всё это не могло быть называемо дурными словами: всё это подходило только под рубрику французского изречения: *il faut que jeunesse se passe*.⁷ Всё происходило с чистыми руками, в чистых рубашках, с французскими словами и, главное, в самом высшем обществе, следовательно, с одобрением высоко стоящих людей.

Так прослужил Иван. Ильич пять лет, и наступила перемена по службе. Явились новые судебные учреждения; нужны были новые люди.

И Иван Ильич стал этим новым человеком.

Ивану Ильичу предложено было место судебного следователя, и Иван Ильич принял его, несмотря на то, что место это было в другой губернии, и ему надо было бросить установив-

⁵ [Предвидь конец.]

⁶ [Добрый малый.]

⁷ [Молодость должна перебеситься.]

шиеся отношения и устанавливая новые. Ивана Ильича проводили друзья, сделали группу, поднесли ему серебряную папиросницу, и он уехал на новое место.

Судебным следователем Иван Ильич был таким же *comme il faut*’ным, приличным, умеющим отделять служебные обязанности от частной жизни и внушающим общее уважение, каким он был чиновником особых поручений. Сама же служба следователя представляла для Ивана Ильича гораздо более интереса и привлекательности, чем прежняя. В прежней службе приятно было свободной походкой в Шармеровском вицмундире пройти мимо трепещущих и ожидающих приема просителей и должностных лиц, завидующих ему, прямо в кабинет начальника и сесть с ним за чай с папиросою; но людей, прямо зависящих от его произвола, было мало. Такие люди были только исправники и раскольники, когда его посылали с поручениями; и он любил учтиво, почти по-товарищески обходиться с такими, зависящими от него, людьми, любил давать чувствовать, что вот он, могущий раздавить, дружески, просто обходится с ними. Таких людей тогда было мало. Теперь же, судебным следователем, Иван Ильич чувствовал, что все, все без исключения, самые важные, самодовольные люди – все у него в руках и что ему стоит только написать известные слова на бумаге с заголовком, и этого важного, самодовольного человека приведут к нему в качестве обвиняемого или свидетеля, и он будет, если он не захочет посадить его, стоять перед ним и отвечать на его вопросы. Иван Ильич никогда не злоупотреблял этой своей властью, напротив, старался смягчать выражения ее; но сознание этой власти и возможность смягчать ее составляли для него главный интерес и привлекательность его новой службы. В самой же службе, именно в следствиях, Иван Ильич очень быстро усвоил прием отстранения от себя всех обстоятельств, не касающихся службы, и облечения всякого самого сложного дела в такую форму, при которой бы дело только внешним образом отражалось на бумаге и при котором исключалось совершенно его личное воззрение и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность. Дело это было новое. И он был один из первых людей, выработавших на практике приложение уставов 1864 года.

Перейдя в новый город на место судебного следователя, Иван Ильич сделал новые знакомства, связи, по-новому поставил себя и принял несколько иной тон. Он поставил себя в некотором достойном отдалении от губернских властей, а избрал лучший круг из судейских и богатых дворян, живших в городе, и принял тон легкого недовольства правительством, умеренной либеральности и цивилизованной гражданственности. При этом, несколько не изменив элегантности своего туалета, Иван Ильич в новой должности перестал пробривать подбородок и дал свободу бороде расти, где она хочет.

Жизнь Ивана Ильича и в новом городе сложилась очень приятно: фрондирующее против губернатора общество было дружное и хорошее; жалованья было больше, и немалую приятность в жизни прибавил тогда вист, в который стал играть Иван Ильич, имевший способность играть в карты весело, быстро соображая и очень тонко, так что в общем он всегда был в выигрыше.

После двух лет службы в новом городе Иван Ильич встретился с своей будущей женой. Прасковья Федоровна Михель была самая привлекательная, умная, блестящая девушка того кружка, в котором вращался Иван Ильич. В числе других забав и отдохновений от трудов следователя Иван Ильич установил игривые, легкие отношения с Прасковьей Федоровной.

Иван Ильич, будучи чиновником особых поручений, вообще танцевал; судебным же следователем он уже танцевал как исключение. Он танцевал уже в том смысле, что хоть и по новым учреждениям, и в пятом классе, но если дело коснется танцев, то могу доказать, что в этом роде я могу лучше других. Так, он изредка в конце вечера танцевал с Прасковьей Федоровной и преимущественно во время этих танцев и победил Прасковью Федоровну. Она влюбилась в него. Иван Ильич не имел ясного, определенного намерения жениться, но когда девушка влюбилась в него, он задал себе этот вопрос. «В самом деле, отчего же и не жениться?» сказал он себе.

Девушка Прасковья Федоровна была хорошего дворянского рода, недурна; было маленькое состояньице. Иван Ильич мог рассчитывать на более блестящую партию, но и эта была партия хорошая. У Ивана Ильича было его жалованье, у ней, он надеялся, будет столько же. Хорошее родство; она – милая, хорошенькая и вполне порядочная женщина. Сказать, что Иван Ильич женился потому, что он полюбил свою невесту и нашел в ней сочувствие своим взглядам на жизнь, было бы так же несправедливо, как и сказать то, что он женился потому, что люди его общества одобряли эту партию. Иван Ильич женился по обоим соображениям: он делал приятное для себя, приобретая такую жену, и вместе с тем делал то, что наивысше поставленные люди считали правильным.

И Иван Ильич женился.

Самый процесс женитьбы и первое время брачной жизни, с супружескими ласками, новой мебелью, новой посудой, новым бельем, до беременности жены прошло очень хорошо, так что Иван Ильич начинал уже думать, что женитьба не только не нарушит того характера жизни легкой, приятной, веселой и всегда приличной и одобряемой обществом, который Иван Ильич считал свойственным жизни вообще, но еще усугубит его. Но тут, с первых месяцев беременности жены, явилось что-то такое новое, неожиданное, неприятное, тяжелое и неприличное, чего нельзя было ожидать и от чего никак нельзя было отделаться.

Жена без всяких поводов, как казалось Ивану Ильичу, *de gaieté de coeur*,⁸ как он говорил себе, начала нарушать приятность и приличие жизни: она без всякой причины ревновала его, требовала от него ухаживанья за собой, придиралась ко всему и делала ему неприятные и грубые сцены.

Сначала Иван Ильич надеялся освободиться от неприятности этого положения тем самым легким и приличным отношением к жизни, которое выручало его прежде – он пробовал игнорировать расположение духа жены, продолжал жить попрежнему легко и приятно: приглашал к себе друзей составлять партию, пробовал сам уезжать в клуб или к приятелям. Но жена один раз с такой энергией начала грубыми словами ругать его и так упорно продолжала ругать его всякий раз, когда он не исполнял ее требований, очевидно твердо решившись не переставать до тех пор, пока он не покорится, т. е. не будет сидеть дома и не будет так же, как и она, тосковать, что Иван Ильич ужаснулся. Он понял, что супружеская жизнь – по крайней мере с его женою – не содействует всегда приятностям и приличию жизни, а, напротив, часто нарушает их, и что поэтому необходимо оградить себя от этих нарушений. И Иван Ильич стал отыскивать средства для этого. Служба было одно, что импонировало Прасковье Федоровне, и Иван Ильич посредством службы и вытекающих из нее обязанностей стал бороться с женой, выгораживая свой независимый мир.

С рождением ребенка, попытками кормления и различными неудачами при этом, с болезнями действительными и воображаемыми ребенка и матери, в которых от Ивана Ильича требовалось участие, но в которых он ничего не мог понять, потребность для Ивана Ильича выгородить себе мир вне семьи стала еще более настоятельна.

По мере того, как жена становилась раздражительнее и требовательнее, и Иван Ильич всё более и более переносил центр тяжести своей жизни в службу. Он стал более любить службу и стал более честолюбив, чем он был прежде.

Очень скоро, не далее как через год после женитьбы, Иван Ильич понял, что супружеская жизнь, представляя некоторые удобства в жизни, в сущности есть очень сложное и тяжелое дело, по отношению которого, для того, чтобы исполнять свой долг, т. е. вести приличную, одобряемую обществом жизнь, нужно выработать определенное отношение, как и к службе.

И такое отношение к супружеской жизни выработал себе Иван Ильич. Он требовал от семейной жизни только тех удобств домашнего обеда, хозяйки, постели, которые она могла

⁸ [Умышленно, нарочно.]

дать ему, и, главное, того приличия внешних форм, которые определялись общественным мнением. В остальном же он искал веселой приятности и, если находил их, был очень благодарен; если же встречал отпор и ворчливость, то тотчас же уходил в свой отдельный выгороженный им мир службы и в нем находил приятность.

Ивана Ильича ценили как хорошего служаку, и через три года сделали товарищем прокурора. Новые обязанности, важность их, возможность привлечь к суду и посадить всякого в острог, публичность речей, успех, который в этом деле имел Иван Ильич, – всё это еще более привлекало его к службе.

Пошли дети. Жена становилась всё ворчливее и сердитее, но выработанные Иваном Ильичем отношения к домашней жизни делали его почти непроницаемым для ее ворчливости.

После семи лет службы в одном городе Ивана Ильича перевели на место прокурора в другую губернию. Они переехали, денег было мало, и жене не понравилось то место, куда они переехали. Жалованье было хоть и больше прежнего, но жизнь была дороже; кроме того, умерло двое детей, и потому семейная жизнь стала еще неприятнее для Ивана Ильича.

Прасковья Федоровна во всех случавшихся невзгодах в этом новом месте жительства упрекала мужа. Большинство предметов разговора между мужем и женой, особенно воспитание детей, наводило на вопросы, по которым были воспоминания ссор, и ссоры всякую минуту готовы были разгораться. Оставались только те редкие периоды влюбленности, которые находили на супругов, но продолжались недолго. Это были островки, на которые они приставали на время, но потом опять пускались в море затаенной вражды, выражавшейся в отчуждении друг от друга. Отчуждение это могло бы огорчать Ивана Ильича, если бы он считал, что это не должно так быть, но он теперь уже признавал это положение не только нормальным, но и целью своей деятельности в семье. Цель его состояла в том, чтобы всё больше и больше освобождать себя от этих неприятностей и придать им характер безвредности и приличия; и он достигал этого тем, что он всё меньше и меньше проводил время с семьей, а когда был вынужден это делать, то старался обеспечивать свое положение присутствием посторонних лиц. Главное же то, что у Ивана Ильича была служба. В служебном мире сосредоточился для него весь интерес жизни. И интерес этот поглощал его. Сознание своей власти, возможности погубить всякого человека, которого он захочет погубить, важность, даже внешняя, при его входе в суд и встречах с подчиненными, успех свой перед высшими и подчиненными и, главное, мастерство свое ведения дел, которое он чувствовал, – всё это радовало его и вместе с беседами с товарищами, обедами и вистом наполняло его жизнь. Так что вообще жизнь Ивана Ильича продолжала идти так, как он считал, что она должна была идти: приятно и прилично.

Так прожил он еще семь лет. Старшей дочери было уже 16 лет, еще один ребенок умер, и оставался мальчик-гимназист, предмет раздора. Иван Ильич хотел отдать его в Правоведение, а Прасковья Федоровна на зло ему отдала в гимназию. Дочь училась дома и росла хорошо, мальчик тоже учился недурно.

III.

Так шла жизнь Ивана Ильича в продолжение 17 лет со времени женитьбы. Он был уже старым прокурором, отказавшимся от некоторых перемещений, ожидая более желательного места, когда неожиданно случилось одно неприятное обстоятельство, совсем было нарушившее его спокойствие жизни. Иван Ильич ждал места председателя в университетском городе, но Гоппе забежал как-то вперед и получил это место. Иван Ильич раздражился, стал делать упреки и поссорился с ним и с ближайшим начальством; к нему стали холодны и в следующем назначении его опять обошли.

Это было в 1880 году. Этот год был самый тяжелый в жизни Ивана Ильича. В этом году оказалось, с одной стороны, что жалованья нехватает на жизнь; с другой – что все его забыли,

и что то, что казалось для него по отношению к нему величайшей, жесточайшей несправедливостью, другим представлялось совсем обыкновенным делом. Даже отец не считал своей обязанностью помогать ему. Он почувствовал, что все покинули его, считая его положение с 3500 жалованья самым нормальным и даже счастливым. Он один знал, что с сознанием тех несправедливостей, которые были сделаны ему, и с вечным пилением жены и с долгами, которые он стал делать, живя сверх средств, – он один знал, что его положение далеко не нормально.

Летом этого года для облегчения средств он взял отпуск и поехал прожить с женой лето в деревне у брата Прасковьи Федоровны.

В деревне, без службы, Иван Ильич в первый раз почувствовал не только скуку, но тоску невыносимую, и решил, что так жить нельзя и необходимо принять какие-нибудь решительные меры.

Проведя бессонную ночь, которую всю Иван Ильич проходил по террасе, он решил ехать в Петербург хлопотать и, чтобы наказать *их*, тех, которые не умели оценить его, перейти в другое министерство.

На другой день, несмотря на все отговоры жены и шурина, он поехал в Петербург.

Он ехал за одним: выпросить место в пять тысяч жалованья. Он уже не держался никакого министерства, направления или рода деятельности. Ему нужно только было место, место с пятью тысячами, по администрации, по банкам, по железным дорогам, по учреждениям императрицы Марии, даже таможи, но непременно пять тысяч и непременно выйти из министерства, где не умели оценить его.

И вот эта поездка Ивана Ильича увенчалась удивительным, неожиданным успехом. В Курске подсел в 1-й класс Ф. С. Ильин, знакомый, и сообщил свежую телеграмму, полученную курским губернатором, что в министерстве произойдет на-днях переворот: на место Петра Ивановича назначают Ивана Семеновича.

Предполагаемый переворот, кроме своего значения для России, имел особенное значение для Ивана Ильича тем, что он, выдвигая новое лицо, Петра Петровича и, очевидно, его друга Захара Ивановича, был в высшей степени благоприятен для Ивана Ильича. Захар Иванович был товарищ и друг Ивану Ильичу.

В Москве известие подтвердилось. А приехав в Петербург, Иван Ильич нашел Захара Ивановича и получил обещание верного места в своем прежнем министерстве юстиции.

Через неделю он телеграфировал жене:

Захар место Миллера при первом докладе получаю назначение.

Иван Ильич, благодаря этой перемене лиц, неожиданно получил в своем прежнем министерстве такое назначение, в котором он стал на две степени выше своих товарищей: пять тысяч жалованья и подъемных три тысячи пятьсот. Вся досада на прежних врагов своих и на всё министерство была забыта, и Иван Ильич был совсем счастлив.

Иван Ильич вернулся в деревню веселый, довольный, каким он давно не был. Прасковья Федоровна тоже повеселела, и между ними заключилось перемирие. Иван Ильич рассказывал о том, как его все чествовали в Петербурге, как все те, которые были его врагами, были посрамлены и подличали теперь перед ним, как ему завидуют за его положение, в особенности о том, как все его сильно любили в Петербурге.

Прасковья Федоровна выслушивала это и делала вид, что она верит этому, и не противоречила ни в чем, а делала только планы нового устройства жизни в том городе, куда они переезжали. И Иван Ильич с радостью видел, что эти планы были его планы, что они сходятся и что опять его запнувшаяся жизнь приобретает настоящий, свойственный ей, характер веселой приятности и приличия.

Иван Ильич приехал на короткое время. 10-го сентября ему надо было принимать должность и, кроме того, нужно было время устроиться на новом месте, перевезти всё из провин-

ции, прикупить, приказать еще многое; одним словом, устроиться так, как это решено было в его уме, и почти что точно так же, как это решено было и в душе Прасковьи Федоровны.

И теперь, когда всё устроилось так удачно и когда они сходились с женою в цели и, кроме того, мало жили вместе, они так дружно сошлись, как не сходились с первых лет женатой своей жизни. Иван Ильич было думал увезти семью тотчас же, но настояния сестры и зятя, вдруг сделавшимися особенно любезными и родственными к Ивану Ильичу и его семье, сделали то, что Иван Ильич уехал один.

Иван Ильич уехал, и веселое расположение духа, произведенное удачей и согласием с женой, одно усиливающее другое, всё время не оставляло его. Нашлась квартира прелестная, то самое, о чем мечтали муж с женой. Широкие, высокие в старом стиле приемные комнаты, удобный грандиозный кабинет, комнаты для жены и дочери, классная для сына, – всё как нарочно придумано для них. Иван Ильич сам взялся за устройство, выбирал обои, подкупал мебель, особенно из старья, которому он придавал особенный комильфотный стиль, обивку, и всё росло, росло и приходило к тому идеалу, который он составил себе. Когда он до половины устроился, его устройство превзошло его ожиданье. Он понял тот комильфотный, изящный и не пошлый характер, который примет всё, когда будет готово. Засыпая, он представлял себе залу, какою она будет. Глядя на гостиную, еще неоконченную, он уже видел камин, экран, этажерку и эти стульчики разбросанные, эти блюда и тарелки по стенам и бронзы, когда они все станут по местам. Его радовала мысль, как он поразит Пашу и Лизаньку, которые тоже имеют к этому вкус. Они никак не ожидают этого. В особенности ему удалось найти и купить дешево старые вещи, которые придавали всему особенно благородный характер. Он в письмах своих нарочно представлял всё хуже, чем есть, чтобы поразить их. Всё это так занимало его, что даже новая служба его, любящего это дело, занимала меньше, чем он ожидал. В заседаниях у него бывали минуты рассеянности: он задумывался о том, какие карнизы на гардины, прямые или подобранные. Он так был занят этим, что сам часто возился, переставлял даже мебель и сам перевешивал гардины. Раз он влез на лесенку, чтобы показать непонимающему обойщику, как он хочет драпировать, оступился и упал, но как сильный и ловкий человек удержался, только боком стукнулся об ручку рамы. Ушиб поболел, но скоро прошел. Иван Ильич чувствовал себя всё это время особенно веселым и здоровым. Он писал: чувствую, что с меня соскочило лет 15. Он думал кончить в сентябре, но затянулось до половины октября. Зато было прелестно, – не только он говорил, но ему говорили все, кто видели.

В сущности же было то самое, что бывает у всех не совсем богатых людей, но таких, которые хотят быть похожими на богатых и потому только похожи друг на друга: штофы, черное дерево, цветы, ковры и бронзы, темное и блестящее, – всё то, что все известного рода люди делают, чтобы быть похожими на всех людей известного рода. И у него было так похоже, что нельзя было даже обратить внимание; но ему всё это казалось чем-то особенным. Когда он встретил своих на станции железной дороги, привез их в свою освещенную готовую квартиру и лакей в белом галстуке отпер дверь в убранную цветами переднюю, а потом они вошли в гостиную, кабинет и ахали от удовольствия, – он был очень счастлив, водил их везде, впивал в себя их похвалы и сиял от удовольствия. В этот же вечер, когда за чаем Прасковья Федоровна спросила его, между прочим, как он упал? он засмеялся и в лицах представил, как он полетел и испугал обойщика.

– Я не даром гимнаст. Другой бы убился, а я чуть ударился вот тут; когда тронешь – больно, но уже проходит; просто синяк.

И они начали жить в новом помещении, в котором, как всегда, когда хорошенько обжились, недоставало только одной комнаты, и с новыми средствами, к которым, как всегда, только немножко – каких-нибудь 500 руб. – недоставало, и было очень хорошо. Особенно было хорошо первое время, когда еще не всё было устроено и надо было еще устраивать; то купить, то заказать, то переставить, то наладить. Хоть и были некоторые несогласия между мужем и

женой, но оба так были довольны и так много было дела, что всё кончалось без больших ссор. Когда уже нечего было устраивать, стало немножко скучно и чего-то недоставать, но тут уже сделались знакомства, привычки, и жизнь наполнилась.

Иван Ильич, проведши утро в суде, возвращался к обеду, и первое время расположение его духа было хорошо, хотя и страдало немного именно от помещения. (Всякое пятно на ска-терти, на штофе, оборванный снурок гардины раздражали его: он столько труда положил на устройство, что ему больно было всякое разрушение.) Но вообще жизнь Ивана Ильича пошла так, как, по его вере, должна была протекать жизнь: легко, приятно и прилично. Вставал он в 9, пил кофе, читал газету, потом надевал вицмундир и ехал в суд. Там уже был обмят тот хомут, в котором он работал; он сразу попадал в него. Просители, справки в канцелярии, сама канцелярия, заседания – публичные и распорядительные. Во всем этом надо было уметь исключать всё то сырое, жизненное, что всегда нарушает правильность течения служебных дел: надо не допускать с людьми никаких отношений, помимо служебных, и повод к отношениям должен быть только служебный и самые отношения только служебные. Например, приходит человек и желает узнать что-нибудь. Иван Ильич как человек недолжностной и не может иметь никаких отношений к такому человеку; но если есть отношение этого человека как к члену, такое, которое может быть выражено на бумаге с заголовком, – в пределах этих отношений Иван Ильич делает всё, всё решительно, что можно, и при этом соблюдает подобие человеческих дружелюбных отношений, то есть учтивость. Как только кончается отношение служебное, так кончается всякое другое. Этим умением отделять служебную сторону, не смешивая ее с своей настоящей жизнью, Иван Ильич владел в высшей степени и долгой практикой, и талантом выработал его до такой степени, что он даже, как виртуоз, иногда позволял себе, как бы шутя, смешивать человеческое и служебное отношения. Он позволял это себе потому, что чувствовал в себе силу всегда, когда ему понадобится, опять выделить одно служебное и откинуть человеческое. Дело это шло у Ивана Ильича не только легко, приятно и прилично, но даже виртуозно. В промежутки он курил, пил чай, беседовал немножко о политике, немножко об общих делах, немножко о картах и больше всего о назначениях. И усталый, но с чувством виртуоза, отчетливо отделившего свою партию, одну из первых скрипок в оркестре, возвращался домой. Дома дочь с матерью куда-нибудь ездили или у них был кто-нибудь; сын был в гимназии, готовил уроки с репетиторами и учился исправно тому, чему учат в гимназии. Всё было хорошо. После обеда, если не было гостей, Иван Ильич читал иногда книгу, про которую много говорят, и вечером садился за дела, т. е. читал бумаги, справлялся с законами, – сличал показания и подводил под законы. Ему это было ни скучно, ни весело. Скучно было, когда можно было играть в винт; но если не было винта, – то это было всё-таки лучше, чем сидеть одному или с женой. Удовольствия же Ивана Ильича были обеды маленькие, на которые он звал важных по светскому положению дам и мужчин, и такое времяпровождение с ними, которое было бы похоже на обыкновенное препровождение времени таких людей, так же как гостиния его была похожа на все гостиные.

Один раз у них был даже вечер, танцевали. И Ивану Ильичу было весело, и всё было хорошо, только вышла большая ссора с женой из-за тортов и конфет: у Прасковьи Федоровны был свой план, а Иван Ильич настоял на том, чтобы взять всё у дорогого кондитера, и взял много тортов, и ссора была за то, что торты остались, а счет кондитера был в 45 руб. Ссора была большая и неприятная, так что Прасковья Федоровна сказала ему: «дурак, кисляй». А он схватил себя за голову и в сердцах что-то упомянул о разводе. Но самый вечер был веселый. Было лучшее общество, и Иван Ильич танцевал с княгиней Труфоновой, сестрою той, которая известна учреждением общества «Унеси ты мое горе». Радости служебные были радости самолюбия; радости общественные были радости тщеславия; но настоящие радости Ивана Ильича были радости игры в винт. Он признавался, что после всего, после каких бы то ни было событий, нерадостных в его жизни, радость, которая, как свеча, горела перед всеми другими, – это

сесть с хорошими игроками и некрикунами-партнерами в винт, и непременно вчетвером (впятером уж очень больно выходить, хотя и притворяешься, что я очень люблю), и вести умную, серьезную игру (когда карты идут), потом поужинать и выпить стакан вина. А спать после винта, особенно когда в маленьком выигрыше (большой – неприятно), Иван Ильич ложился в особенно хорошем расположении духа.

Так они жили. Круг общества составлялся у них самый лучший, ездили и важные люди и молодые люди.

Во взгляде на круг своих знакомых муж, жена и дочь были совершенно согласны и, не сговариваясь, одинаково оттирали от себя и освобождались от всяких разных приятелей и родственников, замарашек, которые разлетались к ним с нежностями в гостиную с японскими блюдами по стенам. Скоро эти друзья замарашки перестали разлетаться, и у Головиных осталось общество одно самое лучшее. Молодые люди ухаживали за Лизанькой, и Петрищев, сын Дмитрия Ивановича Петрищева и единственный наследник его состояния, судебный следователь, стал ухаживать за Лизой, так что Иван Ильич уже поговаривал об этом с Прасковьей Федоровной: не свести ли их кататься на тройках, или устроить спектакль. Так они жили. И всё шло так, не изменяясь, и всё было очень хорошо.

IV.

Все были здоровы. Нельзя было назвать нездоровьем то, что Иван Ильич говорил иногда, что у него странный вкус во рту и что-то неловко в левой стороне живота.

Но случилось, что неловкость эта стала увеличиваться и переходить не в боль еще, но в сознание тяжести постоянной в боку и в дурное расположение духа. Дурное расположение духа это, все усиливаясь и усиливаясь, стало портить установившуюся было в семействе Головиных приятность легкой и приличной жизни. Муж с женой стали чаще и чаще ссориться, и скоро отпала легкость и приятность, и с трудом удерживалось одно приличие. Сцены опять стали чаще. Опять остались одни островки, и тех мало, на которых муж с женою могли сходиться без взрыва.

И Прасковья Федоровна теперь не без основания говорила, что у ее мужа тяжелый характер. С свойственной ей привычкой преувеличивать она говорила, что всегда и был такой ужасный характер, что надобно ее доброту, чтобы переносить это двадцать лет. Правда было то, что ссоры теперь начинались от него. Начинались его придирки всегда перед самым обедом и часто, именно когда он начинал есть, за супом. То он замечал, что что-нибудь из посуды испорчено, то кушанье не такое, то сын положил локоть на стол, то прическа дочери. И во всем он обвинял Прасковью Федоровну. Прасковья Федоровна сначала возражала и говорила ему неприятности, но он раза два во время начала обеда приходил в такое бешенство, что она поняла, что это болезненное состояние, которое вызывается в нем принятием пищи, и смирила себя; уже не возражала, а только торопила обедать. Смирение свое Прасковья Федоровна поставила себе в великую заслугу. Решив, что муж ее имеет ужасный характер и сделал несчастье ее жизни, она стала жалеть себя. И чем больше она жалела себя, тем больше ненавидела мужа. Она стала желать, чтоб он умер, но не могла этого желать, потому что тогда не было бы жалованья. И это еще более раздражало ее против него. Она считала себя страшно несчастной именно тем, что даже смерть его не могла спасти ее, и она раздражалась, скрывала это, и это скрытое раздражение ее усиливало его раздражение.

После одной сцены, в которой Иван Ильич был особенно несправедлив и после которой он и при объяснении сказал, что он точно раздражителен, но что это от болезни, она сказала ему, что если он болен, то надо лечиться, и потребовала от него, чтобы он поехал к знаменитому врачу.

Он поехал. Всё было, как он ожидал; всё было так, как всегда делается. И ожидание, и важность напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он знал в себе в суде, и постукивание, и выслушивание, и вопросы, требующие определенные вперед и очевидно ненужные ответы, и значительный вид, который внушал, что вы, мол, только подвергнитесь нам, а мы всё устроим, – у нас известно и несомненно, как всё устроить, всё одним манером для всякого человека, какого хотите. Всё было точно так же, как в суде. Как он в суде делал вид над подсудимыми, так точно над ним знаменитый доктор делал тоже вид.

Доктор говорил: то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то; но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то у вас надо предположить то-то и то-то. Если же предположить то-то, тогда... и т. д. Для Ивана Ильича был важен только один вопрос: опасно ли его положение, или нет? Но доктор игнорировал этот неуместный вопрос. С точки зрения доктора вопрос этот был праздный и не подлежал обсуждению; существовало только взвешивание вероятностей – блуждающей почки, хронического катара и болезни слепой кишки. Не было вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой. И спор этот на глазах Ивана Ильича доктор блестящим образом разрешил в пользу слепой кишки, сделав оговорку о том, что исследование мочи может дать новые улики и что тогда дело будет пересмотрено. Всё это было точь в точь то же, что делал тысячу раз сам Иван Ильич над подсудимыми таким блестящим манером. Так же блестяще сделал свое резюме доктор и торжествуя, весело даже, взглянув сверху очков на подсудимого. Из резюме доктора Иван Ильич вывел то заключение, что плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй, и всем всё равно, а ему плохо. И это заключение болезненно поразило Ивана Ильича, вызвав в нем чувство большой жалости к себе и большой злобы на этого равнодушного к такому важному вопросу доктора.

Но он ничего не сказал, а встал, положил деньги на стол и, вздохнув, сказал:

– Мы, больные, вероятно, часто делаем вам неуместные вопросы, – сказал он. – Вообще, это опасная болезнь, или нет?..

Доктор строго взглянул на него одним глазом через очки, как будто говоря: подсудимый, если вы не будете оставаться в пределах ставимых вам вопросов, я буду принужден сделать распоряжение об удалении вас из залы заседания.

– Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным, – сказал доктор. – Дальнейшее покажет исследование. – И доктор поклонился.

Иван Ильич вышел медленно, уныло сел в сани и поехал домой. Всю дорогу он, не переставая, перебирал всё, что говорил доктор, стараясь все эти запутанные, неясные научные слова перевести на простой язык и прочесть в них ответ на вопрос: плохо – очень ли плохо мне, или еще ничего? И ему казалось, что смысл всего сказанного доктором был тот, что очень плохо. Всё грустно показалось Ивану Ильичу на улицах. Извозчики были грустны, дома грустны, прохожие, лавки грустны. Боль же эта, глухая, ноющая боль, ни на секунду не перестающая, казалась, в связи с неясными речами доктора получала другое, более серьезное, значение. Иван Ильич с новым тяжелым чувством теперь прислушивался к ней.

Он приехал домой и стал рассказывать жене. Жена выслушала, но в середине рассказа его вошла дочь в шляпке: она собиралась с матерью ехать. Она с усилием присела послушать эту скуку, но долго не выдержала, и мать не дослушала.

– Ну, я очень рада, – сказала жена; – так теперь ты, смотри ж, принимай аккуратно лекарство. Дай рецепт, я пошлю Герасима в аптеку. – И она пошла одеваться.

Он не переводил дыханья, пока она была в комнате, и тяжело вздохнул, когда она вышла.

– Ну что ж, – сказал он. – Может быть, и точно ничего еще...

Он стал принимать лекарства, исполнять предписания доктора, которые изменились по случаю исследования мочи. Но тут как раз так случилось, что в этом исследовании и в том, что должно было последовать за ним, вышла какая-то путаница. До самого доктора нельзя было

добраться, а выходило, что делалось не то, что говорил ему доктор. Или он забыл, или соврал, или скрывал от него что-нибудь.

Но Иван Ильич всё-таки точно стал исполнять предписания и в исполнении этом нашел утешение на первое время.

Главным занятием Ивана Ильича со времени посещения доктора стало точное исполнение предписаний доктора относительно гигиены и принятия лекарств и прислушивание к своей боли, ко всем своим отправлениям организма. Главными интересами Ивана Ильича стали людские болезни и людское здоровье. Когда при нем говорили о больных, об умерших, о выздоровевших, особенно о такой болезни, которая походила на его, он, стараясь скрыть свое волнение, прислушивался, расспрашивал и делал применение к своей болезни.

Боль не уменьшалась; но Иван Ильич делал над собой усилия, чтобы заставлять себя думать, что ему лучше. И он мог обманывать себя, пока ничего не волновало его. Но как только случалась неприятность с женой, неудача в службе, дурные карты в винте, так сейчас он чувствовал всю силу своей болезни; бывало он переносил эти неудачи, ожидая, что вот-вот исправлю плохое, поборю, дождусь успеха, большого шлема. Теперь же всякая неудача подкашивала его и ввергала в отчаяние. Он говорил себе: вот только что я стал поправляться и лекарство начинало уже действовать, и вот это проклятое несчастье или неприятность... И он злился на несчастье или на людей, делавших ему неприятности и убивающих его, и чувствовал, как эта злоба убивает его; но не мог воздержаться от нее. Казалось бы, ему должно было быть ясно, что это озлобление его на обстоятельства и людей усиливает его болезнь, и что поэтому ему надо не обращать внимания на неприятные случайности; но он делал совершенно обратное рассуждение: он говорил, что ему нужно спокойствие, следил за всем, что нарушало это спокойствие, и при всяком малейшем нарушении приходил в раздражение. Ухудшало его положение то, что он читал медицинские книги и советовался с докторами. Ухудшение шло так равномерно, что он мог себя обманывать, сравнивая один день с другим, – разницы было мало. Но когда он советовался с докторами, тогда ему казалось, что идет к худшему и очень быстро даже. И несмотря на это, он постоянно советовался с докторами.

В этот месяц он побывал у другой знаменитости: другая знаменитость сказала почти то же, что и первая, но иначе поставила вопросы. И совет с этой знаменитостью только усугубил сомнение и страх Ивана Ильича. Приятель его приятеля – доктор очень хороший – тот еще совсем иначе определил болезнь и, несмотря на то, что обещал выздоровление, своими вопросами и предположениями еще больше спутал Ивана Ильича и усилил его сомнение. Гомеопат – еще иначе определил болезнь и дал лекарство, и Иван Ильич, тайно от всех, принимал его с неделю. Но после недели, не почувствовав облегчения и потеряв доверие и к прежним лечением и к этому, пришел в еще большее уныние. Раз знакомая дама рассказывала про исцеление иконами. Иван Ильич застал себя на том, что он внимательно прислушивался и поверял действительность факта. Этот случай испугал его. «Неужели я так умственно ослабел?» сказал он себе. «Пустяки! Всё вздор, не надо поддаваться мнительности, а, избрав одного врача, строго держаться его лечения. Так и буду делать. Теперь кончено. Не буду думать и до лета строго буду исполнять лечение. А там видно будет. Теперь конец этим колебаниям!..» Легко было сказать это, но невозможно исполнить. Боль в боку всё томила, всё как будто усиливалась, становилась постоянной, вкус во рту становился всё страннее, ему казалось, что пахло чем-то отвратительным у него изо рта, и аппетит и силы всё слабели. Нельзя было себя обманывать: что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичем, совершалось в нем. И он один знал про это, все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что всё на свете идет попрежнему. Это-то более всего мучило Ивана Ильича. Домашние – главное жена и дочь, которые были в самом разгаре выездов, он видел, ничего не понимали, досадовали на то, что он такой невеселый и требовательный, как будто он был виноват в этом. Хотя они и старались скрывать это, он видел, что он

им помеха; но что жена выработала себе известное отношение к его болезни и держалась его независимо от него, что он говорил и делал. Отношение это было такое: «Вы знаете, – говорила она знакомым, – Иван Ильич не может, как все добрые люди, строго исполнять предписанное лечение. Нынче он примет капли и кушает, что велено, и в-время ляжет; завтра вдруг, если я посмотрю, забудет принять, скушает осетрины (а ему не велено), да и засидится за винтом до часа».

«– Ну, когда же? – скажет Иван Ильич с досадою, – один раз у Петра Ивановича.

– А вчера с Шебеком.

– Всё равно, я не мог спать от боли...

– Да там уж от чего бы то ни было, только так ты никогда не выздоровеешь и мучаешь нас».

Внешнее, высказываемое другим и ему самому, отношение Прасковьи Федоровны было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич, и вся болезнь эта есть новая неприятность, которую он делает жене. Иван Ильич чувствовал, что это выходило у нее невольно, но от этого ему не легче было.

В суде Иван Ильич замечал, или думал, что замечает, то же странное к себе отношение: то ему казалось, что к нему приглядываются, как к человеку, имеющему скоро опростать место; то вдруг его приятели начинали дружески подшучивать над его мнительностью, как будто то, что-то ужасное и страшное, неслыханное, что завелось в нем и не переставая сосет его и неудержимо влечет куда-то, есть самый приятный предмет для шутки. Особенно Шварц своей игривостью, жизненностью и комильфотностью, напоминавшими Ивану Ильичу его самого за десять лет назад, раздражал его.

Приходили друзья составить партию, садились. Сдавали, разминались новые карты, складывались бубны к бубнам, их 7. Партнер сказал: без козырей и поддержал 2 бубны. Чего ж еще? Весело, бодро должно бы быть – шлем. И вдруг Иван Ильич чувствует эту сосущую боль, этот вкус во рту, и ему что-то дикое представляется в том, что он при этом может радоваться шлему.

Он глядит на Михаила Михайловича, партнера, как он бьет по столу сангвинической рукой и учтиво и снисходительно удерживается от захватывания взяток, а подвигает их к Ивану Ильичу, чтобы доставить ему удовольствие собирать их, не утруждая себя, не протягивая далеко руку. «Что ж он думает, что я так слаб, что не могу протянуть далеко руку», думает Иван Ильич, забывает козырей и козыряет лишний раз по своим и проигрывает шлем без трех, и что ужаснее всего – это то, что он видит, как страдает Михаил Михайлович, а ему всё равно. И ужасно думать, отчего ему всё равно.

Все видят, что ему тяжело, и говорят ему: «Мы можем прекратить, если вы устали. Вы отдохните». – Отдохнуть? Нет, он несколько не устал, они доигрывают робер. Все мрачны и молчаливы. Иван Ильич чувствует, что он напустил на них эту мрачность и не может ее рассеять. Они ужинают и разъезжаются, и Иван Ильич остается один с сознанием того, что его жизнь отравлена для него и отравляет жизнь других, и что отравка эта не ослабевает, а всё больше и больше проникает всё существо его.

И с сознанием этим, да еще с болью физической, да еще с ужасом надо было ложиться в постель и часто не спать от боли большую часть ночи. А на утро надо было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать, а если и не ехать, дома быть с теми же двадцатью четырьмя часами в сутках, из которых каждый был мучением. И жить так на краю гибели надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его.

V.

Так шло месяц и два. Перед новым годом приехал в их город его шурин и остановился у них. Иван Ильич был в суде. Прасковья Федоровна ездила за покупками. Войдя к себе в

кабинет, он застал там шурина, здорового сангвиника, самого раскладывающего чемодан. Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча. Этот взгляд всё открыл Ивану Ильичу. Шурина раскрыл рот, чтоб ахнуть, и удержался. Это движение подтвердило всё.

– Что переменялся?

– Да... есть перемена.

И сколько Иван Ильич ни наводил после шурина на разговор о его внешнем виде, шурина отмалчивался. Приехала Прасковья Федоровна, шурина пошел к ней. Иван Ильич запер дверь на ключ и стал смотреться в зеркало – прямо, потом сбоку. Взял свой портрет с женою и сличил портрет с тем, что он видел в зеркале. Перемена была огромная. Потом он оголил руки до локтя, посмотрел, опустил рукава, сел на отоманку и стал чернее ночи.

«Не надо, не надо», сказал он себе, вскочил, подошел к столу, открыл дело, стал читать его, но не мог. Он отпер дверь, пошел в залу. Дверь в гостиную была затворена. Он подошел к ней на цыпочках и стал слушать.

– Нет, ты преувеличиваешь, – говорила Прасковья Федоровна.

– Как преувеличиваю? Тебе не видно – он мертвый человек, посмотри его глаза. Нет света. Да что у него?

– Никто не знает. Николаев (это был другой доктор) сказал что-то, но я не знаю. Лещетицкий (это был знаменитый доктор) сказал напротив...

Иван Ильич отошел, пошел к себе, лег и стал думать: «почка, блуждающая почка». Он вспомнил всё то, что ему говорили доктора, как она оторвалась и как блуждает. И он усилием воображения старался поймать эту почку и остановить, укрепить ее; так мало нужно, казалось ему. «Нет, поеду еще к Петру Ивановичу». (Это был тот приятель, у которого был приятель-доктор.) Он позвонил, велел заложить лошадь и собрался ехать.

– Куда ты, Жан? – спросила жена с особенно грустным и непривычно добрым выражением.

Это непривычное доброе озлобило его. Он мрачно посмотрел на нее.

– Мне надо к Петру Ивановичу.

Он поехал к приятелю, у которого был приятель-доктор. И с ним к доктору. Он застал его и долго беседовал с ним.

Рассматривая анатомически и физиологически подробности о том, что, по мнению доктора, происходило в нем, он всё понял.

Была одна штука, маленькая штука в слепой кишке. Всё это могло поправиться. Усилить энергию одного органа, ослабить деятельность другого, произойдет всасывание, и всё поправится. Он немного опоздал к обеду. Пообедал, весело поговорил, но долго не мог уйти к себе заниматься. Наконец он пошел в кабинет и тотчас же сел за работу. Он читал дела, работал, но сознание того, что у него есть отложенное важное задушевное дело, которым он займется по окончании, не оставляло его. Когда он кончил дела, он вспомнил, что это задушевное дело были мысли о слепой кишке. Но он не предался им, он пошел в гостиную к чаю. Были гости, говорили и играли на фортепиано, пели; был судебный следователь, желанный жених дочери. Иван Ильич провел вечер, по замечанию Прасковьи Федоровны, веселее других, но он не забывал ни на минуту, что у него есть отложенные важные мысли о слепой кишке. В 11 часов он простился и пошел к себе. Он спал один со времени своей болезни, в маленькой комнатке у кабинета. Он пошел, разделся и взял роман Золя, но не читал его, а думал. И в его воображении происходило то желанное исправление слепой кишки. Всасывалось, выбрасывалось, восстанавливалась правильная деятельность. «Да, это всё так, – сказал он себе. – Только надо помогать природе». Он вспомнил о лекарстве, приподнялся, принял его, лег на спину, прислушиваясь к тому, как благотворно действует лекарство и как оно уничтожает боль. – «Только равномерно принимать и избегать вредных влияний; я уже теперь чувствую несколько лучше, гораздо лучше». Он стал шупать бок, – наощупь не больно. «Да, я не чувствую, право, уже

гораздо лучше». Он потушил свечу и лег на бок... Слепая кишка исправляется, всасывается. Вдруг он почувствовал знакомую старую, глухую, ноющую боль, упорную, тихую, серьезную. Во рту та же знакомая гадость. Засосало сердце, помутилось в голове. «Боже мой, Боже мой! – проговорил он. – Опять, опять, и никогда не перестанет». И вдруг ему дело представилось совсем с другой стороны. «Слепая кишка! Почка», – сказал он себе. – «Не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и... смерти. Да, жизнь была и вот уходит, уходит, и я не могу удержать ее. Да. Зачем обманывать себя? Разве не очевидно всем, кроме меня, что я умираю, и вопрос только в числе недель, дней – сейчас, может быть. То свет был, а теперь мрак. То я здесь был, а теперь туда! Куда?» Его обдало холодом, дыхание остановилось. Он слышал только удары сердца.

«Меня не будет, так что же будет? Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть? Нет, не хочу». Он вскочил, хотел зажечь свечку, пошарил дрожащими руками, – уронил свечу с подсвечником на пол и опять повалился назад, на подушку. «Зачем? Всё равно, – говорил он себе, открытыми глазами глядя в темноту. – Смерть. Да, смерть. И они никто не знают и не хотят знать, и не жалеют. Они играют. (Он слышал дальние, из-за двери, раскат голоса и ригурнели.) Им всё равно, а они также умрут. Дурачье. Мне раньше, а им после; и им то же будет. А они радуются. Скоты!» Злоба душила его. И ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, чтоб все всегда были обречены на этот ужасный страх. Он поднялся.

«Что-нибудь не так; надо успокоиться, надо обдумать всё сначала». И вот он начал обдумывать. «Да, начало болезни. Стукнулся боком, и всё такой же я был, и нынче и завтра; немного ныло, потом больше, потом доктора, потом унылость, тоска, опять доктора; а я всё шел ближе, ближе к пропасти. Сил меньше. Ближе, ближе. И вот я исчах, у меня света в глазах нет. И смерть, а я думаю о кишке. Думаю о том, чтобы починить кишку, а это смерть. – Неужели смерть?» Опять на него нашел ужас, он запыхался, нагнулся, стал искать спичек, надавил локтем на тумбочку. Она метала ему и делала больно, он разозлился на нее, надавил с досадой сильнее и повалил тумбочку. И в отчаянии, задыхаясь, он повалился на спину, ожидая сейчас же смерти.

Гости уезжали в это время. Прасковья Федоровна провожала их. Она услышала падение и вошла.

– Что ты?

– Ничего. Уронил нечаянно.

Она вышла, принесла свечу. Он лежал, тяжело и быстро дыша, как человек, который пробежал версту, остановившимися глазами глядя на нее.

– Что ты, Жан?

– Ниче...го. У...ро...нил. «Что же говорить. Она не поймет», думал он.

Она точно не поняла. Она подняла, зажгла ему свечу и поспешно ушла: ей надо было проводить гостью.

Когда она вернулась, он так же лежал навзничь, глядя вверх.

– Что тебе, или хуже?

– Да.

Она покачала головой, посидела.

– Знаешь, Жан, я думаю, не пригласить ли Лещетицкого на дом?

Это значит знаменитого доктора пригласить и не пожалеть денег. Он ядовито улыбнулся и сказал: нет. Она посидела, подошла и поцеловала его в лоб.

Он ненавидел ее всеми силами души в то время, как она целовала его, и делал усилия, чтобы не оттолкнуть ее.

– Прощай. Бог даст, заснешь.

– Да.

VI.

Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном отчаянии.

В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого.

Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай – человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо; он был Ваня с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в Правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание?

И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, – мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно.

Так чувствовалось ему.

«Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос; но ничего подобного не было во мне; и я и все мои друзья – мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А теперь вот что! – говорил он себе. – Не может быть. Не может быть, а есть. Как же это? Как понять это? »

И он не мог понять и старался отогнать эту мысль, как ложную, неправильную, болезненную, и вытеснить ее другими правильными, здоровыми мыслями. Но мысль эта не только мысль, но как будто действительность, приходила опять и становилась перед ним.

И он призывал по очереди на место этой мысли другие мысли, в надежде найти в них опору. Он пытался возвратиться к прежним ходам мысли, которые заслоняли для него прежде мысль о смерти. Но – странное дело – всё то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия. Последнее время Иван Ильич большей частью проводил в этих попытках восстановить прежние ходы чувства, заслонявшего смерть. То он говорил себе: «займусь службой, ведь я жил же ею». И он шел в суд, отгоняя от себя всякие сомнения; вступал в разговоры с товарищами и садился, по старой привычке, рассеянно, задумчивым взглядом окидывая толпу и обеими исхудавшими руками опираясь на ручки дубового кресла, так же, как обыкновенно, перегибаясь к товарищу, подвигая дело, перешептываясь, и потом, вдруг вскидывая глаза и прямо усаживаясь, произносил известные слова и начинал дело. Но вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого внимания на период развития дела, начинала *свое* сосущее дело. Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и *она* приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя: «неужели только *она* правда?» И товарищи и подчиненные с удивлением и огорчением видели, что он, такой блестящий, тонкий судья, путался, делал ошибки. Он встряхивался, старался опомниться и кое-как доводил до конца заседание и возвращался домой с грустным сознанием, что не может по-старому судейское его дело скрыть от него то, что он хотел скрыть; что судейским делом он не может избавиться от *нее*. И что было хуже всего – это то, что *она* отвлекала его к себе не за тем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучился.

И, спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не. столько разрушались, сколько просвечивали, как будто *она* проникала через всё, и ничто не могло заслонить ее.

Бывало, в это последнее время он войдет в гостиную, убранную им, – в ту гостиную, где он упал, для которой он – как ему ядовито смешно было думать, – для устройства которой он пожертвовал жизнью, потому что он знал, что болезнь его началась с этого ушиба, – он входил и видел, что на лакированном столе был рубец, прорезанный чем-то. Он искал причину и находил ее в бронзовом украшении альбома, отогнутом на краю. Он брал альбом, дорогой, им составленный с любовью, и досадовал на неряшливость дочери и ее друзей, – то разорвано, то карточки перевернуты. Он приводил это старательно в порядок, загибал опять украшение.

Потом ему приходила мысль весь этот *établissement* с альбомами переместить в другой угол, к цветам. Он звал лакея: или дочь или жена приходили на помощь; они не соглашались, противоречили, он спорил, сердился; но всё было хорошо, потому что он не помнил о *ней*, *ее* не видно было.

Но вот жена сказала, когда он сам передвигал: «позволь, люди сделают, ты опять себе сделаешь вред», и вдруг *она* мелькнула через ширмы, он увидел *ее*. *Она* мелькнула, он еще надеется, что она скроется, но невольно он прислушался к боку, – там сидит всё то же, всё так же ноет, и он уже не может забыть, и *она* явственно глядит на него из-за цветов. К чему всё?

«И правда, что здесь, на этой гардине, я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели? Как ужасно и как глупо! Это не может быть! Не может быть, но есть».

Он шел в кабинет, ложился и оставался опять один с *нею*. С глазу на глаз с *нею*, а делать с *нею* нечего. Только смотреть на *нее* и холодеть.

VII.

Как это сделалось на 3-м месяце болезни Ивана Ильича, нельзя было сказать, потому что это делалось шаг за шагом, незаметно, но сделалось то, что и жена, и дочь, и сын его, и прислуга, и знакомые, и доктора, и, главное, он сам – знали, что весь интерес в нем для других состоит только в том, скоро ли, наконец, он опростает место, освободит живых от стеснения, производимого его присутствием, и сам освободится от своих страданий.

Он спал меньше и меньше; ему давали опиум и начали прыскать морфином. Но это не облегчало его. Тупая тоска, которую он испытывал в полуусыпленном состоянии, сначала только облегчала его как что-то новое, но потом она стала так же или еще более мучительна, чем откровенная боль.

Ему готовили особенные кушанья по предписанию врачей; но кушанья эти всё были для него безвкуснее и безвкуснее, отвратительнее и отвратительнее.

Для испражнений его тоже были сделаны особые приспособления, и всякий раз это было мученье. Мученье от нечистоты, неприличия и запаха, от сознания того, что в этом должен участвовать другой человек.

Но в этом самом неприятном деле и явилось утешение Ивану Ильичу. Приходил всегда выносить за ним буфетный мужик Герасим.

Герасим был чистый свежий, раздобревший на городских харчах молодой мужик. Всегда веселый, ясный. Сначала вид этого, всегда чисто, по-русски одетого человека, делавшего это противное дело, смущал Ивана Ильича.

Один раз он, встав с судна и не в силах поднять панталоны, повалился на мягкое кресло и с ужасом смотрел на свои обнаженные, с резко обозначенными мускулами, бессильные ляжки.

Вошел в толстых сапогах, распространяя вокруг себя приятный запах дегтя от сапог и свежести зимнего воздуха, легкой сильной поступью Герасим, в посконном чистом фартуке

и чистой ситцевой рубаше, с засученными на голых, сильных, молодых руках рукавами, и, не глядя на Ивана Ильича, – очевидно сдерживая, чтоб не оскорбить больного, радость жизни, сияющую на его лице, – подошел к судну.

– Герасим, – слабо сказал Иван Ильич.

Герасим вздрогнул, очевидно, испугавшись, не промахнулся ли он в чем, и быстрым движением повернул к больному свое свежее, доброе, простое, молодое лицо, только что начинавшее обрастать бородой.

– Что изволите?

– Тебе, я думаю, неприятно это. Ты извини меня. Я не могу.

– Помилуйте-с. – И Герасим блеснул глазами и оскалил свои молодые белые зубы. – Отчего ж не потрудиться? Ваше дело больное.

И он ловкими сильными руками сделал свое привычное дело и вышел, легко ступая. И через пять минут, так же легко ступая, вернулся.

Иван Ильич всё так же сидел на кресле.

– Герасим, – сказал он, когда тот поставил чистое обмытое судно, – пожалуйста, помоги мне, поди сюда. – Герасим подошел. – Подними меня. Мне тяжело одному, а Дмитрия я услал.

Герасим подошел; сильными руками, так же, как он легко ступал, обнял, ловко, мягко поднял и подержал, другой рукой подтянул панталоны и хотел посадить. Но Иван Ильич попросил его свести его на диван. Герасим, без усилия и как будто не нажимая, свел его, почти неся, к дивану и посадил.

– Спасибо. Как ты ловко, хорошо... всё делаешь.

Герасим опять улыбнулся и хотел уйти. Но Ивану Ильичу так хорошо было с ним, что не хотелось отпускать.

– Вот что: подвинь мне, пожалуйста, стул этот. Нет, вот этот, под ноги. Мне легче, когда у меня ноги выше.

Герасим принес стул, поставил не стукнув, враз опустил его ровно до полу и поднял ноги Ивана Ильича на стул; Ивану Ильичу показалось, что ему легче стало в то время, как Герасим высоко поднимал его ноги.

– Мне лучше, когда ноги у меня выше, – сказал Иван Ильич. – Подложи мне вон ту подушку.

Герасим сделал это. Опять поднял ноги и положил. Опять Ивану Ильичу стало лучше, пока Герасим держал его ноги. Когда он опустил их, ему показалось хуже.

– Герасим, – сказал он ему, – ты теперь занят?

– Никак нет-с, – сказал Герасим, выучившийся у городских людей говорить с господами.

– Тебе что делать надо еще?

– Да мне что ж делать? Всё переделал, только дров наколоть на завтра.

– Так поддержи мне так ноги повыше, можешь?

– Отчего же, можно. – Герасим поднял ноги выше, и Ивану Ильичу показалось, что в этом положении он совсем не чувствует боли.

– А дрова-то как же?

– Не извольте беспокоиться. Мы успеем.

Иван Ильич велел Герасиму сесть и держать ноги и поговорил с ним. И – странное дело – ему казалось, что ему лучше, пока Герасим держал его ноги.

С тех пор Иван Ильич стал иногда звать Герасима и заставлял его держать себе на плечах ноги и любил говорить с ним. Герасим делал это легко, охотно, просто и с добротой, которая умиляла Ивана Ильича. Здоровье, сила, бодрость жизни во всех других людях оскорбляла Ивана Ильича; только сила и бодрость жизни Герасима не огорчала, а успокаивала Ивана Ильича.

Главное мучение Ивана Ильича была ложь, – та, всеми почему-то признанная ложь, что он только болен, а не умирает, и что ему надо только быть спокойным и лечиться, и тогда что-то выйдет очень хорошее. Он же знал, что, что бы ни делали, ничего не выйдет, кроме еще более мучительных страданий и смерти. И его мучила эта ложь, мучило то, что не хотели признаться в том, что все знали и он знал, а хотели лгать над ним по случаю ужасного его положения и хотели и заставляли его самого принимать участие в этой лжи. Ложь, ложь эта, совершаемая над ним накануне его смерти, ложь, долженствующая низвести этот страшный торжественный акт его смерти до уровня всех их визитов, гардин, осетрины к обеду... была ужасно мучительна для Ивана Ильича. И – странно – он много раз, когда они над ним проделывали свои штуки, был на волоске от того, чтобы закричать им: перестаньте врать, и вы знаете и я знаю, что я умираю, так перестаньте, по крайней мере, врать. Но никогда он не имел духа сделать этого. Страшный, ужасный акт его умирания, он видел, всеми окружающими его был низведен на степень случайной неприятности, отчасти неприличия (в роде того, как обходятся с человеком, который, войдя в гостиную, распространяет от себя дурной запах), тем самым «приличием», которому он служил всю свою жизнь; он видел, что никто не пожалеет его, потому что никто не хочет даже понимать его положения. Один только Герасим понимал это положение и жалел его. И потому Ивану Ильичу хорошо было только с Герасимом. Ему хорошо было, когда Герасим, иногда целые ночи напролет, держал его ноги и не хотел уходить спать, говоря: вы не извольте беспокоиться, Иван Ильич, выплусь еще; или когда он вдруг, переходя на ты, прибавлял: кабы ты не больной, а то отчего же не послужить? Один Герасим не лгал, по всему видно было, что он один понимал, в чем дело, и не считал нужным скрывать этого, и просто жалел исчахшего слабого барина. Он даже раз прямо сказал, когда Иван Ильич отсылал его:

– Все умирать будем. Отчего же не потрудиться? – сказал он, выражая этим то, что он не тяготится своим трудом именно потому, что несет его для умирающего человека и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд.

Кроме этой лжи, или вследствие ее мучительнее всего было для Ивана Ильича то, что никто не жалел его так, как ему хотелось, чтобы его жалели: Ивану Ильичу в иные минуты, после долгих страданий, больше всего хотелось, как ему ни совестно бы было признаться в этом, – хотелось того, чтоб его, как дитя больное, пожалел бы кто-нибудь. Ему хотелось, чтоб его приласкали, поцеловали, поплакали бы над ним, как ласкают и утешают детей. Он знал, что он важный член, что у него седеющая борода, и что потому это невозможно; но ему всё-таки хотелось этого. И в отношениях с Герасимом было что-то близкое к этому, и потому отношения с Герасимом утешали его. Ивану Ильичу хочется плакать, хочется, чтоб его ласкали и плакали над ним, и вот приходит товарищ, член Шебек, и вместо того, чтобы плакать и ласкаться, Иван Ильич делает серьезное, строгое, глубокомысленное лицо и по инерции говорит свое мнение о значении кассационного решения и упорно настаивает на нем. Эта ложь вокруг него и в нем самом более всего отравляла последние дни жизни Ивана Ильича.

VIII.

Было утро. Потому только было утро, что Герасим ушел и пришел Петр-лакей, потушил свечи, открыл одну гардину и стал потихоньку убирать. Утро ли, вечер ли был, пятница, воскресенье ли было – всё было всё равно, всё было одно и то же: ноющая, ни на мгновение не утихающая, мучительная боль; сознание безнадежно всё уходящей, но всё не ушедшей еще жизни; надвигающаяся всё та же страшная ненавистная смерть, которая одна была действительность, и всё та же ложь. Какие же тут дни, недели и часы дня?

– Не прикажете ли чаю?

«Ему нужен порядок, чтоб по утрам господа пили чай», подумал он и сказал только:

– Нет.

– Не угодно ли перейти на диван?

«Ему нужно привести в порядок горницу, и я мешаю, я – нечистота, беспорядок», подумал он и сказал только:

– Нет, оставь меня.

Лакей повозился еще. Иван Ильич протянул руку. Петр подошел услужливо.

– Что прикажете?

– Часы.

Петр достал часы, лежавшие под рукой, и подал.

– Половина девятого. Там не встали?

– Никак нет-с. Василий Иванович (это был сын) ушли в гимназию, а Прасковья Федорвна приказали разбудить их, если вы спросите. Прикажете?

– Нет, не надо. – «Не попробовать ли чаю?» – подумал он. – Да, чаю... принеси.

Петр пошел к выходу. Ивану Ильичу страшно стало оставаться одному. «Чем бы задержать его? Да, лекарство». – Петр, подай мне лекарство. – «Отчего же, может быть, еще поможет и лекарство». Он взял ложку, выпил. «Нет, не поможет. Всё это вздор, обман», решил он, как только почувствовал знакомый приторный и безнадежный вкус. «Нет, уж не могу верить. Но боль-то, боль-то зачем, хоть на минуту затихла бы». И он застонал. Петр вернулся. – Нет, иди. Принеси чаю.

Петр ушел. Иван Ильич, оставшись один, застонал не столько от боли, как она ни была ужасна, сколько от тоски. «Всё то же и то же, все эти бесконечные дни и ночи. Хоть бы скорее. Что скорее? Смерть, мрак. Нет, нет. Всё лучше смерти!»

Когда Петр вошел с чаем на подносе, Иван Ильич долго растерянно смотрел на него, не понимая, кто он и что он. Петр смутился от этого взгляда. И когда Петр смутился, Иван Ильич очнулся.

– Да, —сказал он, —чай... хорошо, поставь. Только помоги мне умыться и рубашку чистую.

И Иван Ильич стал умываться. Он с отдыхом умыл руки, лицо, вычистил зубы, стал причесываться и посмотрел в зеркало. Ему страшно стало, особенно страшно было то, как волосы плоско прижимались к бледному лбу.

Когда переменяли ему рубашку, он знал, что ему будет еще страшнее, если он взглянет на свое тело, и не смотрел на себя. Но вот кончилось всё. Он надел халат, укрылся пледом и сел в кресло к чаю. Одну минуту он почувствовал себя освеженным, но только что он стал пить чай, опять тот же вкус, та же боль. Он насильно допил и лег, вытянув ноги. Он лег и отпустил Петра.

Всё то же. То капля надежды блеснет, то взбушует море отчаяния, и всё боль, всё боль, всё тоска и всё одно и то же. Одному ужасно тоскливо, хочется позвать кого-нибудь, но он вперед знает, что при других еще хуже. «Хоть бы опять морфин – забыться бы. Я скажу ему, доктору, чтоб он придумал что-нибудь еще. Это невозможно, невозможно так».

Час, два проходит так. Но вот звонок в передней. Авось, доктор. Точно, это доктор, свежий, бодрый, жирный, веселый, с тем выражением – что вот вы там чего-то напугались, а мы сейчас вам всё устроим. Доктор знает, что это выражение здесь не годится, но он уже раз навсегда надел его и не может снять, как человек, с утра надевший фрак и едущий с визитами.

Доктор бодро, утешающе потирает руки.

– Я холоден. Мороз здоровый. Дайте обогреюсь, – говорит он с таким выражением, что как будто только надо немножко подождать, пока он обогреется, а когда обогреется, то уж всё исправит.

– Ну, что, как?

Иван Ильич чувствует, что доктору хочется сказать: «как делишки?», но что и он чувствует, что так нельзя говорить, и говорит: – как вы провели ночь?

Иван Ильич смотрит на доктора с выражением вопроса: «Неужели никогда не станет тебе стыдно врать?» Но доктор не хочет понимать вопрос.

И Иван Ильич говорит:

– Всё так же ужасно. Боль не проходит, не сдается. Хоть бы что-нибудь!

– Да, вот вы, больные, всегда так. Ну-с, теперь, кажется, я согрелся, даже аккуратнейшая Прасковья Федоровна ничего бы не имела возразить против моей температуры. Ну-с, здравствуйте. – И доктор пожимает руку.

И, откинув всю прежнюю игривость, доктор начинает с серьезным видом исследовать больного, пульс, температуру, и начинаются постукивания, прослушивания.

Иван Ильич знает твердо и несомненно, что всё это вздор и пустой обман, но, когда доктор, став на коленки, вытягивается над ним, прислоняя ухо то выше, то ниже, и делает над ним с значительнейшим лицом разные гимнастические эволюции, Иван Ильич поддается этому, как он поддавался, бывало, речам адвокатов, тогда как он уж очень хорошо знал, что они всё врут и зачем врут.

Доктор, стоя на коленках на диване, еще что-то выстукивал, когда зашумело в дверях шелковое платье Прасковьи Федоровны, и послышался ее упрек Петру, что ей не доложили о приезде доктора.

Она входит, целует мужа и тотчас же начинает доказывать, что она давно уж встала и только по недоразумению ее не было тут, когда приехал доктор.

Иван Ильич смотрит на нее, разглядывает ее всю и в упрек ставит ей и белизну, и пухлость, и чистоту ее рук, шеи, глянец ее волос и блеск ее полных жизни глаз. Он всеми силами души ненавидит ее. И прикосновение ее заставляет его страдать от прилива ненависти к ней.

Ее отношение к нему и его болезни всё то же. Как доктор выработал себе отношение к больным, которое он не мог уже снять, так она выработала одно отношение к нему – то, что он не делает чего-то того, что нужно, и сам виноват, и она любовно укоряет его в этом, – и не могла уже снять этого отношения к нему.

– Да ведь вот он не слушается! Не принимает во-время. А главное – ложится в такое положение, которое, наверное, вредно ему – ноги кверху.

Она рассказала, как он заставляет Герасима держать себе ноги.

Доктор улыбнулся презрительно-ласково: «Что ж, мол, делать, эти больные выдумывают иногда такие глупости; но можно простить». Когда осмотр кончился, доктор посмотрел на часы, и тогда Прасковья Федоровна объявила Ивану Ильичу, что уж как он хочет, а она нынче пригласила знаменитого доктора, и они вместе с Михаилом Даниловичем (так звали обыкновенного доктора) осмотрят и обсудят.

– Ты уж не противься, пожалуйста. Это я для себя делаю, – сказала она иронически, давая чувствовать, что она всё делает для него и только этим не дает ему права отказать ей. Он молчал и морщился. Он чувствовал, что ложь эта, окружающая его, так путалась, что уж трудно было разобрать что-нибудь.

Она всё над ним делала только для себя и говорила ему, что она делает для себя то, что она точно делала для себя как такую невероятную вещь, что он должен был понимать это обратно.

Действительно, в половине двенадцатого приехал знаменитый доктор. Опять пошли выслушивания и значительные разговоры при нем и в другой комнате о почке, о слепой кишке и вопросы и ответы с таким значительным видом, что опять вместо реального вопроса о жизни и смерти, который уже теперь один стоял перед ним, выступил вопрос о почке и слепой кишке, которые что-то делали не так, как следовало, и на которые за это вот-вот нападут Михаил Данилович и знаменитость и заставят их исправиться.

Знаменитый доктор простился с серьезным, но не с безнадежным видом. И на робкий вопрос, который с поднятыми к нему блестящими страхом и надеждой глазами обратил Иван

Ильич, есть ли. возможность выздоровления, отвечал, что ручаться нельзя, но возможность есть. Взгляд надежды, с которым Иван Ильич проводил доктора, был так жалок, что, увидав его, Прасковья Федоровна даже заплакала, выходя из дверей кабинета, чтобы передать гонорар знаменитому доктору.

Подъем духа, произведенный обнадеживанием доктора, продолжался недолго. Опять та же комната, те же картины, гардины, обои, стклянки и то же свое болящее страдающее тело. И Иван Ильич начал стонать; ему сделали впрыскивание, и он забылся.

Когда он очнулся, стало смеркаться; ему принесли обедать. Он поел с усилием бульона; и опять то же, и опять наступающая ночь.

После обеда, в семь часов, в комнату его вошла Прасковья Федоровна, одетая как на вечер, с толстыми, подтянутыми грудями и с следами пудры на лице. Она еще утром напоминала ему о поездке их в театр. Была приезжая Сарра Бернар, и у них была ложа, которую он настоял, чтоб они взяли. Теперь он забыл про это, и ее наряд оскорбил его. Но он скрыл свое оскорбление, когда вспомнил, что он сам настаивал, чтоб они достали ложу и ехали, потому что это для детей воспитательное эстетическое наслаждение.

Прасковья Федоровна вошла довольная собою, но как будто виноватая. Она присела, спросила о здоровье, как он видел, для того только, чтоб спросить, но не для того, чтобы узнать, зная, что и узнавать нечего, и начала говорить то, что ей нужно было: что она ни за что не поехала бы, но ложа взята, и едут Элен и дочь, и Петрищев (судебный следователь, жених дочери), и что невозможно их пустить одних. А что ей так бы приятнее было посидеть с ним. Только бы он делал без нее по предписанию доктора.

– Да, и Федор Петрович (жених) хотел войти. Можно? И Лиза.

– Пускай войдут.

Вошла дочь, разодетая, с обнаженным молодым телом, тем телом, которое так заставляло страдать его. А она его выставляла. Сильная, здоровая, очевидно влюбленная и негодующая на болезнь, страдания и смерть, мешающие ее счастью.

Вошел и Федор Петрович во фраке, завитой à la Carouf с длинной жилистой шеей, обложенной плотно белым воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких черных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с клаком.

За ним вполз незаметно и гимназистик в новеньком мундирчике, бедняжка, в перчатках и с ужасной синевой под глазами, значение которой знал Иван Ильич.

Сын всегда жалок был ему. И страшен был его испуганный и соболезнующий взгляд. Кроме Герасима, Ивану Ильичу казалось, что один Вася понимал и жалел.

Все сели, опять спросили о здоровье. Произошло молчание. Лиза спросила у матери о бинокле. Произошли пререкания между матерью и дочерью, кто куда его дел. Вышло неприятно.

Федор Петрович спросил у Ивана Ильича, видел ли он Сарру Бернар. Иван Ильич не понял сначала того, что у него спрашивали, а потом сказал: Нет; а вы уж видели?

– Да, в Adrienne Lecouvreur.

Прасковья Федоровна сказала, что она особенно хороша в том-то. Дочь возразила. Начался разговор об изяществе и реальности ее игры, – тот самый разговор, который всегда бывает один и тот же.

В середине разговора Федор Петрович взглянул на Ивана Ильича и замолк. Другие взглянули и замолкли. Иван Ильич смотрел блестящими глазами пред собою, очевидно негодуя на них. Надо было поправить это, но поправить никак нельзя было. Надо было как-нибудь прервать это молчание. Никто не решался, и всем становилось страшно, что вдруг нарушится как-нибудь приличная ложь, и ясно будет всем то, что есть. Лиза первая решилась. Она прервала молчанье. Она хотела скрыть то, что все испытывали, но проговорилась.

– Однако, *если ехать*, то пора, – сказала она, взглянув на свои часы, подарок отца, и чуть заметно, значительно о чем-то, им одним известном, улыбнулась молодому человеку и встала, зашумев платьем.

Все встали, простились и уехали.

Когда они вышли, Ивану Ильичу показалось, что ему легче: лжи не было, – она ушла с ними, но боль осталась. Всё та же боль, всё тот же страх делали то, что ничто не тяжеле, ничто не легче. Всё хуже.

Опять пошла минута за минутой, час за часом, всё то же, и всё нет конца, и всё страшнее неизбежный конец.

– Да, пошлите Герасима, – ответил он на вопрос Петра.

IX.

Поздно ночью вернулась жена. Она вошла на цыпочках, но он услышал ее: открыл глаза и поспешно закрыл опять. Она хотела уснуть Герасима и сама сидеть с ним. Он открыл глаза и сказал: – Нет. Иди.

– Ты очень страдаешь?

– Всё равно.

– Прими опиума.

Он согласился и выпил. Она ушла.

Часов до трех он был в мучительном забытьи. Ему казалось, что его с болью суют куда-то в узкий черный мешок и глубокий, и всё дальше просовывают и не могут просунуть. И это ужасное для него дело совершается с страданием. И он и боится, и хочет провалиться туда, и борется, и помогает. И вот вдруг он оборвался и упал, и очнулся. Всё тот же Герасим сидит в ногах на постели, дремлет спокойно, терпеливо. А он лежит, подняв ему на плечи исхудалые ноги в чулках; свеча та же с абажуром и та же непрекращающаяся боль.

– Уйди, Герасим, – прошептал он.

– Ничего, посижу-с.

– Нет, уйди.

Он снял ноги, лег боком на руку, и ему стало жалко себя. Он подождал только того, чтоб Герасим вышел в соседнюю комнату, и не стал больше удерживаться и заплакал, как дитя. Он плакал о беспомощности своей, о своем ужасном одиночестве, о жестокости людей, о жестокости Бога, об отсутствии Бога.

«Зачем Ты всё это сделал? Зачем привел меня сюда? За что, за что так ужасно мучаешь меня?..»

Он и не ждал ответа и плакал о том, что нет и не может быть ответа. Боль поднялась опять, но он не шевелился, не звал. Он говорил себе: «Ну еще, ну бей! Но за что? Что я сделал Тебе, за что?»

Потом он затих, перестал не только плакать, перестал дышать и весь стал внимание: как будто он прислушивался не к голосу, говорящему звуками, но к голосу души, к ходу мыслей, поднимавшемуся в нем.

– Чего тебе нужно? – было первое ясное, могущее быть выражено словами понятие, которое он услышал. – Что тебе нужно? Чего тебе нужно? – повторил он себе. – Чего? – Не страдать. Жить, – ответил он.

И опять он весь предался вниманию, такому напряженному, что даже боль не развлекала его.

– Жить? Как жить? – спросил голос души.

– Да, жить, как я жил прежде: хорошо, приятно.

– Как ты жил прежде, хорошо и приятно? – спросил голос. И он стал перебирать в воображении лучшие минуты своей приятной жизни. Но – странное дело – все эти лучшие минуты приятной жизни казались теперь совсем не тем, чем казались они тогда. Все – кроме первых воспоминаний детства. Там, в детстве, было что-то такое действительно приятное, с чем можно бы было жить, если бы оно вернулось. Но того человека, который испытывал это приятное, уже не было: это было как бы воспоминание о каком-то другом.

Как только начиналось то, чего результатом был теперешний он, Иван Ильич, так все казавшиеся тогда радости теперь на глазах его таяли и превращались во что-то ничтожное и часто гадкое.

И чем дальше от детства, чем ближе к настоящему, тем ничтожнее и сомнительнее были радости. Начиналось это с Правоведения. Там было еще кое-что истинно хорошее: там было веселье, там была дружба, там были надежды. Но в высших классах уже были реже эти хорошие минуты. Потом, во время первой службы у губернатора, опять появились хорошие минуты: это были воспоминания о любви к женщине. Потом всё это смешалось, и еще меньше стало хорошего. Далее еще меньше хорошего и что дальше, то меньше.

Женитьба... так нечаянно и разочарование, и запах изо рта жены, и чувственность, притворство! И эта мертвая служба, и эти заботы о деньгах, и так год, и два, и десять, и двадцать – и всё то же. И что дальше, то мертвее. Точно равномерно я шел под гору, воображая, что иду на гору. Так и было. В общественном мнении я шел на гору, и ровно настолько из-под меня уходила жизнь... И вот готово, умирай!

Так что ж это? Зачем? Не может быть. Не может быть, чтоб так бессмысленна, гадка была жизнь? А если точно она так гадка и бессмысленна была, так зачем же умирать и умирать страдая? Что-нибудь не так.

«Может быть, я жил не так как должно?» приходило ему вдруг в голову. «Но как же не так, когда я делал всё, как следует?» говорил он себе и тотчас же отгонял от себя это единственное разрешение всей загадки жизни и смерти как что-то совершенно невозможное.

Чего ж ты хочешь теперь? Жить? Как жить? Жить, как ты живешь в суде, когда судебный пристав провозглашает: «суд идет!..» Суд идет, идет суд, повторил он себе. Вот он суд! «Да я же не виноват! – вскрикнул он с злобой. – За что?» И он перестал плакать и, повернувшись лицом к стене, стал думать всё об одном и том же: зачем, за что весь этот ужас?

Но сколько он ни думал, он не нашел ответа. И когда ему приходила, как она приходила ему часто, мысль о том, что всё это происходит от того, что он жил не так, он тотчас вспоминал всю правильность своей жизни и отгонял эту странную мысль.

Х.

Прошло еще две недели. Иван Ильич уже не вставал с дивана. Он не хотел лежать в постели и лежал на диване. И, лежа почти всё время лицом к стене, он одиноко страдал всё те же не разрешающиеся страдания и одиноко думал всё ту же неразрешающуюся думу. Что это? Неужели правда, что смерть? И внутренний голос отвечал: да, правда. Зачем эти муки? И голос отвечал: а так, ни зачем. Дальше и кроме этого ничего не было.

С самого начала болезни, с того времени, как Иван Ильич в первый раз поехал к доктору, его жизнь разделилась на два противоположные настроения, сменявшие одно другое: то было отчаяние и ожидание непонятной и ужасной смерти, то была надежда и исполненное интереса наблюдение за деятельностью своего тела. То перед глазами была одна почка или кишка, которая на время отклонилась от исполнения своих обязанностей, то была одна непонятная ужасная смерть, от которой ничем нельзя избавиться.

Эти два настроения с самого начала болезни сменяли друг друга; но чем дальше шла болезнь, тем сомнительнее и фантастичнее становились соображения о почке, и тем реальнее

сознание наступающей смерти, Стоило ему вспомнить о том, чем он был три месяца тому назад, и то, что он теперь; вспомнить, как равномерно он шел под гору, – чтобы разрушилась всякая возможность надежды.

В последнее время того одиночества, в котором он находился, лежа лицом к спинке дивана, того одиночества среди многолюдного города и своих многочисленных знакомых и семьи, – одиночества, полнее которого не могло быть нигде: ни на дне моря, ни в земле, – в последнее время этого страшного одиночества Иван Ильич жил только воображением в прошедшем. Одна за другой ему представлялись картины его прошедшего. Начиналось всегда с ближайшего по времени и сводилось к самому отдаленному, к детству, и на нем останавливалось. Вспоминал ли Иван Ильич о вареном черносливе, который ему предлагали есть нынче, он вспоминал о сыром сморщенном французском черносливе в детстве, об особенном вкусе его и обилии слюны, когда дело доходило до косточки, и рядом с этим воспоминанием вкуса возникал целый ряд воспоминаний того времени: няня, брат, игрушки. «Не надо об этом... слишком больно», говорил себе Иван Ильич и опять переносился в настоящее. Пуговица на спинке дивана и морщины сафьяна. «Сафьян дорог, непрочен; ссора была из-за него. Но сафьян другой был, и другая ссора, когда мы разорвали портфель у отца и нас наказали, а мама принесла пирожки». И опять останавливалось на детстве, и опять Ивану Ильичу было больно, и он старался отогнать и думать о другом.

И опять тут же, вместе с этим ходом воспоминания, у него в душе шел другой ход воспоминаний – о том, как усиливалась и росла его болезнь. То же, что дальше назад, то больше было жизни. Больше было и добра в жизни, и больше было и самой жизни. И то и другое сливалось вместе. «Как мучения всё идут хуже и хуже, так и вся жизнь шла всё хуже и хуже», думал он. Одна точка светлая там, назад, в начале жизни, а потом всё чернее и чернее и всё быстрее и быстрее. «Обратно пропорционально квадратам расстояний от смерти», подумал Иван Ильич. И этот образ камня, летящего вниз с увеличивающейся быстротой, запал ему в душу. Жизнь, ряд увеличивающихся страданий, летит быстрее и быстрее к концу, страшнейшему страданию. «Я лечу...» Он вздрагивал, шевелился, хотел противиться; но уже он знал, что противиться нельзя, и опять усталыми от смотрения, но не могущими не смотреть на то, что было перед ним, глазами глядел на спинку дивана и ждал, – ждал этого страшного падения, толчка и разрушения. «Противиться нельзя», – говорил он себе. – «Но хоть бы понять, зачем это? И того нельзя. Объяснить бы можно было, если бы сказать, что я жил не так, как надо. Но этого-то уже невозможно признать», говорил он сам себе, вспоминая всю законность, правильность и приличие своей жизни. «Этого-то допустить уж невозможно», говорил он себе, усмехаясь губами, как будто кто-нибудь мог видеть эту его улыбку и быть обманутым ею. «Нет объяснения! Мучение, смерть... Зачем?»

XI.

Так прошло две недели. В эти недели случилось желанное для Ивана Ильича и его жены событие: Петрищев сделал формальное предложение. Это случилось вечером. На другой день Прасковья Федоровна вошла к мужу, обдумывая, как объявить ему о предложении Федора Петровича, но в эту самую ночь с Иваном Ильичем свершилась новая перемена к худшему. Прасковья Федоровна застала его на том же диване, но в новом положении. Он лежал навзничь, стонал и смотрел перед собою остановившимся взглядом.

Она стала говорить о лекарствах. Он перевел свой взгляд на нее. Она не договорила того, что начала: такая злоба, именно к ней, выражалась в этом взгляде.

– Ради Христа, дай мне умереть спокойно, – сказал он.

Она хотела уходить, но в это время вошла дочь и подошла поздороваться. Он так же посмотрел на дочь, как и на жену, и на ее вопросы о здоровье сухо сказал ей, что он скоро освободит их всех от себя. Обе замолчали, посидели и вышли.

– В чем же мы виноваты? – сказала Лиза матери. – Точно мы это сделали! Мне жалко папа, но за что же нас мучить?

В обычное время приехал доктор. Иван Ильич отвечал ему: «да, нет», не спуская с него озлобленного взгляда, и под конец сказал:

– Ведь вы знаете, что ничего не поможете, так оставьте.

– Облегчить страдания можем, – сказал доктор.

– И того не можете; оставьте.

Доктор вышел в гостиную и сообщил Прасковье Федоровне, что очень плохо, и что одно средство – опиум, чтобы облегчить страдания, которые должны быть ужасны.

Доктор говорил, что страдания его физические ужасны, и это была правда; но ужаснее его физических страданий были его нравственные страдания, и в этом было главное его мучение.

Нравственные страдания его состояли в том, что в эту ночь, глядя на сонное, добродушное, скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: а что как и в самом деле вся моя жизнь сознательная жизнь, была «не то».

Ему пришло в голову, что то, что ему представлялось прежде совершенной невозможностью, то, что он прожил свою жизнь не так, как должно было, что это могло быть правда. Ему пришло в голову, что те его чуть заметные поползновения борьбы против того, что наивысше поставленными людьми считалось хорошим, поползновения чуть заметные, которые он тотчас же отгонял от себя, – что они-то и могли быть настоящие, а остальное всё могло быть не то. И его служба, и его устройства жизни, и его семья, и эти интересы общества и службы, – всё это могло быть не то. Он попытался защитить пред собой всё это. И вдруг почувствовал всю слабость того, что он защищает. И защищать нечего было.

«А если это так, – сказал он себе, – и я ухожу из жизни с сознанием того, что погубил всё, что мне дано было, и поправить нельзя, тогда что ж?» Он лег навзничь и стал совсем по-новому перебирать всю свою жизнь. Когда он увидел утром лакея, потом жену, потом дочь, потом доктора, – каждое их движение, каждое их слово подтверждало для него ужасную истину, открывшуюся ему ночью. Он в них видел себя, всё то, чем он жил, и ясно видел, что всё это было не то, всё это был ужасный огромный обман, закрывающий и жизнь и смерть. Это сознание увеличило, удесятерило его физические страдания. Он стонал и метался и обдергивал на себе одежду. Ему казалось, что она душила и давила его. И за это он ненавидел их.

Ему дали большую дозу опиума, он забылся; но в обед началось опять то же. Он гнал всех от себя и метался с места на место.

Жена пришла к нему и сказала:

– Жан, голубчик, сделай это для меня (для меня?). Это не может повредить, но часто помогает. Что же, это ничего. И здоровые часто...

Он открыл широко глаза.

– Что? Причаститься? Зачем? Не надо! А впрочем...

Она заплакала.

– Да, мой друг? Я позову нашего, он такой милый.

– Прекрасно, очень хорошо, – проговорил он.

Когда пришел священник и исповедывал его, он смягчился, почувствовал как будто облегчение от своих сомнений и вследствие этого от страданий, и на него нашла минута надежды. Он опять стал думать о слепой кишке и возможности исправления ее. Он причастился со слезами на глазах.

Когда его уложили после причастия, ему стало на минуту легко, и опять явилась надежда на жизнь. Он стал думать об операции, которую предлагали ему. Жить, жить хочу, говорил он себе. Жена пришла поздравить; она сказала обычные слова и прибавила:

– Не правда ли, тебе лучше?

Он, не глядя на нее, проговорил: да.

Ее одежда, ее сложение, выражение ее лица, звук ее голоса – всё сказало ему одно: «не то. Всё то, чем ты жил и живешь, – есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть». И как только он подумал это, поднялась его ненависть и вместе с ненавистью физические мучительные страдания и с страданиями сознание неизбежной, близкой гибели. Что-то сделалось новое: стало винтить и стрелять и сдавливать дыхание.

Выражение лица его, когда он проговорил «да», было ужасно. Проговорив это «да», глядя ей прямо в лицо, он необычайно для своей слабости быстро повернулся ничком и закричал:

– Уйдите, уйдите, оставьте меня!

ХII.

С этой минуты начался тот, три дня не перестававший крик, который так был ужасен, что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его. В ту минуту, как он ответил жене, он понял, что он пропал, что возврата нет, что пришел конец, совсем конец, а сомнение так и не разрешено, так и остается сомнением.

– У! Уу! У! – кричал он на разные интонации. Он начал кричать: «не хочу!» и так продолжал кричать на букву «у». Все три дня, в продолжение которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись; и с каждой минутой он чувствовал, что, несмотря на всё усилия борьбы, он ближе и ближе становился к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть в нее. Пролезть же ему мешает признание того, что жизнь его была хорошая. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед и больше всего мучило его.

Вдруг какая-то сила толкнула его в грудь, в бок, еще сильнее сдавило ему дыхание, он провалился в дыру, и там, в конце дыры, засветилось что-то. С ним сделалось то, что бывало с ним в вагоне железной дороги, когда думаешь, что едешь вперед, а едешь назад, и вдруг узнаешь настоящее направление.

«Да, всё было не то, – сказал он себе, – но это ничего. Можно, можно сделать «то». Что ж «то»? спросил он себя и вдруг затих.

Это было в конце третьего дня, за час до его смерти. В это самое время гимназистик тихонько прокрался к отцу и подошел к его постели. Умиравший всё кричал отчаянно и кидал руками. Рука его попала на голову гимназистика. Гимназистик схватил ее, прижал к губам и заплакал.

В это самое время Иван Ильич провалился, увидел свет, и ему открылось, что жизнь его была не то, что надо, но что это можно еще поправить. Он спросил себя: что же «то», и затих, прислушиваясь. Тут он почувствовал, что руку его целует кто-то. Он открыл глаза и взглянул на сына. Ему стало жалко его. Жена подошла к нему. Он взглянул на нее. Она с открытым ртом и с неотертыми слезами на носу и щеке, с отчаянным выражением смотрела на него. Ему жалко стало ее.

«Да, я мучаю их, – подумал он. – Им жалко, но им лучше будет, когда я умру». Он хотел сказать это, но не в силах был выговорить. «Впрочем, зачем же говорить, надо сделать», подумал он. Он указал жене взглядом на сына и сказал:

– Уведи... жалко... и тебя... – Он хотел сказать еще «прости», но сказал «пропусти», и, не в силах уже поправиться, махнул рукою, зная, что поймет тот, кому надо.

И вдруг ему стало ясно, что то, что томило его и не выходило, что вдруг всё выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон. Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было. Избавить их и самому избавиться от этих страданий. «Как хорошо и как просто, – подумал он. – А боль? – спросил он себя. – Ее куда? Ну-ка, где ты, боль?»

Он стал прислушиваться.

«Да, вот она. Ну что ж, пускай боль».

«А смерть? Где она?»

Он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. Где она? Какая смерть? Страху никакого не было, потому что и смерти не было.

Вместо смерти был свет.

– Так вот что! – вдруг вслух проговорил он. – Какая радость!

Для него всё это произошло в одно мгновение, и значение этого мгновения уже не изменялось. Для присутствующих же агония его продолжалась еще два часа. В груди его клокотало что-то; изможденное тело его вздрагивало. Потом реже и реже стало клокотанье и хрипенье.

– Кончено! – сказал кто-то над ним.

Он услышал эти слова и повторил их в своей душе. «Кончена смерть, – сказал он себе. – Ее нет больше».

Он втянул в себя воздух, остановился на половине вдоха, потянулся и умер.

25 марта 1886 г.

–

[ОКОНЧАНИЕ «МАЛОРОССИЙСКОЙ ЛЕГЕНДЫ» «СОРОК ЛЕТ», ИЗДАННОЙ КОСТОМАРОВЫМ В 1881 г.]

В эту же первую ночь, с 12-го на 13-е августа, когда он (убийца), после разговора с сыном, лег один спать в своей комнате, началось его наказание.

«Нет Бога, нет души, нет наказания! Как хорошо, как покойно! И как много и долго я понапрасну мучал себя. Все боремся друг с другом, все губим друг друга, чтобы жить, как это сказал Александр. Борьба за существование: вот закон! И другого нет. И мне Бог дал быть победителем. Бог дал! Всё остается эта глупая привычка. Не Бог какой-то дал, а я сумел быть победителем; вот мне и хорошо. И всякий борись; а кто поборол, пользуйся своей победой. Я поборол и пользуюсь. Хорошо было мне жить, только воспоминание отравляло; теперь же будет еще лучше, совсем хорошо. Я понимаю, что им завидно (он вспомнил слова схимника). Им завидно: каждому хочется. А хочется, так борись. Сам борись, а не жди, чтобы тебе дали. Вот и Александр...»

Он вспомнил, как Александр говорил ему на-днях, что положенных ему двадцати тысяч в год мало. Он просил прибавить ему еще десять тысяч, и, когда он отказал, он был недоволен.

«Положим, он рассчитывает иметь всё, когда я умру...»

И вдруг Трофиму Семеновичу очень ясно пришло в голову, что сын должен желать его смерти.

«Борись, чтобы быть победителем. Я боролся – убил купца; мне нужна была его смерть, и я взял его жизнь. А ему, сыну моему Александру, чья смерть нужна?»

Он остановился и привстал в ужасе на постели.

«Чья смерть? – Моя! – Да, я стою ему на дороге. Сколько бы я ни давал ему, ему лучше, чтобы я умер, и он был бы хозяином».

И Трофим стал вспоминать взгляды и слова сына, и во всем он видел то, что сын желает его смерти. И не может не желать.

«А если желает и он – образованный человек без суеверий, так он должен меня убить. Положим, он не захочет погубить себя. Но есть яд!»

И вдруг ему вспомнился разговор сына о старинных ядах, таких, которые убивают так, что следов нельзя найти.

«А если у него будет этот яд, то как же он не даст его мне? Он должен дать!»

«Он говорил уже, что я запускаю дела, он говорил, что можно сделать больше. Да, стакан чаю – и готово! Подкупить людей, повара, они все продажны».

Он стал вспоминать своего камердинера-щеголя.

«Этому дай тысячу рублей – и готово, да и повару тоже».

Трофим взволновался, думая это, и, чтобы успокоиться, хотел выпить стакан сахарной воды, стоявший на столике у его кровати. Он взял в руку стакан: на дне было что-то белое. «Кто знает, что это? – Нет, не обманешь!» сказал он и вылил воду; затем пошел к рамоу и выпил воды оттуда. «Да, борьба всех против всех. А бороться, так не зевать: буду осторожнее. Буду пить и есть то, что будет есть жена... Да и она тоже. Она знает, что ей пойдет седьмая часть. А ее бедные родные давно требуют от нее. Да, война, так война! Надо так поставить себя, чтобы им не было выгоды в моей смерти. Надо написать завещание такое, которое лишило бы их всего, чтобы смерть моя была невыгодна им. Да, завтра сделаю это и объявлю им».

Он хотел заснуть, но мысли не давали ему спать. Он стал сочинять завещание. Надел халат и туфли, подошел к столу и стал писать начерно завещание, в котором он отдавал всё состояние на богоугодные заведения. Окончив это, он хотел лечь; но тут пришла ему мысль о лакее, о дворнике. Он сам переносился в душу лакея и говорил себе: «что, если бы я был бедняк-лакей и получал бы 15 руб. жалованья в месяц, и за пять комнат от меня спал бы богат

с деньгами, и я бы твердо знал, как я знаю теперь, что нет Бога, нет и суда. Что я сделал бы? Я сделал бы, что я сделал с купцом». И на Трофима нашел страх; он опять встал и стал запираť свою дверь, но задвижка не держала, и он, задвинув дверь креслом, привязал его полотенцем к ручке и на кресло поставил кресло, чтобы оно загремело. Только тогда он затушил свечу и проспал так долго, что жена обеспокоилась и пошла отворить дверь. Кресла упали и загремели. Трофим вскочил испуганный, бледный.

«Кто? что? караул!» даже закричал он и долго не мог опомниться. Ему при пробуждении показалось, что его пришли убивать. Когда он опомнился, то сказал, что он из осторожности загородил, и постарался скрыть свой страх; но сколько он ни старался, с этого дня и домашние и прислуга стали замечать в нем большую перемену. Прежде он бывал весел, бывал и сердит, бывал ласков и добр, бывал и уныл, когда думал о своем грехе. Прежде он одних не любил, других любил, особенно детей – внуков. Теперь же он всегда был одинаков, всегда был молчалив, осторожен, на всех смотрел подозрительно и со всеми, даже с детьми, был одинаково холоден. Завещание сделалось для него главным занятием с этого времени. Долго не мог он сделать такого, какое ему хотелось сделать. Все приказные, которые приезжали к нему за этим делом, не могли угодить ему. Он писал, и переписывал, и переменил. В пище он также стал особенно требователен. Иногда самые вкусные и любимые его кушанья он оставлял, не отдавая их, часто отказывался от обеда и приходил в середине стола и брал у сына или дочери или жены начатую тарелку и тогда только ел. Вино он сам покупал особо и держал в своей комнате в шкапу. Делами он стал заниматься меньше; но когда и занимался, всегда скрывал от домашних свои барыши и сколько он получает. Деньги, которые доставляли ему прежде столько радости, теперь только мучали его. Он старался уберечь их от других и чувствовал, что уберечь их нельзя против таких людей без Бога, каким он сам был. Он чувствовал, что если все узнают то, что он знал и что знает его сын, что Бога и суда нет, то тогда никакие силы не сохранят его. Его убьют, отравят, отнимут состояние обманом или силой. Одно было спасение: не показывать людям того, что он знает, что нет Бога и суда, а, напротив, внушать им, что есть Бог, что есть суд. И потому еще последняя перемена, которая сделалась с Трофимом после 12-го августа, была та, что он стал особенно набожен, таким, каким еще не был во всю свою жизнь. Он не пропускал ни одной службы, постился все посты, среды и пятницы, не пропускал никогда случая внушать своим семейным, и своим знакомым, и своей прислуге, что есть Бог и его закон и что те, которые не будут соблюдать его, погибнут и будут жестоко наказаны в будущей жизни. Он внушал это даже своему сыну, делая вид, что забыл всё, что говорил с ним, или что раскаивался в этом.

С самого того срока, 12-го августа, когда он уверился в том, что ему бояться нечего и некого, что Бога нет и что теперь ничто ему не мешает жить вполне в свое удовольствие, не только отпали все его удовольствия, но из всех удовольствий сделались мучения. Страх убийства, отравления, обмана, самых страшных преступлений в своей семье и между своими домашними не оставлял его. Он подозревал всякого человека во всех самых ужасных замыслах, и боялся, и ненавидел всякого человека, и жену, и сына, и дочь, и всех людей. Даже маленькие внуки его, которых он прежде любил, теперь казались ему злыми зверками. Ему казалось, что они так же ненавидят его, как он ненавидел людей. Чтобы спастись от своего страха, он делал не переставая два дела: первое, принимал меры осторожности против всех людей; второе, внушал людям, что есть Бог, суд Божий. Он считал, что его спасение в том, чтобы уверить людей в том, во что он сам не верил. Состояние его, которое всё увеличивалось, уже не радовало, но пугало его. Семейные были его враги. Простых радостей – еды, питья, сна, и тех у него не было. Он во всем подозревал злые против себя замыслы.

Так прожил несчастный Трофим еще более десяти лет. Странности его были всем видны, но страданий его никто не видал. А страдания его были велики. Страдания его были, главное, в том, что жизнь его – он чувствовал – была испорчена страхом, который обуял его, а поправить

ее он никак не мог, никак не мог освободиться от страха, а между тем то, чего он боялся, надвигалось всё ближе и ближе.

Так промаялся Трофим 12 лет, и один раз, придя от обедни и позавтракав у себя в комнате и выпив вина, запертого у него в шкапу, он лег спать и больше не проснулся. Смерть Трофима была внезапная и легкая.

Богатый гроб Трофима повезли на кладбище Александро-Невской Лавры. За гробом шла толпа знакомых, ездивших на богатые обеды и ужины богача-золотопромышленника. Один проповедник, славившийся тогда в Петербурге даром красноречия, произнес надгробное слово и много говорил о добродетели, благочестии и счастливой жизни усопшего. Никто, кроме Бога, не знал о преступлении Трофима, ни о том, какое наказание постигло его с той минуты, как он потерял в себе Бога.

—

ТЕЧЕНИЕ ВОДЫ.

Однажды ученики Конфуцы застали его у реки. Учитель сидел на берегу и пристально смотрел на воду, как она бежала. Ученики удивились и спросили: «Учитель, какая польза смотреть на то, как текут воды? Это дело самое обыкновенное, оно всегда было и будет».

Конфуцы сказал: «Вы правду говорите: это дело самое обыкновенное, оно всегда было и будет, и всякий понимает его. Но не всякий понимает то, как подобно течение воды учению. Я глядел на воды и думал об этом. Воды текут без остановки, текут они днем, текут они ночью, текут до тех пор, пока не сольются все вместе в большом океане. Так и истинное учение отцов, дедов и прадедов наших от начала мира текло без остановки до нас. Будем же и мы делать так, чтобы истинное учение текло дальше, будем делать так, чтобы передать его тем, которые будут жить после нас, чтобы и те по нашему примеру передали бы его своим потомкам, и так до конца веков».

ВЛАСТЬ ТЬМЫ

ИЛИ „КОГОТОК УВЯЗ, ВСЕЙ ПТИЧКЕ ПРОПАСТЬ“

ДРАМА В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Если же правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в геенну.

Мф. V, 28, 29.

ЛИЦА ПЕРВОГО ДЕЙСТВИЯ.

Петр – мужик богатый, 42-х лет, женат 2-м браком, болезненный.

Анисья – его жена, 32-х лет, щеголиха.

Акулина – дочь Петра от первого брака, 16-ти лет, крепка на ухо, дурковатая.

Анютка – вторая дочь, 10-ти лет.

Никита – их работник, 25-ти лет, щеголь.

Аким – отец Никиты, 50-ти лет, мужик невзрачный, богобоязненный.

Матрена – его жена, 50-ти лет.

Марина – девка-сирота, 22-х лет.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ.

Действие происходит осенью в большом селе. Сцена представляет просторную избу Петра. Петр сидит на лавке, чинит хомут. Анисья и Акулина прядут.

ЯВЛЕНИЕ I.

Петр, Анисья и Акулина. (Последние поют в два голоса.)

Петр (выглядывает из окна).

Опять лошади ушли. Того и гляди, жеребенка убьют. Микита, а Микита! Оглох! (Прислушивается. На баб:) Будет вам, не слышать ничего.

Голос Никиты с надворья.

Чего?

Петр.

Лошадей загони.

Голос Никиты.

Загоню, дай срок.

Петр (качая головой).

Уж эти работники! Был бы здоров, ни в жисть бы не стал держать. Один грех сними...
(*Встает и опять садится.*) Микит!.. Не докличешься. Подите, что ль, кто из вас. Акуль, поди загони.

Акулина.

Лошадей-то?

Петр.

А то чего ж?

Акулина.

Сейчас. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ II.

Петр и Анисья.

Петр.

Да и лодырь малый, нехозяйственный. Коли повернется, коли что.

Анисья.

Сам-то ты больно шустер, с печи да на лавку. Только с людей взыскивать.

Петр.

С вас не взыскивать, так в год дома не найдешь. Эх, народ!

Анисья.

Десять делов в руки сунешь, да и ругаешься. На печи лежа приказывать лёгко.

Петр (вздыхая).

Эх, кабы не хворь эта привязалась, и дня бы но стал держать.

За сценой голос Акулины.

Псе, псе псе...

(Слышно, жеребенок ржет, и лошади вбегают в ворота. Ворота скрипят.)

Петр.

Бахарить – вот это его дело. Право, не стал бы держать.

Анисья (передразнивая).

Не стану держать. Ты бы сам поворочал, тогда бы говорил.

ЯВЛЕНИЕ III.

Те же и Акулина.

Акулина (входит).

Насилу загнала. Всё чалый...

Петр.

Микита-то где ж?

Акулина.

Микита-то? На улице стоит.

Петр.

Чего ж он стоит?

Акулина.

Чего стоит-то? Стоит за углом, калякает.

Петр.

Не добьешься от нее толков. Да с кем калякает-то?

Акулина *(не расслышав).*

Чего?

(Петр махает на Акулину рукой; она садится за пряжу.)

ЯВЛЕНИЕ IV.

Те же и Анютка.

Анютка *(вбегает. К матери).*

К Микитке отец с матерью пришли. Домой берут жить, одна дыхнуть.

Анисья.

Врешь?

Анютка.

Пра! сейчас умереть! *(Смеется.)* Я мимо иду, Микита и говорит: прощай, говорит, теперь, Анна Петровна. Приходи уже ко мне на свадьбу гулять. Я, говорит, ухожу от вас. Смеется сам.

Анисья *(к мужу).*

Не больно тобою нуждаются. Вон он и сам сходить собрался... «Сгоню!», говорит...

Петр.

И пушай идет; разве других не найду?

Анисья.

А деньги-то зададены?..

(Анютка подходит к двери, слушает, что говорят, и уходит.)

ЯВЛЕНИЕ V.

Анисья, Петр и Акулина.

Петр (хмурится).

Деньги, коли что, летом отслужит.

Анисья.

Да ты рад отпустить, – тебе с хлеба долой. Да зиму-то я одна и ворочай, как мерин какой. Девка-то не больно охоча работать, а ты на печи лежать будешь. Знаю я тебя.

Петр.

Да что, ничего не слыхамши, попусту язык трепать.

Анисья.

Полон двор скотины. Не продал корову-то и овец всех на зиму пустил, корму и воды не наготовишься, – а работника отпустить хочешь. Да не стану я мужицкую работу работать! Лягу, вот как ты же, на печь – пропадай всё; как хочешь, так и делай.

Петр (к Акулине).

Иди за кормом-то, что ли, – пора.

Акулина.

За кормом? Ну, что ж. *(Надевает кафтан и берет веревку.)*

Анисья.

Не буду я тебе работать. Буде уж, не стану. Работай сам.

Петр.

Да буде. Чего взбеленилась? Ровно овца круговая.

Анисья.

Сам ты кобель бешеный! Ни работы от тебя, ни радости. Только поедом ешь. Кобель потрясучий, право.

Петр (плюет и одевается).

ТЬфу ты! Прости, Господи! Пойти узнать толком. (*Выходит.*)

Анисья (вдогонку).

Гнилой чорт, носастый!

ЯВЛЕНИЕ VI.

Анисья и Акулина.

Акулина.

Ты за что батю ругаешь?

Анисья.

Ну тебя, дура. Молчи.

Акулина (подходит к двери).

Знаю, чего ругаешь. Сама дура, пес ты. Не боюсь я тебя.

Анисья.

Ты чего? (*Вскакивает и ищет, чем бы ударить.*) Мотри, я тебя рогачем.

Акулина (*отворив дверь*).

Пес, ты, дьявол, вот ты кто! Дьявол, пес, пес, дьявол! (*Убегает.*)

ЯВЛЕНИЕ VII.

Анисья (*одна*).

Анисья (*задумывается*).

На свадьбу, говорит, приходи. Это что ж они вздумали? женить? Мотри, Микитка: коли это твои умыслы, я то сделаю... Нельзя мне без него жить. Не пущу я его.

ЯВЛЕНИЕ VIII.

Анисья и Никита.

Никита (*входит оглядываясь. Видя, что Анисья одна, быстро подходит к ней. Шопотом*).

Что, братец ты мой, беда. Приехал родитель, снимать хочет, – домой итти велит. Окончательно, говорит, женим тебя, и живи дома.

Анисья.

Что же, женись. Мне-то что?

Никита.

Вот так – так. Я рассчитываю, как получше дело обсудить, а она вон как: жениться велит. Что ж так? (*Подмигивает.*) Аль забыла?..

Анисья.

И женись, очень нужно...

Никита.

Да ты что фыркаешь-то? Вишь ты, и погладиться не дается... Да ты чего?

Анисья.

А того, что бросить хочешь... А хочешь бросить, так и я не нуждаюсь. Вот тебе и сказ!

Никита.

Да буде, Анисья. Разве я тебя забыть хочу? Ни в жисть. Окончательно тебя, значит, не брошу. А я так рассчитываю: что и женят, так к тебе же назад приду; только бы домой не брал.

Анисья.

Очень ты мне нужен женатый-то.

Никита.

Да как же, братец ты мой, – из отцовской воли опять-таки невозможно никак.

Анисья.

На отца сворачиваешь, а умыслы – твои всё. Давно ты подлаживаешь с мазихой своей, с Маринкой. Она тебе это намазала. Не даром намедни прибежала.

Никита.

Маринка?! Очень она мне нужна!.. Мало их вешаются-то!..

Анисья.

Зачем же отец приехал? Ты велел! Обманывал ты!.. *(Плачет.)*

Никита.

Анисья! веришь ты Богу, аль нет? Ничего-то я и во сне не видал. Окончательно знать не знаю, ведать не ведаю. Всё мой старик с своей головы уздумал.

Анисья.

Сам не захочешь, так кто ж тебя, оселом, что ль, притянет?

Никита.

Тоже, рассчитываю, невозможно супротив родителя будет исделать. А неохота мне.

Анисья.

Упрись, да и всё.

Никита.

Уперся один такой-то, так его в волостной так вспрыснули. Очень просто. Тоже не хочется. Сказывают – щекотно..

Анисья.

Буде шутить-то. Ты слушай, Микита: коли ты за себя Марину возьмешь, я не знаю, что над собой сделаю... Жизни решусь! Согрешила я, закон рушила, да уж не ворочаться стать. Коли да ты только уйдешь, я то сделаю...

Никита.

Мне что ж уходить? Кабы я уйти хотел, я бы давно ушел. Меня как наемни Иван Семеныч приглашал в кучера... А уж жизнь какая! Не пошел же. Потому я так рассчитываю, что я всякому хорош. Если бы ты меня не любила, то другой расчет.

Анисья.

То-то и помни. Старик не нынче-завтра помрет, думаю, – все грехи прикроем. Закон приму, думала, будешь хозяином.

Никита.

И, что загадывать. Мне что? Я работаю, как для себя стараюсь. Меня и хозяин любит, и баба его, значит, любит. А что меня бабы любят, так я в этом не причинен, – очень просто.

Анисья.

Будешь меня любить?

Никита (*обнимает ее*).

Во как! Как была ты у меня в душе...

ЯВЛЕНИЕ IX.

Те же и Матрена (*входит и долго крестится на образа; Никита и Анисья отстраняются друг от друга*).

Матрена.

А я что и видела, не видала, что и слышала, не слыхала. С бабочкой поиграл, – что ж? И теленок, ведашь, и тот играет. Отчего не поиграть? – дело молодое. А тебя, сынок, хозяин на дворе спрашивает.

Никита.

Я за топором зашел.

Матрена.

Знаю, знаю, родной, за каким топором. Этот топор всё больше около баб.

Никита (*нагибается, берет топор*).

Что ж, матушка, аль и вправду женить меня? Я рассчитываю, что совсем напрасно. Опять-таки и мне бы неохота.

Матрена.

И-и! Касатик, зачем женить? Живешь да живешь. Это старик всё. Поди, родной, мы и без тебя все дела рассудим.

Никита.

Чудно, право: то женить, а то не надо. Окончательно не разберу ничего. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ X.

Анисья и Матрена.

Анисья.

Что ж, тетка Матрена, аль и вправду женить хотите?

Матрена.

С чем женить-то, ягодка! Наш, ведашь, какой достаток? Так себе, старичок мой зря болтает: женить да женить. Да не его ума дело. От овса, ведашь, кони не рыщут, от добра добра не ищут, – так и это дело. Разве я не вижу (*подмигивает*), к чему дело клонит.

Анисья.

Что же мне, тетка Матрена, от тебя хорониться. Ты все дела знаешь. Согрешила я, полюбила сына твоего.

Матрена.

Ну, новости сказала. А тетка Матрена и не знала. Эх, деушка, тетка Матрена терта, терта да перетерта. Тетка Матрена, я тебе скажу, ягодка, под землей-то на аршин видит. Всё знаю, ягодка! Знаю, зачем молодым бабам сонных порошков надоть. Принесла. (*Развязывает узелок платка, достает в бумаге порошки.*) Чего надо, то вижу, а чего не надо, того знать не знаю, ведать не ведаю. Так-то. Тоже и тетка Матрена молода была. Тоже с своим дураком, ведашь, умеючи прожить надо. Все 77 уверток знаю. Вижу, ягодка, зачиврел, зачиврел твой-то старик. С чем тут жить? Его вилами ткни, кровь не пойдет. Глядишь, на весну похоронить. Принять во двор кого-нибудь да надо. А сынок чем не мужик? Не хуже людей. Так что же мне за корысть сына-то с доброго дела снять? Разве я своему детищу враг?

Анисья.

Только б не сходил он от нас.

Матрена.

И не сойдет, ласточка. Всё глупость одна. Старика моего ведать. Ум у него вовсе расхожий, а тоже другой раз заберет что в башку, как колом подопрет, никак не выбьешь.

Анисья.

Да с чего взялось-то дело это?

Матрена.

А видишь ли, ягодка, – малый, сама знаешь, до баб какой, да и красик, нечего сказать. Ну жил он, ведашь, на чугушке, а там у них девчонка сирота – в куфарках жила. Ну и стала вязаться за ним девчонка эта.

Анисья.

Маринка?

Матрена.

Она, паралик ее расшиби. Ну и было ли что, нет ли, только и дознайся мой старик. От людей ли, или сама она ему наклевузничала!..

Анисья.

Смелая же какая, подлюга!

Матрена.

Вот и поднялся мой-то, дурья-то голова: женить, говорит, да женить, грех покрыть. Возьмем, говорит, малого домой да женим. Разговаривала всячески. Куды тебе! Ну, думаю, ладно. Дай по-иному поверну. Их, дураков, ягодка, всё так-то манить надо. Всё в согласьи, как будто. А до чего дело дойдет, сейчас на свое и повернешь. Баба, ведашь, с печи летит, 77 дум передумает, так где ж ему догадаться. Что ж, говорю, старичок, дело хорошее. Только подумать надо. Пойдем, говорю, к сынку да посоветуем с Петром Игнатъичем. Что он скажет? Вот и пришли.

Анисья.

О-ох, тетушка, как же так? Ну как отец-то велит?

Матрена.

Велит? А веленье-то его псу под хвост. Уж ты не сумлевайся, не бывать этому делу, я сейчас с твоим стариком все дела просею, процежу, ничего не останется. Я и пошла с ним – один пример сделать. Как же сынок в счастья живет, счастья ждет, а я за него потаскуху сватать стану. Что ж, я дура, что ль!

Анисья.

Она и сюда к нему бегала, Маринка-то. Верить ли, тетушка, как сказали мне, что женить его, как ножом по сердцу полоснуло меня. Думаю, в сердце она у него.

Матрена.

И, ягодка! Что ж, он дурак, что ли? Станет он шлюху бездомовную любить. Микишка, ведашь, малый тоже умный. Он знает, кого любить. А ты, ягодка, не сумлевайся. Не снимем его ни в жизнь. И женить не станем. А деньжонок убоготворите, и пусть живет.

Анисья.

Кажется, уйди Микита, не стану на свете жить.

Матрена.

Дело молодое. Легко ли! Баба ты в соку, с таким осметком жить...

Анисья.

Верить ли, тетушка, постыл, уж постыл мне мой-то, кобель носастый, и не смотрели бы на него глаза.

Матрена.

Да, уж это дело такое. Глянь-ка сюда. (*Шопотом, оглядываясь.*) Была я, ведашь, у старичка этого за порошками, – он мне на две руки дал снадобья. Глянь-ка сюда. Это, говорит, сонный порошок. Дай, говорит, один – сон такой возьмет, что хоть ходи по нем. А это, говорит, такое снадобье, если, говорит, давать пить – никакого духа нет, а сила большая. На семь, говорит, разов, по щепоти на раз. До семи разов давай. И слобода, говорит, ей скоро откроется.

Анисья.

О-о-о... Что ж это?

Матрена.

Приметки, говорит, никакой. Рублевку взял. Меньше нельзя, говорит. Потому, ведать, добывать их тоже хитро. Я свою, ягодка, отдала. Думаю, возьмет, не возьмет, Михайловне снесу.

Анисья.

О-о! Да може что худое от них?

Матрена.

Чему худому-то быть, ягодка? Добро бы мужик твой твердый, а то что ж, только славу делает, что живет. Не жилец ведь он. Много таких-то бывает.

Анисья.

О, ох, головушка моя бедная! Боюсь я, тетенька, как бы греха не было. Нет, это что ж?

Матрена.

Можно и назад снести.

Анисья.

Что ж их, как и те, в воде распуцать?

Матрена.

В чаю, говорит, лучше. Ничего, говорит, неприметно, ни духу от них нет, ничего. Тоже человек умный.

Анисья (берет порошки).

О, о, головушка моя бедная. Пошла бы разве на такие дела, кабы не жисть каторжная.

Матрена.

А рублевку-то не забудь, я пообещалась старичку занести. Тоже хлопочет.

Анисья.

Уж известно. *(Идет к сундуку и прячет порошки.)*

Матрена.

А ты, ягодка, потеснее держи, чтоб люди не знали. А коли что, помилуй Бог, коснется, от тараканов мол... *(Берет рубль.)* Тоже от тараканов идет... *(Обрывает речь.)*

ЯВЛЕНИЕ XI.

Те же, Петр и Аким. (Аким входит, крестится на образа.)

Петр (входит и садится).

Так как же, дядя Аким?

Аким.

Получше, Игнатъич, как бы получше, тае, получше... Потому как бы не того. Баловство, значит. Хотелось бы, тае... к делу, значит, хотелось малого-то. А коли ты, значит, тае, можно и того. Получше как...

Петр.

Ладно, ладно. Садись, потолкуем. *(Аким садится.)* Что ж так? Аль женить хочешь?

Матрена.

Женить-то и повременить можно, Петр Игнатьич. Нужда наша, сам знаешь, Игнатьич. Где тут женить. Сами живота не надышим. Где ж женить!..

Петр.

Судите, как лучше.

Матрена.

Женить тоже спешить некуда. Это такое дело. Не малина, не опанет.

Петр.

Что ж, коли женить – дело хорошее.

Аким.

Хотелось бы, значит, тае... Потому мне, значит, тае... работишка в городе, работишка выпала, сходная, значит...

Матрена.

Ну уж работа! Ямы чистить. Приехал намедни, так блевала, блевала, тьфу!

Аким.

Это точно, сперначала она ровно и тае, шибает, значит, дух-то, а обкнешь – ничего, всё одно, что барда, и значит, тае, сходно... А что дух, значит, тае... это нашему брату обижаться нельзя. Одежонку сменить тоже можно. Хотелось, значит, Микитку дома. Пушай оправдает, значит. Он пушай дома оправдает. А уж я, тае, в городе добуду.

Петр.

Хочешь сына дома оставить, оно точно. Да забраты деньги-то как?

Аким.

Это верно, верно, Игнатьич, сказал это, значит, тае, правильно, потому нанялся, проданся – это пусть доживат, значит, а вот только, тае, женить; на время, значит, отпусти коли что.

Петр.

Что ж, это можно.

Матрена.

Да дело-то у нас несогласное. Я перед тобой, Петр Игнатьич, как перед Богом откроюсь. Ты хоть нас с стариком рассуди. Заладил, что женить да женить. А на ком женить-то, ты спроси! Кабы невеста настоящая, разве я своему детищу враг, а то девка с пороком...

Аким.

Вот это напрасно. Напрасно, тае, наносишь на девку-то. Напрасно. Потому ей, девке этой самой, обида от сына моего, обида, значит, есть. Девке, значит.

Петр.

Какая же такая обида?

Аким.

А выходит, значит, тае, с сыном Никиткою. С Никиткою, значит, тае.

Матрена.

Ты погоди говорить, у меня язык помягче, дай я скажу. Жил это малый-то наш до тебя, сам ведать, на чугунке. И привяжись там к нему девка, так, ведать, немудрящая, Маринкой звать, – куфаркой у них в артели жила. Так вот, показывает она, эта самая девка, на сына на нашего, что примерно, он, Микита, будучи, ее обманул.

Петр.

Хорошего тут нет.

Матрена.

Да она сама непутевая, по людям шляется. Так, потаскуха.

Аким.

Опять ты, значит, старуха, не тае, и всё ты не тае, всё, значит, не тае...

Матрена.

Вот только и речей от орла от моего – тае, тае, тае, а что тае – сам не знаешь. Ты, Петр Игнатьич, не у меня, у людей спроси про девку, всякий то же скажет. Так – шалава бездомовная.

Петр (Аким).

Что ж, дядя Аким, коли такое дело, тоже женить не-зачем. Ведь не лапоть, с ноги не снимешь, хоть бы сноху.

Аким (разгорячась).

Облыжно, старуха, значит, на девку, тае, облыжно. Потому девка, тае, дюже хороша, дюже хороша девка, значит; жаль мне, жаль, значит, девку-то.

Матрена.

Уж прямо Маремьяна старица, по всем мире печальница, а дома не емши сидят. Жаль девку, а сына не жаль. Навяжи ее себе на шею, да и ходи с ней. Буде пустое-то говорить.

Аким.

Нет, не пустое.

Матрена.

Да ты не залетай, дай я скажу.

Аким (перебивает).

Нет, не пустое. Значит, ты на свое воротить, хоть бы про девку али про себя, – ты на свое воротить, как тебе лучше, а Бог, значит, тае, на свое поворотит. Так и это.

Матрена.

Эх, только с тобой язык терзать.

Аким.

Девка работающая, важковатая и, значит, тае, вокруг себе... значит. А по нашей бедности нам и тае, рука, значит: и свадьба недорогая. А дороже всего обида есть девке-то, значит, тае, сирота, вот что, девка-то. А обида есть.

Матрена.

Всякая, тоже говорит...

Анисья.

Ты, дядя Аким, больше слушай нашу сестру. Они тебе расскажут!

Аким.

А Бог-то, Бог! Разве она не человек, девка-то? Значит тоже, тает, Богу-то она человек. А ты как думаешь?

Матрена.

А, заладил...

Петр.

А вот что, дядя Аким, тоже ведь этим девкам верить нельзя. А малый-то жив. Ведь он вот он! Послать его да спросить толком, правда ли? Он души не уьет. Покличьте малого-то! (*Анисья встает.*) Скажи ты, отец зовет. (*Анисья уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XII.

Те же без Анисьи.

Матрена.

Вот это, родной, рассудил, как водой разлил; пушай сам малый скажет. Ведь тоже по нынешнему время силѸм женить не велят. Также спросить малого надо. Не захочет он ни в жисть на ней жениться, себя осрамить. На мой разум, пусть у тебя живет да служит хозяину. И на лето брат не-зачем, принанять можно. А ты нам десяточку дай, пусть живет.

Петр.

Та речь впереди, порядком надо. Одно кончи, тогда другое затевай.

Аким.

Я, значит, к тому говорю, Петр Игнатьич, потому, значит, тает, трафлялось. Ладишь, значит, как себе лучше, да про Бога, тает, и запомнать; думаешь лучше... на себя воротить, глядь, ан накошлял на шею себе, значит; думал как лучше, ан хуже много, без Бога-то.

Петр.

Известное дело! Бога помнить надо.

Аким.

Глядь, оно хуже, а как по закону, да по-Божьи, всё как-то, тае, оно тебя веселит. Манится, значит. Так и угадывал себе, значит, женю, значит, малого, от греха, значит. Он дома, значит, тае, как должно по закону, а уж я, значит, тае в городе похлопочу. Работишка-то любезная. Сходно. По-Божью-то, значит, тае, и лучше. Сирота ведь тоже. Примером, летось дрова тож у приказчика взяли таким манером. Думали обмануть; приказчика-то обманули, а Бога-то, значит, тае, не обманули, ну, и того...

ЯВЛЕНИЕ XIII.

Те же, Никита и Анютка.

Никита.

Спрашивали? (*Садится, достает табак.*)

Петр (*тихо, укоризненно*).

Что ж ты, аль порядка не знаешь. Тебя отец спрашивать будет, а ты табаком балуешь да сел. Поди-ка сюда, встань!

(Никита становится у стола, развязно облакачиваясь и улыбаясь.)

Аким.

Выходит, значит, тае, примерно на тебя, Микишка, жалоба, жалоба, значит.

Никита.

От кого жалоба?

Аким.

Жалоба? От девицы, от сироты, значит, жалоба есть. От ней, значит, и жалоба на тебя, от Марины от этой самой, значит.

Никита (*посмеиваясь*).

Чудно, право. Какая ж такая жалоба? Это кто ж тебе сказывал: она, что ли?

Аким.

Я таперь, тае, спрос делаю, а ты, значит, тае, должен ответ произвести. Обвязался ты с девкой, значит, то есть обвязался ты с ней, значит?

Никита.

И не пойму окончательно, чего спрашиваете.

Аким.

Значит, глупости, тае, глупости, значит, были у тебя с ней, глупости, значит?

Никита.

Мало что было. С куфаркой от скуки и пошутить и на гармонии поиграешь, а она попляшет. Какие же еще глупости?

Петр.

Ты, Микита, не костылай, а что спрашивает родитель, ты и отвечай толком.

Аким (торжественно).

Микита! От людей утаишь, а от Бога не утаишь. Ты, Микита, значит тае, думай, не моги врать! Сирота она, значит, обидеть можно. Сирота, значит. Ты говори получше как.

Никита.

Да что, говорить-то нечего. Окончательно всё и говорю, потому и говорить нечего. (*Разговариваясь.*) Она чего не скажет. Говори, что, хоть, как на мертвого. Чего ж она на Федьку Микишкина не сказывала? А это что ж, по нынешнему времени, значит, и пошутить нельзя? А ей вольно говорить.

Аким.

Ой, Микишка, мотри! Неправда наружу выйдет. Было аль нет?

Никита (в сторону).

Вишь, привязались, право. (*К Акиму.*) Сказываю, что ничего не знаю. Ничего у меня с ней не было. (*С злобой.*) Вот те Христос, не сойти мне с доски с этой. (*Крестится.*) Ничего знать не знаю. (*Молчание. Никита продолжает еще горячее.*) Что ж это вы меня на ней женить вздумали? Что ж, в самом деле, право, скандал. Нынче и правов таких нет, чтоб силом женить. Очень просто. Да и побожился я – знать не знаю.

Матрена (на мужа).

То-то, глупая твоя башка, дурацкая; что ему наболтают, а он всему и верит. Только напрасно малого оконфузил. А лучше как живет, так пускай и живет у хозяина. Хозяин нам теперь на нужду десяточку даст. А время придет, и женим.

Петр.

Ну, как же, дядя Аким?

Аким (щелкает языком; к сыну).

Мотри, Микита, обижена слеза, тае, мимо не канет, а всё, тае, на человеческу голову. Мотри, как бы не того.

Никита.

Да что смотреть-то, ты сам смотри. *(Садится.)*

Анютка.

Пойти мамушке сказать. *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ XIV.

Петр, Аким, Матрена и Никита.

Матрена (к Петру).

Вот так-то всё, Петр Игнатьич. Баламутный он у меня, втемяшит что в башку, не выбьешь никак; только даром тебя потревожили. А как жил малый, так пусть и живет. Держи малого – твой слуга.

Петр.

Так как же, дядя Аким?

Аким.

Что ж, я, тае, воли с малого не снимал, только бы не тае. Хотелось было, значит, тае...

Матрена.

И что путаешь, сам не знаешь. Пусть живет, как жил. Малому и самому сходить неохота. Да и куда нам его, сами управим.

Петр.

Одно, дядя Аким: если ты его на лето сымешь, он мне на зиму не нужен. Уж жить, так в год.

Матрена.

На год и заложится. Мы дома, в рабочую пору, коли что, принайдем, а малый пусть живет, а ты нам теперича десяточку...

Петр.

Так как же, еще на год?

Аким (вздыхает).

Да что ж, уж видно тае, коли так, значит, видно уж тае.

Матрена.

Опять на год, от Митревой субботы. В цене ты не обидишь, а десяточку теперь дай. Вызволь ты нас. *(Встает и кланяется.)*

ЯВЛЕНИЕ XV.

Те же, Анисья и Анютка. (Анисья садится к сторонке.)

Петр.

Что ж? Коли так, так так – до трактира дойти и могорычи. Пойдем, дядя Аким, водочки выпьем.

Аким.

Не пью я ее, вино-то, не пью.

Петр.

Ну, чайку попьешь.

Аким.

Чаем грешен. Чаем, точно.

Петр.

И бабы-то чайку попьют. Ты, Микита, смотри, овец-то перегони да солону подбери.

Никита.

Ладно.

(Все уходят, кроме Никиты. Смеркается.)

ЯВЛЕНИЕ XVI.

Никита (один).

Никита (закуривает папироску).

Вишь, пристали, скажи да скажи, как с девками гулял. Эти истории рассказывать долго будет. Женись, говорит, на ней. На всех да жениться – это жен много наберется. Нужно мне очень жениться, и так не хуже женатого живу, завидуют люди. И как это меня как толкнул кто, как я на образ перекрестился. Так сразу всю канитель и оборвал. Боязно, говорят, в неправде божиться. Всё одна глупость. Ничего, одна речь. Очень просто.

ЯВЛЕНИЕ XVII.

Никита и Акулина.

Акулина (входит в кафтане, кладет веревку, раздевается и идет в чулан).

Ты бы хоть огонь засветил.

Никита.

На тебя глядеть? Я тебя и так вижу.

Акулина.

Ну тебя!

ЯВЛЕНИЕ XVIII.

Те же и Анютка.

Анютка (*вбегает; к Никите шопотом*).

Микита, иди скорей, тебя человек один спрашивает, одна дыхнуть.

Никита.

Какой человек?

Анютка.

Маринка с чугулки. За углом стоит.

Никита.

Врешь.

Анютка.

Одна дыхнуть.

Никита.

Чего же ей?

Анютка.

Тебе приходится велела. Мне, говорит, Миките только слово одно сказать надо. Стала я спрашивать, а она не сказывает. Только спросила: правда ли, что он от вас сходит? А я говорю: неправда, его отец хотел снять да женить, да он отказался, у нас на год еще остался. А она и говорит: пошли ты его ко мне, ради Христа. Мне, говорит, непременно нужно ему слово сказать. Она уж давно ждет. Иди же к ней.

Никита.

Ну ее к Богу. Куда я пойду?

Анютка.

Она говорит, коль не придет, я сама в избу к нему пойду. Однова дыхнуть, приду, говорит.

Никита.

Небось, постоит да уйдет.

Анютка.

Аль, говорит, его на Акулине женить хотят?

Акулина (*подходит к Никите за своей прялкой*).

Кого на Акулине женить?

Анютка.

Микиту.

Акулина.

Легко ль? Да кто говорит-то?

Никита.

Да видно, люди говорят. (*Смотрит на нее, смеется.*) Акулина, что, пойдешь за меня?

Акулина.

За тебя-то? Може допрежь и пошла бы, а теперь не пойду.

Никита.

Отчего теперь не пойдешь?

Акулина.

А ты меня любить не будешь.

Никита.

Отчего не буду?

Акулина.

Тебе не велят. *(Смеется.)*

Никита.

Кто не велит?

Акулина.

Да мачеха. Она всё ругается, всё за тобой глядит.

Никита *(смеется)*.

Вишь ты! Однако ты приметливая.

Акулина.

Я-то? Что мне примечать? Разве я слепая? Нынче она батю пузырила, пузырила. Ведьма она толстомордая. *(Уходит в чулан.)*

Анютка.

Никита! глянь-ка. *(Глядит в окно.)* Идет. Однова дыхнуть, она. Я уйду. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XIX.

Никита, Акулина в чулане и Марина.

Марина *(входит)*.

Что ж это ты со мной делаешь?

Никита.

Что делаю? Ничего не делаю.

Марина.

Отречься хочешь?

Никита (*сердито подымаясь*).

Ну, к чему подобно, что пришла?

Марина.

Ах, Микита!

Никита.

Чудные вы, право. Зачем пришла?

Марина.

Микита!

Никита.

Ну что Микита? Микита и есть. Чего надо-то? Иди, говорю.

Марина.

Так, вижу, бросить, позабыть хочешь?

Никита.

Что помнить-то? Сами не знают. За углом стояла, Анютку послала, не пришел я к тебе. Значит, не надобна ты мне, очень просто. Ну и уйди.

Марина.

Не надобна! Не надобна теперь стала. Поверила я тебе, что любить будешь. А потерял ты меня, и не надобна стала.

Никита.

И всё ни к чему ты это говорить, всё несообразно. Ты и отцу наговорила. Уйди, сделай милость.

Марина.

Сам знаешь, что никого, кроме тебя, не любила. Взял бы, не взял замуж, я на то бы не обижалась. Не повинна я перед тобой ничем. За что разлюбил? За что?

Никита.

Нечего нам с тобою переливать из пустого в порожнее. Уйди ты. То-то бестолковые!

Марина.

Не то мне больно, что обманул меня, жениться обещал, а что разлюбил. И не то больно, что разлюбил, а на другую променял, – на кого, знаю я!

Никита (злобно идет к ней).

Эх! С вашей сестрой разговаривать, никаких резонов не понимают; уйди, говорю, до худа доведешь.

Марина.

До худа? Что ж, меня бить будешь? Бей, на! Что морду-то отворотил? Эх, Никита.

Никита.

Известно, нехорошо, народ придет. А что ж попусту толковать.

Марина.

Так конец, значит, что было, то уплыло. Позабыть велишь! Ну, Никита, помни. Берегла я свою честь девичью пуще глаза. Погубил ты меня ни за что, обманул. Не пожалел сироту (*плачет*), отрекся от меня. Убил ты меня, да я на тебя зла не держу. Бог с тобой. Лучше найдешь – позабудешь, хуже найдешь – вспомянешь. Вспомянешь, Никита. Прощай, коли так. И любила ж я тебя. Прощай в последний. (*Хочет обнять его и берет за голову.*)

Никита (вырываясь.)

Эх! Разговаривать с вами. Не хочешь уходить, я сам уйду, оставайся тут.

Марина (вскрикивает).

Зверь ты! (*В дверях.*) Не даст тебе Бог счастья! (*Уходит плача.*)

ЯВЛЕНИЕ XX.

Никита и Акулина.

Акулина (*выходит из чулана*).

А пес ты, Никита.

Никита.

А что?

Акулина.

Как взвыла-то она. (*Плачет.*)

Никита.

Ты-то чего?

Акулина.

Чего? О... би... дел ты ее... Ты так-то и меня обидишь... пес ты. (*Уходит в чулан.*)

ЯВЛЕНИЕ XXI.

Никита (*один*).

Никита. (*Молчание.*)

То-то неразбериха. Люблю я этих баб, как сахар; а нагретишь с ними – беда!

Занавес.

—

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.

ЛИЦА ВТОРОГО ДЕЙСТВИЯ.

Петр.
Анисья.
Акулина.
Анютка.
Никита.
Матрена.
Кума – соседка.
Народ.

Сцена представляет улицу и избу Петра. Слева от зрителя – изба в две связи, сени, с крыльцом в середине; справа – ворота и край двора. У края двора Анисья треплет пеньку. После первого действия прошло 6 месяцев.

ЯВЛЕНИЕ I.

Анисья (одна).

Анисья (останавливается, прислушиваясь). Опять что-то бурчит. Должно, слез с печи.

ЯВЛЕНИЕ II.

Анисья и Акулина (входит с ведрами на коромысле).

Анисья.

Кличет. Поди погляди, чего ему? Во... орет.

Акулина.

А ты-то что ж?

Анисья.

Иди, говорят. *(Акулина идет в избу.)*

ЯВЛЕНИЕ III.

Анисья (*одна*).

Анисья.

Измучал он меня. Не открывает, где деньги, да и всё. Намедни в сенях был, должно, там прятал. Теперь и сама не знаю где. Спасибо, расстаться с ними боится. Всё в доме они. Только б найти. А на нем вчерась не было. Теперь и сама не знаю где. Измучал меня на отделку.

ЯВЛЕНИЕ IV.

Анисья и Акулина (*выходит, повязываясь платком*).

Анисья.

Куда ты?

Акулина.

Куды? А велел тетушку Марфу позвать. Позови, говорит, сестру ко мне. Я помру, говорит, нужно мне ей сказать слово.

Анисья (*про себя*).

Сестру зовет. О, головушка моя! О-о! Должно, ей отдать хочет. Что стану делать! О! (*Акулине.*) Не ходи! Куда ты?

Акулина.

За теткой.

Анисья.

Не ходи, говорю, я сама схожу, а ты с бельем-то иди на речку. А то до вечера не успеешь.

Акулина.

Да он мне велел.

Анисья.

Иди куда посылают. Сама, говорят, схожу за Марфой. Рубахи-то возьми с плетня.

Акулина.

Рубахи? Да ты, мотри, не пойдешь. Он велел.

Анисья.

Сказала, пойду. Анютка где?

Акулина.

Анютка? Она телят стережет.

Анисья.

Пошли ее, авось не разбегутся.

(Акулина собирает белье и уходит.)

ЯВЛЕНИЕ V.

Анисья (одна).

Анисья.

Не пойтить – заругает, а пойтить – отдаст он сестре деньги. Пропадут все мои труды. И что делать, сама не знаю. Расскочилась моя голова. *(Продолжает работать.)*

ЯВЛЕНИЕ VI.

Анисья и Матрена (входит с палочкой и узелком по-дорожному).

Матрена.

Бог помочь, ягодка.

Анисья (*оглядывается, бросает работу и всплескивает руками от радости*).

Вот не чаяла, тетушка. Лучил же Бог какого гостя ко времени.

Матрена.

Ну, что?

Анисья.

Уж я и в уме смешалась. Беда!

Матрена.

Что ж, жив, сказывают?

Анисья.

И не говори. Жить не живет и помирать не помирает.

Матрена.

Деньги-то не передал кому?

Анисья.

Сейчас за Марфой, за сестрой родной, посылает. Должно, об деньгах.

Матрена.

Видимое дело. Да не передал ли кому помимо?

Анисья.

Некому. Я как ястреб над ним стерегу.

Матрена.

Да где ж они?

Анисья.

Не сказывает. И не дознаюсь никак. Хоронит где-то из одного места в другое. А мне тоже от Акульки нельзя. Дура-дура, а тоже подсматривает, караулит. О, головушка моя! Измучалась я.

Матрена.

Ох, ягодка, отдаст денежки помимо твоих рук, век плакаться будешь. Сопхают они тебя со двора ни с чем. Маялась ты, маялась, сердечная, век-то свой с немилым, да и вдовой с сумой пойдешь.

Анисья.

И не говори, тетка. Изныло мое сердце, и не знаю, как быть, и посоветовать не с кем. Говорила Миките. А он робеет, не хочет в это дело вступать. Только сказал мне вчерась, что в полу они.

Матрена.

Что ж, лазила?

Анисья.

Нельзя – сам тама. Я примечаю, – он их то на себе носит, то хоронит.

Матрена.

Ты, деушка, помни: раз маху дашь, век не справишься. (*Шопотом.*) Что ж, крепкого чаю-то давала?

Анисья.

О-о! (*Хочет отвечать, видит соседку, замолкает.*)

ЯВЛЕНИЕ VII.

Те же и кума (*проходит мимо избы, прислушивается к крику в избе. К Анисье*).

Кума.

Кума! Анисья, а Анисья! Твой никак кличет.

Анисья.

Он всё так кашляет, ровно кричит. Плох уж очень.

Кума (*подходит к Матрене.*)

Здорово, баушка, отколь Бог несет?

Матрена.

А из двора, милая. Сынка проведать пришла. Рубах принесла. Тоже свое детище, ведашь, жалко.

Кума.

Да уж такое дело. (*К Анисье.*) Хотела, кума, красна белить, да, думается, рано. Люди не зачинали.

Анисья.

Куда спешить-то?

Матрена.

Что ж, сообщали?

Анисья.

Как же, вчерась поп был.

Кума.

Поглядела я вчерась тоже, матушка моя, и в чем душа держится. Измадел как. А уж намедни, матушка моя, совсем помирал, под святые положили. Уж и оплакали, омывать соби-
рались.

Анисья.

Ожил – поднялся; опять бродит теперь.

Матрена.

Что ж, соборовать станете?

Анисья.

Люди приглашают. Коли жив будет, хотим завтра за попом посылать.

Кума.

Ох, скучно, чай, тебе, Анисьюшка? Не даром молвится: не тот болен, кто болит, а кто над болью сидит.

Анисья.

Уж как скучно то. Да уж одно бы что.

Кума.

Известно дело, легко ли, год целый помирает. По рукам связал.

Матрена.

Тоже и вдовье дело горькое. Хорошо дело молодое, а на старости лет кто пожалеет. Старость не радость. Хоть бы мое дело. Недалеко прошла, уморилась, ног не слышу. Сынок-то где?

Анисья.

Пашет. Да ты заходи, самовар поставим, чайком душеньку отведешь.

Матрена (садится).

И то уморилась, миленькие. А что соборовать – это беспрременно надо. Люди говорят – тоже душе на пользу.

Анисья.

Да завтра пошлем.

Матрена.

То-то, оно лучше. А у нас, деушка, свадьба.

Кума.

Что ж так, весной?

Матрена.

Да, видно, пословица не даром молвится: бедному жениться и ночь коротка. Семен Матвеевич за себя Маринку взял.

Анисья.

Нашла-таки себе счастье!

Кума.

Вдовец, должно, на детей пошла.

Матрена.

Четверо. Какая же путная пойдет! Ну, ее и взял. Она и рада. Вино пили, ведашь, стаканчик не крепкий был, – проливали.

Кума.

Вишь ты! Слух-то был? А с достатком мужик-то?

Матрена.

Живут ничего пока.

Кума.

Оно точно, что на детей кто пойдет. Вот хоть бы у нас Михайло. Мужик-то, матушка моя...

Голос мужика.

Эй, Мавра, куда тебя дьявол носит? Поди корову загони. *(Соседка уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ VIII.

Анисья и Матрена.

Матрена *(пока соседка уходит, говорит ровным голосом).*

Выдали, деушка, от греха, по крайности мой дурак об Микишке думать не будет. *(Вдруг переменяет голос на шопот.)* Ушла! *(Шопотом.)* Что ж, говорю, чайком-то поила?

Анисья.

И не поминай. Помирал бы лучше сам. Всё одно не помирает, только греха на душу взяла. О-о! головушка моя! И зачем ты мне давала порошки эти?

Матрена.

Что ж порошки? Порошки, деушка, сонные, что ж не дать? От них худа не будет.

Анисья.

Я не про сонные, а про те, про белесые-то.

Матрена.

Что ж, те порошки, ягодка, лекарственные.

Анисья (вздыхает).

Знаю, да боязно. Измучал он меня.

Матрена.

Что ж, много извела?

Анисья.

Два раза давала.

Матрена.

Что ж, не приметно?

Анисья.

Я сама в чаю пригубила, чуть горчит. А он выпил с чаем-то, да и говорит: мне и чай-то противен. Я говорю: больному всё горько. Да и жутко же мне стало, тетушка.

Матрена.

А ты не думай. Что думать, то хуже.

Анисья.

И лучше ты мне не давала бы и на грех не наводила. Как вспомнишь, так на душе загребит. И зачем ты дала мне их?

Матрена.

И, что ты, ягодка! Христос с тобой. Что ж ты на меня-то сворачиваешь? Ты, деушка, мотри, с больной головы на здоровую не сворачивай. Коли чего коснется, мое дело сторона, я знать не знаю, ведать не ведаю, – крест поцелую, никаких порошков не давала и не видала и не слыхала, какие такие порошки бывают. Ты, деушка, сама думай. Мы и то намеднись про тебя разговорились, как она, мол, сердечная, маится. Падчерица – дура, а мужик гнилой – присуха одна. С этой жизни чего не сделаешь.

Анисья.

Да я и то не отрекусь. От моего житья не то что эти дела, а либо повеситься, либо его задушить. Разве это жизнь?

Матрена.

То-то и дело. Рот разевать некогда. А как-никак, обыскать деньги да чайком попить.

Анисья.

О-о, головушка моя бедная! И что делать теперь, сама не знаю, и жутость берет, – поми-рал бы уж лучше сам. Тоже на душу брать не хочется.

Матрена (с злобой).

А что ж он деньги-то не открывает? Что ж, он их с собой возьмет, никому не достанутся? Разве это хорошо? Помилуй Бог, такие деньжищи да дуром пропадут. Разве это не грех? Что ж он-то делает? На него и смотреть?

Анисья.

Уже и сама не знаю. Измучал он меня.

Матрена.

Чего не знать-то? Дело на виду. Промашку теперь сделаешь, век каяться будешь. Передаст он сестре деньги, а ты оставайся.

Анисья.

О-ох, и то посылал ведь за ней, – итти надо.

Матрена.

А ты погоди ходить, а первым делом самоварчик поставь. Мы его чайком попоим да деньги вдвоем поищем – дошупаемся, небось.

Анисья.

О-о! Как бы чего не было.

Матрена.

А то что ж? Что смотреть-то. Что ж ты деньги-то только глазами поваляешь, а в руки не попадут? Ты делай.

Анисья.

Так я пойду самовар поставлю.

Матрена.

Иди, ягодка, дело делай как надо, чтоб после не тужить. Так-то. (*Анисья отходит, Матрена подзывает.*) Одно дело: Микитке не сказывай про все дела. Он дурашный. Избави Бог, узнает про порошки. Он Бог знает что сделает. Жалостлив он очень. Он, ведашь, и курицы, бывало, не зарежет. Не сказывай ему. Беда, он того не рассудит. (*Останавливается в ужасе, на пороге показывается Петр.*)

ЯВЛЕНИЕ IX.

Те же и Петр (*держась за стенку, выползает на крыльцо и кличет слабым голосом*).

Петр.

Что ж вас не дозовешься. О-ох! Анисья, кто здесь? (*Падает на лавку.*)

Анисья (*выходит из-за угла*).

Чего вылез? Лежал бы, где лежал.

Петр.

Что, за Марфой ходила девка-то?.. Тяжко... Ох, хоть бы смерть скорее!..

Анисья.

Недосуг ей, я ее на речку послала. Дай срок, управлюсь, сама схожу.

Петр.

Анютку пошли. Где она? Ох, тяжело! Ох, смерть моя!

Анисья.

Я и то послала за ней.

Петр.

Ох! Где ж она?

Анисья.

Где она там, пралик ее расшиби?

Петр.

Ох, мочи моей нет. Сожгло нутро. Ровно буравцом сверлит. Что ж меня бросили как собаку... и напиться подать некому... Ох... Анютку пошли ко мне..

Анисья.

Вот она. Анютка, иди к отцу.

ЯВЛЕНИЕ X.

Те же и Анютка (*вбегает. Анисья уходит за угол*).

Петр.

Поди ты... ох... к тетке Марфе, скажи: отец, мол, зовет, пришла чтоб, нужно мне.

Анютка.

Ну что ж.

Петр.

Постой. Скорее нужно, скажи. Скажи – помирать хочу. О-ох...

Анютка.

Только платок возьму, а я сейчас. *(Убегает.)*

ЯВЛЕНИЕ XI.

Петр, Анисья и Матрена

Матрена *(подмигивая)*.

Ну, деушка, дело свое помни. Иди в избу, везде ошарь. Ищи, как собака блох ищет; всё перебери, а я на нем обыщу.

Анисья *(к Матрене)*.

Сейчас. Всё с тобой смелей как будто. *(Подходит к крыльцу. К Петру.)* Самовар не поставь ли тебе? И тетка Матрена к сыну пришла, – с ней попьете.

Петр.

Что ж, поставь.

ЯВЛЕНИЕ XII.

Петр и Матрена. *(Матрена подходит к крыльцу.)*

Петр.

Здорово.

Матрена.

Здравствуй, благодетель. Здравствуй, касатик. Хвораешь, видно, всё. И старик мой как жалеет. Поди, говорит, проведай. Поклон прислал. *(Еще раз кланяется.)*

Петр.

Помираю я.

Матрена.

И то, посмотрю на тебя, Игнатъич, не по лесу, видно, а по людям боль-то ходит. Исчадел, исчадел ты весь, сердечный, погляжу на тебя. Не красит, видно, хворь-то.

Петр.

Пришла смерть моя.

Матрена.

Что ж, Петр Игнатъич, Божья воля, сообщили, особоруют, Бог даст; баба у тебя, слава Богу, умная, и похоронят и помянут, всё честь честью. И мой сыночек тоже, поколе что, по дому хлопотать будет.

Петр.

Приказать некому! Необстоятельна баба, глупостями занимается, ведь всё знаю я... знаю... Девка дурковата, да и млада. Дом собирал, а обдумать некому. Жаль тоже. (*Хнычет.*)

Матрена.

Что ж, коли деньги или что, приказать можно...

Петр (к Анисье в сенцы).

Пошла, что ль, Анютка-то?

Матрена (в сторону).

Ишь, вспомнил.

Анисья (из сеней).

В ту же пору пошла. Иди в избу-то что ль, я проведу.

Петр.

Дай посижу напоследях. Дух тяжкий там. Тяжко мне... Ох, сожгло сердце всё... Хоть бы смерть...

Матрена.

Бог души не вынет, сама душа не выйдет. В смерти и животе Бог волен, Петр Игнатьич. Тоже и смерти не угадаешь. Бывает, и поднимаешься. Так-то вот у нас в деревне мужик совсем уж было помирал...

Петр.

Нет. Чую я, что нынче помру, чую. *(Прислоняется и закрывает глаза.)*

ЯВЛЕНИЕ XIII.

Те же и Анисья.

Анисья *(входит)*.

Ну что ж, пойдешь, али нет? Тебя не дождешься. Петра? А Петра?

Матрена *(отходит и манит к себе пальцем Анисью)*.

Ну что ж?

Анисья *(сходит с крыльца к Матрене)*.

Нету.

Матрена.

Да ты всё ли обыскала? В полу-то?

Анисья.

И там нету. Нешто в пуньке. Вчера туда лазил.

Матрена.

Ищи, пуще всего ищи. Как языком вылижи. А я примечаю – нынче и так помереть: ноготь синий, и на лицо земля пала. Самовар-то поспел, что ль?

Анисья.

Закипать хочет.

ЯВЛЕНИЕ XIV.

Те же и Никита (*приходит с другой стороны, а если можно, приезжает на лошади к воротам; не видит Петра*).

Никита (*к матери*).

Здорово, матушка! Здоровы ли дома?

Матрена.

Слава Господу Богу, живем, пока хлеб жуем.

Никита.

Ну что, хозяин как?

Матрена.

Тише, вон он сидит. (*Показывает на крыльцо.*)

Никита.

Так что же, пущай сидит. Мне чего?

Петр (*открывает глаза*).

Микита, а Микита, подь-ка сюда. (*Никита подходит, Анисья шепчется с Матреной.*)

Петр.

Что рано приехал?

Никита.

Допахал.

Петр.

За мостом полоску пахал?

Никита.

Туда далече ехать.

Петр.

Далече? Из дома дальше. За нарочным поедешь. Заодно бы. (*Анисья, не показываясь, прислушивается.*)

Матрена (*подходит*).

Ах, сынок, что ж так хозяину не стараешься? Хозяин хворый, на тебя надеется, ты должен как отцу родному, жилы вытягивай, а служи. Так я тебе приказывала.

Петр.

Так ты того, ох!., картошки повытаскай, бабы... о!.. переберут.

Анисья (*про себя*).

Как же, и пошла я. Опять от себя всех усрать хочет; должно, на нем теперь деньги-то. Куда-нибудь схоронить хочет.

Петр.

А то, о-ох!.. сажать время придет, а они попрели. Ох, мочи нет. (*Поднимается.*)

Матрена (*вбегает на крыльцо, поддерживает Петра*).

Аль в избу свесть?

Петр.

Сведи. (*Останавливается.*) Микита!

Никита (*сердито*).

Чего еще?

Петр.

Не увижу тебя... Помру нынче... Прости меня, Христа ради, прости, когда согрешил перед тобой... Словом и делом, согрешил когда... Всего было. Прости.

Никита.

Что ж прощать, мы сами грешные.

Матрена.

Ах, сынок, – ты чувствуй.

Петр.

Прости, Христа ради. *(Плачет.)*

Никита *(сопит)*.

Бог простит, дядя Петр. Что ж, мне на тебя обижаться нечего. Я от тебя худого не видал. Ты меня прости. Может, я виноватее перед тобою. *(Плачет. Петр, хныкая, уходит. Матрена поддерживает его.)*

ЯВЛЕНИЕ XV.

Никита и Анисья.

Анисья.

О, головушка моя бедная! Неспроста он это. Задумал, видно, что. *(Подходит к Никите.)*
Что ж, ты сказывал, что деньги в полу, – нету там.

Никита *(не отвечает, плачет)*.

Я от него худого, окромя хорошего, ничего не видал. А я вот что сделал!

Анисья.

Ну, буде. Деньги-то где?

Никита *(сердито)*.

А кто его знает. Ищи сама.

Анисья.

Что больно жалостлив?

Никита.

Жалко мне его. Как жалко его! Заплакал как! Э-эх!

Анисья.

Вишь, жалость напала, есть кого жалеть! Он тебя собачил, собачил, и сейчас приказывал, чтоб согнать тебя со двора долой. Ты бы меня пожалел.

Никита.

Да что тебя жалеть-то?

Анисья.

Помрет, деньги скроет...

Никита.

Небось, не скроет...

Анисья.

Ох, Никитушка! За сестрой ведь послал, ей отдать хочет. Беда наша, как нам жить будет, как он деньги отдаст. Сунут они меня со двора! Уж ты бы похлопотал. Ты сказывал, в пуньку вечер лазял он?

Никита.

Видел, он оттель идет, а куда сунул, кто его знает.

Анисья.

О, головушка, пойду там поищу.

ЯВЛЕНИЕ XVI.

Те же и Матрена (*выходит из избы, спускается к Анисье и Никите шопотом*).

Матрена.

Никуда не ходи, деньги на нем, я ощупала, на гайтане они.

Анисья.

О, головушка моя бедная!

Матрена.

Теперь сморгаешь, ищи тогда на орле – на правом крыле. Сестра придет – и прощайся.

Анисья.

И то придет, отдаст ей. Как быть-то? О, головушка!

Матрена.

Как быть-то? А ты смотри сюда. Самовар-то вскипел, поди ты завари чайку да налей ему (*шопотом*), да из грамотки-то всю высыпь да попой его. Выпьет чашку, тогда и тащи. Небось, не расскажет.

Анисья.

О, боязно!

Матрена.

Ты это не толкуй, живо делай, а я сестру-то постерегу, коли что. Оплошки не давай. Тащи деньги да и неси сюда, а Микита схоронит.

Анисья.

О, головушка! Как приступиться-то и... и...

Матрена.

Говорю, не толкуй; делай, как велю. Микита!

Никита.

Чего?

Матрена.

Ты тут постой, посиди на завалинке, коли что, дело будет.

Никита (*махая рукой*).

Уж эти бабы придумают. Окончательно завертят. Ну вас совсем! Пойти и то – картошки повыгаскать.

Матрена (*останавливает его за руку*).

Говорю, постой.

ЯВЛЕНИЕ XVII.

Те же и Анютка (*входит*).

Анисья.

Ну, что?

Анютка.

Она у дочери на огороде была, сейчас придет.

Анисья.

Придет она, что делать будем?

Матрена (*Анисье*).

Поспешь, делай, что велю.

Анисья.

Уж сама не знаю – не знаю ничего, в уме смешалось. Анютка Иди, донюшка, к телятам, разбежались. Ох, не насмелюсь.

Матрена.

Иди, что ль, самовар ушел, я чай.

Анисья.

Ох, головушка моя бедная! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XVIII.

Матрена и Никита.

Матрена (*подходит к сыну*).

Так-то, сынок. (*Садится рядом с ним на завалинку.*) Дело твое тоже обдумать надо, а не как-нибудь.

Никита.

Да какое дело-то?.

Матрена.

А то дело, как тебе на свете прожить.

Никита.

Как на свете прожить? Люди живут, так и я.

Матрена.

Старик-то, должно, нынче помрет?

Никита.

Помрет, царство небесное. Мне-то что?

Матрена (*всё время говорит и поглядывает на крыльцо*).

Эх, сынок! Живой живое и думает. Тут, ягодка, тоже ума надо много. Ты как думаешь, я по твоему делу по всем местам толкалась, все ляжки измызгала, об тебе хлопотамши. А ты помни, тогда меня не забудь.

Никита.

Да о чем хлопотала-то?

Матрена.

О деле о твоём, об судьбе об твоей. Загодя не похлопотать, ничего и не будет. Иван Мосейча знаешь? Я до него тоже притолчна. Зашла намедни. Я ему, ведашь, тоже дело одно

управила. Посидела, к слову разговорились. Как, говорю, Иван Мосеич, рассудить дело одно. Примерно, говорю, мужик вдовый, взял, примерно, за себя другую жену, и, примерно, только и детей, что дочь от той жены да от этой. Что, говорю, как помрет мужик этот, можно ли, я говорю, войти на вдову эту в двор чужому мужику? Можно, я говорю, этому мужику дочерей замуж отдать и самому во дворе остаться? Можно, говорит, да только надо, говорит, старанья тут много. С деньгами, говорит, можно это дело оборудовать, а без денег, говорит, и соваться нечего.

Никита (смеется).

Да уж это что говорить, только подавай им деньги-то. Денежки всем нужны.

Матрена.

Ну, ягодка, я и открылась ему во всех делах. Первым делом, говорит, надо твоему сыночку в ту деревню приписаться. На это денежки нужны, – стариков попоить. Они, значит, и руки приложат. Всё, говорит, надо с умом делать. Глянь-ка сюда (*достает из платка бумагу*). Вот и бумагу отписал, почитай-ка, ведь ты дошлый. (*Никита читает, Матрена слушает.*)

Никита.

Бумага, известно, приговор значит. Тут мудрости большой нет.

Матрена.

А ты слухай, что Иван Мосеич приказывал. Пуще всего, говорит, тетка, смотри, чтоб денежки не упустить. Не ухватит, говорит, она деньги, не дадут ей на себя зятя принять. Деньги, говорит, всему делу голова. Так мотри. Дело, сынок, доходит.

Никита.

Мне что? Деньги ее, она и хлопочи.

Матрена.

Эка ты, сынок, судишь! Разве баба может обдумать? Если что и возьмет она деньги, где ж ей обдумать, – бабье дело известно, а ты всё мужик. Ты, значит, можешь и спрятать и все такое. У тебя всё-таки ума больше, коли чего коснется.

Никита.

Эх! женское ваше понятие не обстоятельное совсем.

Матрена.

Как же необстоятельно! Ты заграбь денежки-то. Баба-то у тебя в руках будет. Если случаем и похрапывать начнет или что, ей укороу можно сделать.

Никита.

Ну вас совсем, пойду.

ЯВЛЕНИЕ XIX.

Никита, Матрена и Анисья (*выбегают бледная из избы за угол к Матрене*).

Анисья.

На нем и были. Вот они. (*Показывает под фартуком.*)

Матрена.

Давай Микитке, он схоронит. Микитка, бери, схорони куда.

Никита.

Что ж, давай.

Анисья.

О-ох, головушка, да уж я сама, что ли. (*Идет к воротам.*)

Матрена (*хватает ее за руку*).

Куда идешь? Хватятся, вон сестра идет, ему давай, он знает. Эка бестолковая!

Анисья (*останавливается в нерешительности*).

О, головушка!

Никита.

Что ж, давай, что ль, суну куда.

Анисья.

Куда сунешь-то?

Никита.

Аль робеешь? (*Смеется.*)

ЯВЛЕНИЕ XX.

Те же и Акулина (*идет с бельем*).

Анисья.

О-ох, головушка моя бедная! (*Отдает деньги.*) Микита,мотри.

Никита.

Чего боишься-то? Туда запхаю, что и сам не найду. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XXI.

Матрена, Анисья и Акулина.

Анисья (*стоит в испуге*).

О-ох! Что как он...

Матрена.

Что ж, помер?

Анисья.

Да помер никак. Я снимала, он и не почувял.

Матрена.

Иди в избу-то, вон Акулина идет.

Анисья.

Что ж, я нагрешила, а он да что с деньгами...

Матрена.

Буде, иди в избу, вот и Марфа идет.

Анисья.

Ну, поверила я ему. Что-то будет. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XXII.

Марфа, Акулина, Матрена.

Марфа (*идет с одной, Акулина с другой стороны. К Акулине*).

Я бы даве пришла, да к дочери пошла. Ну, что старик-от? Аль помирать хочет?

Акулина (*снимает белье*).

А кто его знает. Я на речке была.

Марфа (*указывая на Матрену*).

Эта чья ж?

Матрена.

А из Зуева, Микиты мать я, из Зуева, родимая. Здравствуйте. Изныл, изныл сердечный, братец-то. Сам выходил. Пошли мне, говорит, сестрицу, потому, говорит.... О! да уж не кончился ли?

ЯВЛЕНИЕ XXIII.

Те же и Анисья (*выбегает из избы с криком, хватается за столбик и начинает выть*).

О-о-о, и на кого-о-о и оставил и о-о-о и на ко-ого-о-о по-ки-нул о-о-о... вдовой горемычной... век вековать, закрыл ясны очи...

ЯВЛЕНИЕ XXIV.

Те же и кума (Кума и Матрена подхватывают ее под руки. Акулина и Марфа идут в избу. Народ приходит).

Один голос из народа.

Старух позвать, убирать надо.

Матрена (засучивает рукава).

Вода в чугуне-то есть, что ли? А то и в самоваре, я чай, есть. Не вылили. Потружусь и я.

Занавес.

—

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ.

ЛИЦА ТРЕТЬЕГО ДЕЙСТВИЯ.

Аким.

Никита.

Акулина.

Анисья.

Анютка.

Митрич – старик-работник, отставной солдат.

Кума Анисьи.

Изба Петра. Зима. После 2-го действия прошло 9 месяцев. Анисья ненарядная сидит за станом, ткет. Анютка на печи. Митрич, старик-работник.

ЯВЛЕНИЕ I.

Митрич (входит медленно, раздевается).

О, Господи помилуй! Что ж, не приезжал хозяин-то?

Анисья.

Чего?

Митрич.

Микита-то из города не бывал?

Анисья.

Нету.

Митрич.

Загулял, видно. О, Господи!

Анисья.

Убрался на гумне-то?

Митрич.

А то как же? Всё как надо убрал, соломкой прикрыл. Я не люблю как-нибудь. О, Господи! Микола милословый! (*Ковыряет мозоли.*) А то бы пора ему и быть.

Анисья.

Чего ему торопиться. Деньги есть, гуляет с девкой, я чай...

Митрич.

Деньги есть, так чего ж не гулять. Акулина-то почто в город поехала?

Анисья.

А ты спроси ее, зачем туда нелегкая понесла.

Митрич.

В город-то зачем? В городе всего много, только бы было на что. О, Господи!

Анютка.

Я, матушка, сама слышала. Полушальчик, говорит, тебе куплю, однова дыхнуть, куплю, говорит; сама, говорит, выберешь. И убралась она хорошо как: безрукавку плисовую надела и платок французский.

Анисья.

Уж и точно девичий стыд до порога, а переступила – и забыла. То-то бесстыжая!

Митрич.

Вона! Чего стыдиться-то? Деньги есть, так и гуляй. О, Господи! Ужинать-то рано, что ли? (*Анисья молчит.*) Пойти погреться пока что. (*Лезет на печь.*) О, Господи, Матерь пресвятая Богородица, Микола угодник!

ЯВЛЕНИЕ II.

Те же и кума.

Кума (*входит*).

Не ворочался, видно, твой-то?

Анисья.

Нету.

Кума.

Пора бы. В наш трактир не заехал ли. Сестра Фекла сказывала, матушка моя, стоят там саней много из города.

Анисья.

Анютка! а Анютка!

Анютка.

Чего?

Анисья.

Сбегай ты, донюшка, в трактир, посмотри, уж не туда ли он спяна заехал?

Анютка (спрыгивает с печи, одевается).

Сейчас.

Кума.

И Акулину с собой взял?

Анисья.

А то бы ехать не-зачем. Из-за нее дела нашлись. В банку, говорит, надо, получка вышла, а всё только она его путает.

Кума (качает головой).

Уж и что говорить. *(Молчание.)*

Анютка (в дверях).

А коли там, сказать что?

Анисья.

Ты посмотри только, там ли?

Анютка.

Ну что ж, я живо слетаю. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ III.

Анисья, Митрич и кума. (Долгое молчание.)

Митрич (рычит).

О, Господи, Микола милослевый.

Кума (вздрагивая).

Ох, напугал. Это кто ж?

Анисья.

Да Митрич, работник.

Кума.

Ох, натращал как! Я и забыла. А что, кума, сказывали, сватают Акулину-то.

Анисья (вылезает из-за стана к столу).

Посыкнулись было из Дедлова, да видно слушок-то есть и у них, посыкнулись было, да и молчок; так и запало дело. Кому же охота?

Кума.

А из Зуева-то Лизуновы?

Анисья.

Засылка была. Да тоже не сошлось. Он и к себе не примаёт.

Кума.

А отдавать бы надо.

Анисья.

Уж как надо-то. Не чаю, кума, как со двора спихнуть, да не паит дело-то. Ему неохота. Да и ей тоже. Не нагулялся, видишь, еще с красавой-то с своей.

Кума.

И-и-и! грехи. Чего вздумать нельзя. Вотчим ведь ей.

Анисья.

Эх, кума. Оплели меня, обули так ловко, что и сказать нельзя. Ничего-то я сдуру не примечала, ничего-то я не думала, так и замуж шла. Ничегохонько не угадывала, а у них согласие уж было.

Кума.

О-о, дело-то какое!

Анисья.

Дальше – больше, вижу от меня хорониться стали. Ах, кума, и уж тошно ж мне, тошно житье мое было. Добро б не любила я его.

Кума.

Да что уж и говорить.

Анисья.

И больно ж мне, кума, от него обиду такую терпеть. Ох, больно!

Кума.

Что ж, сказывают и на руку ерзок стал?

Анисья.

Всего есть. Бывало, во хмелю смирен был. Зашибал он и допрежде того, да всё, бывало, хороша я ему была, а нынче как надуется, так и лезет на меня, стоптать ногами хочет. Намедни в косы руками увяз, насилиу вырвалась. А уж девка хуже змеи, и как только таких злющих земля родит.

Кума.

О-о-о! Кума, болезная ж ты, погляжу я на тебя! Каково ж терпеть; нищего приняла, да он над тобой так измываться будет. Ты что ж ему укороту не сделаешь?

Анисья.

Ох, кумушка милая! С сердцем своим что сделаю. Покойник на что строг был, а всё ж я как хотела, так и вертела, а тут не могу, кумушка. Как увижу его, так и сердце всё сойдет. Нет у меня против него и смелости никакой. Хожу перед ним как куренок мокрый.

Кума.

О-о, кума! Да это, видно, сделано над тобой что. Матрена-то, сказывают, этими делами занимается. Должно, она.

Анисья.

Да уж я и сама, кума, думаю. Ведь как обидно другой раз. Кажется, разорвала б его. А увижу его, – нет, не поднимается на него сердце.

Кума.

Видимое дело, напущено. Долго ль, матушка моя, испортить человека. То-то погляжу я на тебя, куда что делось.

Анисья.

Вовсе в лутошку ноги сошлись. А на дуру-то, на Акулину, погляди. Ведь растрепана девка, нехалаявая, а теперь погляди-ка. Откуда что взялось. Да нарядил он ее. Расфуфырилась, раздулась, как пузырь на воде. Тоже, даром что дура, забрала себе в голову: я, говорит, хозяйка. Дом мой. Батюшка на мне его и женить хотел. А уж зла, Боже упаси. Разозлится, с крыши солому рвет.

Кума.

О-ох, жите твое, кума, погляжу. Завидуют тоже люди. Богаты, говорят. Да видно, матушка моя, и через золото слезы льются.

Анисья.

Есть чему завидовать. Да и богатство-то всё так прахом пройдет. Мотает денежки, страсть.

Кума.

Да что ж ты, кума, больно просто пустила? Деньги твои.

Анисья.

Кабы ты всё знала. А то сделала я промашку одну.

Кума.

Я бы, кума, на твоём месте прямо до начальника до большого дошла. Деньги твои. Как же он может мотать? Таких прав нет.

Анисья.

На это нынче не взирают.

Кума.

Эх, кума, посмотрю я на тебя. Ослабла ты.

Анисья.

Ослабла, милая, совсем ослабла. Замотал он меня. И сама ничего не знаю. О-о, головушка моя бедная!

Кума.

Никак идет кто? (*Прислушивается. Отворяется дверь, и входит Аким.*)

ЯВЛЕНИЕ IV.

Те же и Аким.

Аким (*крестится, обивает лапти и раздевается*).

Мир дому сему. Здорово живете? Здорово, тетинька.

Анисья.

Здорово, батюшка. Из двора, что ль? Проходи, раздевайся.

Аким.

Думал, тае, дай, значит, схожу, тае, к сынку, к сынку пройду. Не рано пошел, пообедал, значит, пошел; ан снежно как, тае, тяжело, итти, тяжело, вот и, тае, запоздал, значит. А сынок дома? Дома сынок то есть?

Анисья.

Нетути; в городе.

Аким (*садится на лавку*).

Дельце до него, то есть, тае, дельце. Сказывал, значит, ему наместни, тае, значит, об нужде сказывал, лошаденка извелась, значит, лошаденка-то. Объегорить, тае, надоть, лошаденку-то какую ни на есть, лошаденку-то. Вот и, тае, пришел, значит.

Анисья.

Сказывал Микита. Приедет, потолкуете. *(Встает к печи.)* Поужинай, а он подьедет. Митрич, иди ужинать, а Митрич?

Митрич *(рычит, просыпается)*.

Чего?

Анисья.

Ужинать.

Митрич.

О, Господи, Микола милослевый!

Анисья.

Иди ужинать.

Кума.

Я пойду. Прощайте. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ V.

Аким, Анисья и Митрич.

Митрич *(слезает)*.

И не видал, как заснул. О, Господи, Микола угодник! Здорово, дядя Аким.

Аким.

Э! Митрич! Ты что же, значит, тае?

Митрич.

Да вот в работниках, у Никиты, у сына у твоего, живу.

Аким.

Ишь ты! Значит, тае, в работниках у сына-то. Ишь ты!

Митрич.

То в городе жил у купца, да пропился там. Вот и пришел в деревню. Причалу у меня нет, ну и нанялся. *(Зевает.)* О, Господи!

Аким.

Что ж, тае, али, тае, Микишка-то что делает? Дело, значит, еще какое, что работника, значит, тае, работника нанял?

Анисья.

Какое ему дело? То управлялся сам, а нынче не то на уме, вот и работника взял.

Митрич.

Деньги есть, так что ж ему...

Аким.

Это, тае, напрасно. Вот ото совсем, тае, напрасно. Напрасно это. Баловство, значит.

Анисья.

Да уж избаловался, избаловался, что и беда.

Аким.

То-то, тае, думается, как бы получше, тае, а оно, значит, хуже. В богатстве-то избалуется человек, избалуется.

Митрич.

С жиру-то и собака бесится. С жиру как не избаловаться! Я вон с жиру-то как крутил. Три недели пил без просыпу. Последние портки пропил. Не на что больше, ну и бросил. Теперь зарекся. Ну ее.

Аким.

А старуха-то, значит, твоя где же?..

Митрич.

Старуха, брат, моя к своему месту пристроена. В городе по кабакам сидит. Щеголиха тоже – один глаз выдран, другой подбит, и морда на сторону сворочена. А тверезая, в рот ей пирога с горохом, никогда не бывает.

Аким.

О-о! Что же это?!

Митрич.

А куда же солдатской жене место? К делу своему пределена.

(Молчание.)

Аким (к Анисье).

Что ж Никита-то в город, тае, повез что, продавать, значит, повез что?

Анисья (накрывает на стол и подает).

Порожнем поехал. За деньгами поехал, в банке деньги брать.

Аким (ужинает).

Что ж вы их, тае, деньги-то куда еще поделить хотите деньги-то?

Анисья.

Нет, мы не трогаем. Только 20 или 30 рублей; вышло, так взять надо.

Аким.

Взять надо? Что ж их брать-то, тае, деньги-то? Нынче, значит, тае, возьмешь, завтра, значит, возьмешь, – так все их и, тае, переберешь, значит.

Анисья.

Это окромя получай. А деньги все целы.

Аким.

Целы? Как же, тае, целы? Ты бери их, а они, тае, целы. Как же, насыпь, ты, тае, муки, значит, и всё, тае, в рундук, тае, или амбар, да и бери ты оттуда муку-то, – что ж она, тае, цела будет? Это, значит, не тае. Обманывают они. Ты это дознайся, а то обманут они. Как же целы? Ты, тае, бери, а они целы.

Анисья.

Уж я и не знаю. Нам тогда Иван Мосеич присудил. Положите, говорит, деньги в байку – и деньги целее, и процент получать будете.

Митрич (кончил есть).

Это верно. Я у купца жил. У них всё так. Положи деньги да и лежи на печи, получай.

Аким.

Чудно, тае, говоришь ты. Как же, тае, получай, ты, тае, получай, а им, значит, тае, с кого же, тае, получать-то? Деньги-то?

Анисья.

Из банки деньги дают.

Митрич.

Это что? Баба, она раздробить не может. А ты гляди сюда, я тебе все толки найду. Ты помни. У тебя, примерно, деньги есть, а у меня, примерно, весна пришла, земля пустует, сеять нечем, али податишки, что ли. Вот я, значит, прихожу к тебе. Аким, говорю, дай красенькую, а я уберусь с поля, тебе к Покрову отдам да десятину уберу за уваженье. Ты, примерно, видишь, что у меня есть с чего потянуть: лошаденка ли, коровенка, ты и говоришь: два ли, три ли рубля отдай за уваженье, да и всё. У меня осел на шее, нельзя обойтись. Ладно, говорю, беру десятку. Осенью переверт делаю, приношу, а три рубля ты окроме с меня лупишь.

Аким.

Да ведь это, значит, тае, мужики кривье как-то, тае, делают, коля кто, тае, Бога забыл, значит. Это, значит, не к тому.

Митрич.

Ты погоди. Она сейчас к тому же натрафит. Ты помни. Теперича, значит, ты так-то сделал, ободрал меня, значит, а у Анисьи деньги, примерно, залежные. Ей девать некуда, да и бабье дело – не знает, куда их пределить. Приходит она к тебе; нельзя ли, говорит, и на мои деньги пользу сделать. Что ж, можно, говоришь. Вот ты и ждешь. Прихожу я опять на лето.

Дай, говорю, опять красненькую, а я с уважением.... Вот ты и смекаешь: коли шкура на мне еще не ворочена, еще содрать можно, ты и даешь Анисьины деньги. А коли, примерно, нет у меня ни шиша, жрать нечего, ты, значит, разметку делаешь, видишь, что содрать нечего, сейчас и говоришь: ступай, брат, к Богу, а изыскиваешь какого другого, опять даешь и свои и Анисьины пределяешь, того обдираешь. Вот это и значит самая банка. Так она кругом и идет. Штука, брат, умственная.

Аким (разгорячась).

Да это что ж? Это, тае, значит, скверность. Это мужики, тае, делают так, мужики и то, значит, за грех, тае, почитают. Это, тае, не по закону, не по закону, значит. Скверность это. Как же ученые-то, тае...

Митрич.

Это, брат, у них самое любезное дело. А ты помни. Вот кто поглупей, али баба, да не может сам деньги в дело произвести, он и несет в банку, а они, в рот им ситного пирога с горохом, цапают да этими денежками и облупляют народ-то. Штука умственная!

Аким (вздыхая).

Эх, посмотрю я, тае, и без денег, тае, горе, а с деньгами, тае, вдвое. Как же так. Бог трудиться велел. А ты, значит, тае, положил в банку деньги, да и спи, а деньги тебя, значит, тае, поваля кормить будут. Скверность это, значит, не по закону это.

Митрич.

Не по закону? Это, брат, нынче не разбирают. А как еще околузывают-то дочиста. То-то и дело-то.

Аким (вздыхает).

Да уж, видно, время, тае, подходит. Тоже сортиры, значит, тае, посмотрел я в городе. Как дошли то есть. Выглажено, выглажено, значит, нарядно. Как трактир исделано. А ни к чему. Всё ни к чему. Ох, Бога забыли. Забыли, значит. Забыли, забыли мы Бога-то, Бога-то. Спасибо, родная, сыт, доволен.

(Вылезают из-за стола; Митрич лезет на печь.)

Анисья (убирает посуду и ест).

Хоть бы отец усовестил, да и сказывать-то стыдно.

Аким.

Чего?

Анисья.

Так, про себя.

ЯВЛЕНИЕ VI.

Те же и Анютка.

(Анютка входит.)

Аким.

А! умница. Всё хлопчешь! Перезябла, я чай?

Анютка.

И то озябла страсть. Здорово, дедушка.

Анисья.

Ну, что? Тама?

Анютка.

Нету. Только Андриян там из города, сказывал, видел их еще в городе, в трактире. Батя, говорит, пьяный-распьяный.

Анисья.

Есть хочешь, что ли? На вот.

Анютка (идет к печи).

Уж и холодно же. И руки зашлись.

(Аким разувается, Анисья перемывает ложки.)

Анисья.

Батюшка!

Аким.

Чего скажешь?

Анисья.

Что ж, Маришка-то хорошо живет?

Аким.

Ничаво. Живет. Бабочка, тае, умная, смирная, живет, значит, тае, старается. Ничаво. Бабочка, значит, истовая, и всё, тае, старательная и, тае, покорлива. Бабочка, значит, ничаво, значит.

Анисья.

А что, сказывали, с вашей деревни, Маринкиному мужу родня, нашу Акулину сватать хотели. Что, не слышать?

Аким.

Это Мироновы? Болтали бабы чтой-то. Да невдомек, значит. Притаманно, значит, не знаю, тае. Старухи что-то сказывали. Да не памятьлив я, не памятьлив, значит. А что ж, Мироновы, тае, мужики, значит, тае, ничего.

Анисья.

Уж не чаю, как просватать бы поскорее.

Аким.

А что?

Анютка (прислушивается).

Приехали.

ЯВЛЕНИЕ VII.

Те же и Никита.

(Входит Никита пьяный с мешком и узлом под мышкой и с покупками в бумаге, открывает дверь и останавливается.)

Анисья.

Ну, не замай их. *(Продолжает мыть ложки и не поворачивает головы, когда открывается дверь.)*

Никита.

Анисья, жена! Кто приехал?

(Анисья взглядывает и отворачивается. Молчит.)

Никита (грозно).

Кто приехал? Аль забыла?

Анисья.

Будет форсить-то. Иди.

Никита (еще грознее).

Кто приехал?

Анисья (подходит к нему и берет за руку).

Ну, муж приехал. Иди в избу-то.

Никита (упирается).

То-то, муж. А как звать мужа-то? Говори правильно.

Анисья.

Да ну тебя – Микитой.

Никита.

То-то! Невежа – по отчеству говори.

Анисья.

Акимыч. Ну!

Никита (всё в дверях).

То-то. Нет, ты скажи, фамилия как?

Анисья (смеется и тянет за руку).

Чиликин. Эка надулся!

Никита.

То-то. (*Удерживается за косяк.*) Нет, ты скажи, какой ногой Чиликин в избу ступает?

Анисья.

Ну, буде – настудишь.

Никита.

Говори, какой ногой ступает? Обязательно сказать должна.

Анисья (про себя).

Надоест теперь. Ну, левой. Иди, что ль.

Никита.

То-то.

Анисья.

Ты глянь-ка, в избе-то кто.

Никита.

Родитель? Что ж, я родителем не гнушаюсь. Родителю могу уважение исделать. Здорово, батюшка. *(Кланяется ему и подает руку.)* Наше вам почтение.

Аким *(не отвечая)*.

Вино-то, вино-то, значит, что делает. Скверность!

Никита.

Вино? Что выпил? Это окончательно виноват, выпил с приятелем, проздравил.

Анисья.

Иди ложись, что ль.

Никита.

Жена, где я стою, говори.

Анисья.

Ну, ладно, иди ложись.

Никита.

Я еще самовар с родителем пить буду. Ставь самовар. Акулина, иди, что ль.

ЯВЛЕНИЕ VIII.

Те же и Акулина.

Акулина *(нарядная, идет с покупками. К Никите)*.

Ты что ж всё расшвырял? Пряжа-то где?

Никита.

Пряжа? Пряжа там. Эй, Митрич! Где ты там? Заснул? Иди лошадь убери.

Аким (не видит Акулины и глядит на сына).

Что делает-то! Старик, значит, тае, уморился, значит, молотил, а он, тае, надулся. Лошадь уברי. Тьфу! Скверность!

Митрич (слезает с печи, обувает валенки).

О, Господи милословый! На дворе лошадь-то, что ль? Уморил, я чай. Ишь, дуй его горой, налокался как. Доверху. О, Господи! Микола угодник. *(Надевает шубу и идет на двор.)*

Никита (садится).

Ты меня, батюшка, прости. Выпил, это точно, ну, что ж делать? И курица пьет. Так, что ль? А ты меня прости. Что ж, Митрич – он не обижается, он уберет.

Анисья.

Вправду ставить самовар-то?

Никита.

Ставь. Родитель пришел, я с ним говорить хочу, чай пить буду. *(К Акулине.)* Покупку-то всю вынесла?

Акулина.

Покупку? Свое взяла, а то в саях. Вот это на, не моя. *(Кидает на стол сверток и убирает в сундук покупку. Анютка смотрит, как Акулина укладывает; Аким не глядит на сына и убирает онучи и лапти на печь.)*

Анисья (уходит с самоваром).

И так полон сундук, – еще накупил.

ЯВЛЕНИЕ IX.

Аким, Акулина, Анютка и Никита.

Никита (берет на себя трезвый вид).

Ты, батюшка, на меня не обижайся. Ты думаешь, я пьян. Я положительно всё могу. Потому пей, да ума не теряй. Я с тобой, батюшка, сейчас разговаривать могу. Все дела помню. Насчет денег приказывал, лошаденка извелась – помню. Это всё возможно. Это всё у нас в

руках. Если бы сумма денег требовалась огромная, тогда можно бы повременить, а то это всё могу! Вот они!

Аким (*продолжает возиться с оборками*).

Эх, малый, тае, значит, вешний путь, тае, не дорога...

Никита.

Это ты к чему? С пьяным речь не беседа? Да ты не сумлевайся. Чайку попьем. А я всё могу, положительно все дела исправить могу.

Аким (*качает головой*).

Э, эх-хе-хе!

Никита.

Деньги, вот они. (*Лезет в карман, достает бумажник, вертит бумажки, достает десятирублевую.*) Бери на лошадь. Бери на лошадь, я родителя не могу забыть. Обязательно не оставлю. Потому родитель. На, бери. Очень просто. Не жалею.

(Подходит и сует Акиму деньги. Аким не берет денег.)

Никита (*хватает за руку*).

Бери, говорят, когда даю, я не жалею.

Аким.

Не могу, значит, тае, брать и не могу, тае, говорить с тобой, значит. Потому в тебе, тае, образа нет, значит.

Никита.

Не пуцу. Бери. (*Сует Акиму в руку деньги.*)

ЯВЛЕНИЕ X.

Те же и Анисья.

Анисья (*входит и останавливается*).

Да ты уж возьми. Ведь не отстанет.

Аким (*берет, качая головой*).

Эх, вино-то! Не человек, значит...

Никита.

Вот так-то лучше. Отдашь — отдать, а не отдашь — Бог с тобой. Я вот как! (*Видит Акулину.*) Акулина, покажь гостинцы-то.

Акулина.

Чего?

Никита.

Покажь гостинцы.

Акулина.

Гостинцы-то? Что их показывать. Я уж убрала.

Никита.

Достань, говорю: Анютке поглядеть лестно. Покажь, говорю, Анютке. Полушальчик-то развяжи. Подай сюда.

Аким.

О-ох, смотреть тошно! (*Лезет на печь.*)

Акулина (*достает и кладет на стол*).

Ну на, что их смотреть-то?

Анютка.

Уж хороша же! Эта не хуже Степанидиной.

Акулина.

Степанидиной? Куда Степанидина против этой годится. *(Оживляясь и развертывая.)*
Глянь-ка сюда, доброта-то... Французская.

Анютка.

И ситец же нарядный! У Машутки такой, только тот светлее, по лазоревому полю. Эта страсть хороша.

Никита.

То-то!

(Анисья проходит сердито в чулан, возвращается с трубой и столешником и подходит к столу.)

Анисья.

Ну вас, разложили.

Никита.

Ты глянь-ка сюда!

Анисья.

Чего мне глядеть! Не видала я, что ль? Убери ты. *(Смахивает рукой на пол полушальчик.)*

Акулина.

Ты что швыряешься?.. Ты своим швыряй. *(Поднимает.)*

Никита.

Анисья! Мотри!

Анисья.

Чего смотреть-то?

Никита.

Ты думаешь, я тебя забыл. Гляди сюда. *(Показывает сверток и садится на него.)* Тебе гостинец. Только заслужи. Жена, где я сижу?

Анисья.

Будет куражиться-то. Не боюсь я тебя. Что ж, ты на чьи деньги гуляешь да своей жирехе гостинцы купляешь? На мои.

Акулина.

Как же, твои! Украсть хотела, да не пришлось. Уйди, ты! *(Хочет пройти, толкает.)*

Анисья.

Ты что толкаешься-то? Я те толкану.

Акулина.

Толкану? Ну-ка, сунься. *(Напирает на нее.)*

Никита.

Ну, бабы, бабы. Буде! *(Становится между ними.)*

Акулина.

Тоже лезет. Молчала бы, про себя бы знала. Ты думаешь, не знают?

Анисья.

Что знают? Сказывай, сказывай, что знают!

Акулина.

Дело про тебя знаю.

Анисья.

Шлюха ты, с чужим мужем живешь.

Акулина.

А ты своего извела.

Анисья (*бросается на Акулину*).

Брешешь.

Никита (*удерживает*).

Анисья! Забыла?

Анисья.

Что страшась? Не боюсь я тебя.

Никита.

Вон! (*Поворачивает Анисью и выталкивает.*)

Анисья.

Куда я пойду? Не пойду я из своего дома.

Никита.

Вон, говорю. И ходить не смей.

Анисья.

Не пойду. (*Никита толкает. Анисья плачет, и кричит, цепляясь за дверь.*) Что ж это, из своего дома взашей гонят? Что ж ты, злодей, делаешь? Думаешь, на тебя и суда нет. Погоди ж ты!

Никита.

Ну, ну!

Анисья.

К старосте, к уряднику пойду.

Никита.

Вон! говорю. (*Выталкивает.*)

Анисья (*из-за двери*).

Удавлюсь!

ЯВЛЕНИЕ XI.

Никита, Акулина, Анютка и Аким.

Никита.

Небось.

Анютка.

О-о-о! Матушка милая, родимая. *(Плачет.)*

Никита.

Как же, испугался я ее очень. Ты чего плачешь? Придет небось! Поди самовар погляди.
(Анютка выходит.)

ЯВЛЕНИЕ XII.

Никита, Аким и Акулина.

Акулина *(собирает попку, складывает).*

Ишь, подлая, загваздала как! Погоди ж ты, я ей безрукавку изрежу. Пра, изрежу.

Никита.

Выгнал я ее, ну чего ж ты?

Акулина.

Новую шаль испачкала. Пра, сука, кабы она не ушла, я бельмы-то бы ей повыдрала.

Никита.

Будет серчать. Тебе что серчать-то? Кабы я ее любил?

Акулина.

Любил? Есть кого любить, толстомордую-то. Бросил бы ее тогда, ничего б не было. Согнал бы ее к чорту. А дом все равно мой и деньги мои. Тоже хозяйка, говорит, хозяйка, какая она мужу хозяйка? Душегубка она, вот кто. С тобой то же сделает.

Никита.

Ох, бабий кадык не заткнешь ничем. Что болтаешь, сама не знаешь.

Акулина.

Нет, знаю. Не стану с ней жить. Сгоню со двора. Не может она со мной жить. Хозяйка тоже. Не хозяйка она, острожная шкура.

Никита.

Да буде. Чего тебе с ней делить? Ты на нее не гляди. На меня гляди. Я хозяин. Что хочу, то и делаю. Ее разлюбил, тебя полюбил. Кого хочу, того люблю. Моя власть. А ей арест. Она у меня вот где. (*Показывает под ноги.*) Эх, гармошки нет!

На печи калачи,
На приступке каша,
А мы жить будем
И гулять будем;
А смерть придет,
Помирать будем.
На печи калачи,
На приступке каша...

ЯВЛЕНИЕ XIII.

Те же и Митрич (*входит, раздевается и лезет на печь*).

Митрич.

Подрались, видно, опять бабы-то! Поцапались. О, Господи! Микола милослевый.

Аким (*сидит с краю на печи, достает онучи, лапти и обувается*).

Пролезай, пролезай в угол-то.

Митрич (*лезет*).

Все не разделят, видно. О, Господи!

Никита.

Достань наливку-то. С чаем выпьем.

ЯВЛЕНИЕ XIV.

Те же и Анютка.

Анютка (*входит; к Акулине*).

Нянька, самовар уходить хочет.

Никита.

А мать где?

Анютка.

Она в сенцах стоит, плачет.

Никита.

То-то. Зови ее, вели самовар несть. Да давай, Акулина, посуду-то.

Акулина.

Посуду-то? Ну что ж. (*Собирает посуду.*)

Никита (*достает наливку, баранки, селедки*).

Это, значит, себе, это бабе пряжа, карасин там в сенях. А вот и деньги. Постой. (*Берет счеты.*) Сейчас смекну. (*Кидает.*) Мука пшеничная восемь гривен, масло постное... Батюшке 10 рублей. Батюшка! Иди чай пить. (*Молчание. Аким сидит на печи и перевивает оборы.*)

ЯВЛЕНИЕ XV.

Те же и Анисья.

Анисья (*вносит самовар*).

Куда ставить-то?

Никита.

Ставь на стол. Что, али сходила к старосте? То-то, говори да и откусывай. Ну, будет серчать-то. Садись, пей. (*Наливает ей рюмку.*) А вот и гостинчик тебе. (*Подает сверток, на котором сидел. Анисья берет молча, качая головой.*)

Аким (*слезает и надевает шубу; подходит к столу, кладет на него бумажку*).

На деньги твои. Прибери.

Никита (*не видит бумажку*).

Куда собрался одемши-то?

Аким.

А пойду, пойду я, значит, простите Христа ради. (*Берет шапку и кушак.*)

Никита.

Вот-те на! Куда пойдешь-то ночным делом?

Аким.

Не могу я, значит, тае, в вашем доме, тае, не могу, значит, быть, быть не могу, простите.

Никита.

Да куда ж ты от чаю-то?

Аким (*подпоясывается*).

Уйду, потому, значит, нехорошо, у тебя, значит, тае, нехорошо, Микишка, в доме, тае, нехорошо. Значит, плохо ты живешь, Микишка, плохо. Уйду я.

Никита.

Ну, буде толковать. Садись чай пить.

Анисья.

Что ж это, батюшка, перед людьми стыдно будет. На что ж ты обижаешься?

Аким.

Обиды мне, тае, никакой нет, обиды нет, значит, а только что, тае, вижу я, значит, что к погибели, значит, сын мой, к погибели сын, значит.

Никита.

Да какая погибель? Ты докажь.

Аким.

Погибель-то, погибель, весь ты в погибели. Я тебе летось что говорил?

Никита.

Да мало ты что говорил.

Аким.

Говорил я тебе, тае, про сироту, что обидел ты сироту, Марину, значит, обидел.

Никита.

Эк помянул. Про старые дрожжи не поминать двжды, то дело прошло...

Аким (разгорячась).

Прошло? Не, брат, это не прошло. Грех, значит, за грех цепляет, за собою тянет, и завяз ты, Микишка, в грехе. Завяз ты, смотрю, в грехе. Завяз ты, погруз ты, значит.

Никита.

Садись чай пить, вот и разговор весь.

Аким.

Не могу я, значит, тае, чай пить. Потому от скверны от твоей, значит, тае, гнусно мне, дюже гнусно. Не могу я, тае, с тобой чай пить.

Никита.

И, канителит. Иди к столу-то.

Аким.

Ты в богатстве, тае, как в сетях. В сетях ты, значит. Ах, Микишка, душа надобна!

Никита.

Какую ты имеешь полную праву в моем доме меня упрекать? Да что ж ты в самом деле пристал? Что я тебе мальчик дался, за виски драть! Нынче уж это оставили.

Аким.

Это точно, слышал я нынче, что и тае, что и отцов за бороды трясут, значит, да на погибель это, на погибель, значит.

Никита (сердито).

Живем, у тебя не просим, а ты ж к нам пришел с нуждой.

Аким.

Деньги? Деньги твои вон они. Побираться, значит, пойду, а не тае, не возьму, значит.

Никита.

Да буде. И что серчаешь, кампанию расстраиваешь. *(Удерживает за руку.)*

Аким (взвизгивает).

Пусти, не останусь. Лучше под забором переночую, чем в пакости в твоей. Тьфу, прости Господи! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ XVI.

Никита, Акулина, Анисья и Митрич.

Никита.

Вот на!

ЯВЛЕНИЕ XVII.

Те же и Аким.

Аким (*отворяет дверь*).

Опамятуйся, Микита. Душа надобна. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XVIII.

Никита, Акулина, Анисья и Митрич.

Акулина (*берет чашки*).

Что ж, наливать, что ль?

(*Все молчат.*)

Митрич (*рычит*).

О, Господи, помилуй мя грешного!

(*Все вздрагивают.*)

Никита (*ложится на лавку*).

Ох, скучно, скучно, Акулька! Где ж гармошка-то?

Акулина.

Гармошка-то? Ишь, хватился. Да ты ее чинить отдал. Я налила, пей.

Никита.

Не хочу я. Тушите свет... Ох, скучно мне, как скучно! *(Плачет.)*

Занавес.

—

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

ЛИЦА ЧЕТВЕРТОГО ДЕЙСТВИЯ.

Никита.

Матрена.

Анисья.

Анютка.

Митрич.

Соседка.

Кума.

Сват – угрюмый мужик.

Осень. Вечер. Месяц светит. Внутренность двора. В середине сенцы, направо теплая изба и ворота, налево холодная изба и погреб. В избе слышны говор и пьяные крики. Соседка выходит из сеней, манит к себе Анисью куму.

ЯВЛЕНИЕ I.

Кума и соседка.

Соседка.

Чего ж Акулина-то не вышла?

Кума.

Чего не вышла? И рада бы вышла, да недосуг, слышь. Приехали сваты невесту смотреть, а она, матушка моя, в холодной лежит и глаз не кажет, сердечная.

Соседка.

Да что ж так?

Кума.

С глазу, говорит, живот схватило.

Соседка.

Да неужто?!

Кума.

А то что ж. (*Шепчет на ухо.*)

Соседка.

Ну? Вот грех-то. А ведь дознаются сваты.

Кума.

Где ж им дознаться. Пьяные все. Да больше за приданым гонятся. Легко ли, дают за девкой-то две шубы, матушка моя, расстегаев шесть, шаль французскую, холстов тоже много что-то да денег, сказывали, две сотни.

Соседка.

Ну, уж это и деньгам не рад будешь. Срамота такая.

Кума.

Шш... Сват никак.

(Замолкают и входят в сени.)

ЯВЛЕНИЕ II.

Сват *(один выходит из сеней, икает).*

Сват.

Упарился. Жарко страсть. Простудиться маленько. *(Стоит, отдувается.)* И Бог е знает как... что-то не того, не радуется... Ну, да как старуха...

ЯВЛЕНИЕ III.

Сват и Матрена.

Матрена *(выходит из сеней же).*

А я смотрю: где сват, где сват? А ты, родной, во где... Ну, что ж, родимый, слава те Господи, всё честь честью. Сватать не хвастать. А я хвастать и не училась. А как пришли вы за добрым делом, так, даст Бог, и век благодарить будете. А невеста-то, ведашь, на редкость. Такой девки в округе поискать.

Сват.

Оно так, да на счет денег не сморгать бы.

Матрена.

А насчет денег не толкуй. Что ей от родителей награждение было, всё при ней. По нынешнему времени, легко ли, три полста.

Сват.

Мы и не обижаемся, а свое детище. Всё как получше хочется.

Матрена.

Я тебе, сват, истинно говорю: кабы не я, в жисть бы тебе не найти. У них от Кормилиных тоже засылка была, уж я застояла. А насчет денег – верно сказываю: как покойник, царство небесное, помирал, так и приказывал, чтоб в дом вдова Микиту приняла, потому мне через

сына всё известно, а денежки, значит, Акулине. Ведь другой бы покорыствовался, а Микита всё дочиста отдает. Легко ли, деньжищи какие.

Сват.

Народ болтает, денег больше за ней приказано. Малый-то тоже провор.

Матрена.

И, голубчики белые. В чужих руках ломоть велик; что было, то и дают. Я тебе сказываю, ты все четки брось. Закрепляй тверже. Девка-то какая; как бобочек хорошая.

Сват.

Оно так. Мы одно с бабой мекаем насчет девки-то. Что ж не вышла? Думаем, что ж как хворая?

Матрена.

И, и... Она-то хворая? Да против ней в округе нет. Девка как литая – не ущипнешь. Да ведь ты намедни видел. А работать страсть. С глушинкой она, это точно. Ну, да червоточинка красному яблочку не покор. А что не вышла-то, это, ведашь, с глазу. Сделано над ней. И знаю, чья сука смастерила. Знали, ведашь, что сговор, ну, и напущено. Да я отговор знаю. Завтра встанет девка. Ты насчет девки не сумлевайся.

Сват.

Да что ж, дело полагено.

Матрена.

То-то, ты уж того, и не пяться. Да меня не забудь.хлопотала я тоже. Уж ты не оставь...

Голос Бабы из сеней.

Ехать, так ехать, иди, что ли, Иван.

Сват.

Сейчас. (*Уходит.*)

(Толются в сенях, уезжают.)

ЯВЛЕНИЕ IV.

Анисья и Анютка.

Анютка *(выбегает из сеней и манит к себе Анисью).*

Мамушка!

Анисья *(оттуда).*

Чего?

Анютка.

Мамушка, подь сюда, а то услышат. *(Отходит с ней под сарай.)*

Анисья.

Ну чего? Где Акулина-то?

Анютка.

Она в амбар ушла. Что она там делает, страсть! Одна дыхнуть, нет, говорит, мочи терпеть. Закричу, говорит, на весь голос. Одна дыхнуть.

Анисья.

Авось подождет. Дай гостей проводим.

Анютка.

Ох мамушка! Тяжко ей как. Да и серчает. Напрасно, говорит, они меня пропивают. Я, говорит, не пойду замуж, я, говорит, помру. Мамушка, как бы она не померла! Страсть, я боюсь!

Анисья.

Небось, не помрет; а ты не ходи к ней. Иди.

(Анисья и Анютка уходят.)

ЯВЛЕНИЕ V.

Митрич *(один; идет от ворот и принимается подбирать натрушенное сено).*

О, Господи, Микола милословый! Винища-то что выдули. Да и духу же напустили. Аж во дворе воняет. Да нет, не хочу, ну его! Вишь, нашвыряли сено-то! Есть не едят – только копают. Глядишь, вязанка. Дух-то! Ровно под носом. Ну его! *(Зевает.)* Спать время. Да неохота в избу итти. Так вокруг носу и вьется. Духовита ж, проклятая. *(Слышно – уезжают.)* Ну, уехали. О, Господи, Микола милословый! Тоже хомутаются, друг дружку околпачивают. А пустое всё.

ЯВЛЕНИЕ VI.

Митрич и Никита.

Никита *(входит).*

Митрич! иди, что ли, на печку, я подберу.

Митрич.

Ну что ж; ты овцам кинь. Что ж, проводили?

Никита.

Проводили, да неладно все. Уж и не знаю, как быть.

Митрич.

Эка дерьма! Чего ж тут. На то спитательный. Там кто хошь его вырони, он всё подберет. Давай сколько хошь, не спрашивают. Да еще деньги дают. Только поди в кормилицы. Нынче это просто.

Никита.

Ты, Митрич, мотри, если что, лишнего не болтай.

Митрич.

А мне что. Заметай след, как знаешь. Эка винищем от тебя разит как. Пойти в избу.
(*Уходит зевая.*) О, Господи!

ЯВЛЕНИЕ VII.

Никита (*долго молчит; садится на сани*).

Никита.

Ну, дела!

ЯВЛЕНИЕ VIII.

Никита и Анисья.

Анисья (*выходит*).

Ты где ж тут?

Никита.

Здесь.

Анисья.

Чего сидишь? Ждать неколи. Сейчас выносить надо.

Никита.

Что ж делать будем?

Анисья.

Я тебе сказывала что. То и делай.

Никита.

Да вы бы в воспитательный, коли что.

Анисья.

Возьми да и носи, коли тебе охота. На пакости-то лаком. А на разделку-то слаб, вижу.

Никита.

Что делать-то?

Анисья.

Говорю, поди в погреб, яму вырой.

Никита.

Да вы бы так как-нибудь.

Анисья (передразнивая его).

Так как-нибудь. Нельзя, видно, так-то. А ты бы загодя думал. Иди куда посылают.

Никита.

Ах, дела, дела!

ЯВЛЕНИЕ IX.

Те же и Анютка.

Анютка.

Мамушка! Бабка зовет. Должно, у няньки робеночек, одна дыхнуть, закричал.

Анисья.

Что брешешь, пралик тебя расшиби. Котята там пищат. Иди в избу да спи. А то я тебя.

Анютка.

Мамушка, милая, пра, ей-Богу...

Анисья (замахивается на нее).

Я тебя! Чтоб духу твоего не слыхала!

(Анютка убегает.)

Анисья *(Никите).*

Поди, делай, что говорят. А то смотри! *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ X.

Никита *(один, долго молчит).*

Никита.

Ну, дела! Ох, эти бабы. Беда! Ты, говорит, загодя думал бы. Когда загодя думать-то? Когда думать-то? Что ж, летось пристала эта Анисья. Ну, что ж? Разве я монах? Помер хозяин, что ж, я и грех прикрыл, как должно. Тут моей причины нет. Разве мало бывает так-то? А тут порошки эти. Разве я на это склонял ее? Да кабы я знал, я бы ее, суку, убил тогда! Право, убил бы! Участником в этих пакостях сделала, паскудница! И опостылела ж она мне с этого раза. Как мне мать сказала тогда, опостылела, опостылела она мне, не смотрели б на нее глаза. Ну, как с ней жить? И пошло это у нас!.. Стала эта девка вешаться. Что ж мне? Не я, так другой. А оно вон что! Опять-таки моей причины нет никакой. Ох, дела!.. *(Сидит задумавшись.)* Смелы ж эти бабы, – что придумали. Да не пойду я на это.

ЯВЛЕНИЕ XI.

Никита и Матрена *(с фонарем и скребкой впопыхах выходит).*

Матрена.

Ты что ж сидишь, как курица на насесте? Тебе что баба велела? Готовь дело-то.

Никита.

Да вы что ж делать-то будете?

Матрена.

Да мы знаем, что делать. Ты-то свое дело справляй.

Никита.

Запутляете вы меня.

Матрена.

Ты что ж? Али пятиться думаешь? До чего дошло, ты и пятиться.

Никита.

Ведь это какое дело! Живая душа тоже.

Матрена.

Э, живая душа! Чего там, чуть душа держится. А куда его деть-то? Поди, понеси в воспитательный, – всё одно помрет, а помолвка пойдет, сейчас расславят, и сядет у нас девка на руках.

Никита.

А как узнают?

Матрена.

В своем дому да не сделать дела? Так сделаем, что и не попахнет. Только делай, что велю. А то наше дело бабье, тоже без мужика никак нельзя. На-ка скребочку-то, да слезь, да и справь там. А я посвечу.

Никита.

Что справлять-то?

Матрена (шопотом).

Ямку выкопай. А тогда вынесем и живо приберем там. Вон она опять кличет. Иди, что ль! А я пойду.

Никита.

А что ж, помер он?

Матрена.

Известно, помер. Только живей надо. А то народ не полегся. Услышат, увидят, – им всё, подлым, надо. А урядник вечер проходил. А ты вот что. (*Подает скребку.*) Слезь в погреб-то.

Там в уголку выкопай ямку, земляца мягкая, тогда опять заровняешь. Земля-матушка никому не скажет, как корова языком слижет. Иди же. Иди, родной.

Никита.

Запутляете вы меня. Ну вас совсем. Право, уйду. Делайте одни, как знаете.

ЯВЛЕНИЕ XII.

Те же и Анисья.

Анисья (из двери).

Что ж, выкопал он, что ли?

Матрена.

Ты что ж ушла? Куда дела-то его?

Анисья.

Веретьем прикрыла. Не слышать будет. Что ж, он выкопал?

Матрена.

Не хочет!

Анисья (выскакивает в бешенстве).

Не хочет! А в остроге вшей кормить хочет?! Сейчас пойду, все уряднику скажу. Пропал за одно. Сейчас всё скажу.

Никита (оторопевши).

Что скажешь-то?

Анисья.

Что? Всё скажу! Деньги кто взял? Ты! (*Никита молчит.*) А яду кто давал! Я давала! Да ты знал, знал, знал! С тобой в согласи была!

Матрена.

Да будет. Ты, Микишка, что костричишься? Ну, что ж делать? Потрудиться надо. Иди, ягодка.

Анисья.

Ишь ты, чистяк какой! Не хочет! Надругался ты надо мной, да будет. Поездил ты на мне, да и мой черед пришел. Иди, говорю, а то я то сделаю!.. На скребку-то, на! Иди!

Никита.

Да ну же; что пристала? *(Берет скребку, но жметя.)* Не захочу – не пойду.

Анисья.

Не пойдешь? *(Начинает кричать.)* Народ! Э-э!

Матрена *(закрывает ей рот).*

Что ты! Очумела! Он пойдет... Иди, сынок, иди, роженный.

Анисья.

Сейчас караул закричу.

Никита.

Да будет! Эх, народ этот. Да вы живей, что ли. Уж заодно. *(Идет к погребу.)*

Матрена.

Да, уж дело такое, ягодка: умел гулять, умей и концы хоронить.

Анисья *(всё в волнении).*

Измывался он надо мной с висюгой своей! Да будет! Пусть не я одна. Пусть-ка и он душегубец будет. Узнает каково.

Матрена.

Ну, ну, распалилась. А ты, деушка, не серчай, а потихоньку да помаленьку, как получше. Иди к девке-то. Он потрудится. *(Идет за ним с фонарем. Никита влезает в погреб.)*

Анисья.

Ему и задушить велю отродье свое поганое. (*Всё в волнении.*) Измучалась я одна, Петровы кости-то дергаючи. Пускай и он узнает. Не пожалею себя; сказала, не пожалею!

Никита (*из погреб.*).

Посвети-ка, что ль!

Матрена (*светит; к Анисье*).

Копает. Иди, неси.

Анисья.

Постой над ним. А то он, подлый, уйдет. А я пойду вынесу.

Матрена.

Мотри, окрестить не забудь. А то я потружусь. Крестик-то есть?

Анисья.

Найду, я знаю как. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ XIII.

Матрена (*одна*) и Никита (*в погреб.*).

Матрена.

Тоже острабучилась, как баба. Да и то сказать, обидно. Ну, да слава Богу, дай это дело прикроем, и концы в воду. Спихнем девку без греха. Останется сынок жить покойно. Дом, слава Богу, полная чаша. Тоже и меня не забудет. Без Матрены что б они были? Ничего б им не обдумать. (*В погреб.*) Готово, что ли, сынок?

Никита (*вылезает, голова видна*).

Чего ж там? Несите, что ль! Что валандаетесь? Делать, так делать.

ЯВЛЕНИЕ XIV.

Те же и Анисья. (*Матрена идет к сеням и встречает Анисью. Анисья выходит с ребенком, завернутым в тряпье.*)

Матрена.

Что ж, окрестила?

Анисья.

А то как же? Насилу отняла, – не дает. (*Подходит и подает Никите.*)

Никита (*не берет*).

Да ты сама снеси.

Анисья.

На, бери, говорю. (*Кидает ему ребенка.*)

Никита (*подхватывает*).

Живой! Матушка родимая, шевелится! Живой! Что ж я с ним буду...

Анисья (*выхватывает ребенка у него из рук и кидает в погреб*).

Задуши скорей, не будет живой. (*Сталкивает Никиту вниз*). Твое дело, ты и прикончи.

Матрена (*садится на приступку*).

Жалостлив он. Трудно ему, сердечному. Ну, да что ж! Его грех тоже. (*Анисья стоит над погребом. Матрена садится на приступок крыльца, поглядывает на нее и рассуждает.*) И-и как испужался! Ну, да что ж? хоть и трудно, помимо-то нельзя. Куда денешься-то? Тоже, подумаешь, как другой раз просят детей! Ан, глядь, Бог не дает, всё мертвеньких рожают. Вон хоть бы попадья. А тут не надо его, тут и живой. (*Глядит к погребу.*) Должно, покончил. (*К Анисье.*) Ну что?

Анисья (*глядя в погреб*).

Доской прикрыл, на доску сел. Кончил, должно.

Матрена.

О-ох! И рад бы не грешить, а что сделаешь?

Никита (*вылезает, трясется весь*).

Жив всё! Не могу! Жив!

Анисья.

А жив, так куда ж ты? (*Хочет остановить его.*)

Никита (*бросается на нее*).

Уйди ты! Убью я тебя! (*Схватывает ее за руку, она вырывается, он бежит за ней с скребкой. Матрена бросается к нему навстречу, останавливает его. Анисья убегает на крыльцо. Матрена хочет отнять скребку. Никита на мать.*) Убью, и тебя убью, уйди! (*Матрена убегает к Анисье на крыльцо. Никита останавливается.*) Убью. Всех убью!

Матрена.

С испугу это. Ничего, сойдет это с него.

Никита.

Что ж это они сделали? Что они со мной сделали? Пищал как. Как захрустит подо мной. Что они со мной сделали! И жив, всё, право, жив! (*Молчит и прислушивается.*) Пищит... Во пищит. (*Бежит к погребу.*)

Матрена (*к Анисье*).

Идет, видно зарыть хочет. Микита, тебе бы фонарь.

Никита (*не отвечая, слушает у погреб*).

Не слышать. Приметилось. (*Идет прочь и останавливается.*) И как захрустят подо мной косточки. Кр.... кр.... Что они со мной сделали? (*Опять прислушивается.*) Опять пищит, право, пищит. Что ж это? Матушка, а матушка! (*Подходит к ней.*)

Матрена.

Что, сынок?

Никита.

Матушка родимая, не могу я больше. Ничего не могу. Матушка родимая, пожалей ты меня!

Матрена.

Ох, напугался же ты, сердечный. Поди, поди. Винца, что ль, выпей для смелости.

Никита.

Матушка родимая, дошло, видно, до меня. Что вы со мной сделали? Как захрустят эти косточки, да как запищит!.. Матушка родимая, что вы со мной сделали! (*Отходит и садится на сани.*)

Матрена.

Поди, родной, выпей. Оно, точно, ночным делом жутость берет. А дай срок, ободняет да, ведашь, денек-другой пройдет, и думать забудешь. Дай срок, девку отдадим и думать забудем. А ты выпей, выпей поди. Я уж сама приберу в погребе-то.

Никита (встряхивается).

Вино осталось там? Не запью ли?! (*Уходит. Анисья, стоявшая всё время у сеней, молча сторонится.*)

ЯВЛЕНИЕ XV.

Матрена и Анисья.

Матрена.

Иди, иди, ягодка, а уж я потружусь, полезу сама, закопаю. Скребку-то куда он тут бросил? (*Находит скребку, спускается в погреб до половины.*) Анисья, подь-ка сюда, посвети, что ль?

Анисья.

А он-то что ж?

Матрена.

Да напугался больно. Напорно уж больно ты налегла на него. Не замай, опамятуется. Бог с ним, уж я сама потружусь. Фонарь-то поставь тут. Я увижу. (*Матрена скрывается в погребе.*)

Анисья (*на дверь, куда ушел Никита*).

Что, догулялся? Широко ты был, теперь погоди, сам узнаешь каково. Пыху-то сбавишь.

ЯВЛЕНИЕ XVI.

Те же и Никита (*выскакивает из сеней к погребу*).

Никита.

Матушка, а матушка?

Матрена (*высовывается из погреба*).

Чего, сынок?

Никита (*прислушивается*).

Не зарывай, живой он. Разве не слышишь? Живой! Во... пищит. Во, внятно...

Матрена.

Да где ж пищать-то? Ведь ты его в блин расплющил. Всю головку раздребезжил.

Никита.

Что ж это? (*Затыкает уши.*) Всё пищит! Решился я своей жизни. Решился! Что они со мной сделали?! Куда уйду я?! (*Садится на приступки.*)

Занавес.

—

ВАРИАНТ.

Вместо явлений XII—XIV, XV и XVI, действия четвертого можно читать следующий вариант.

СЦЕНА 2-я.

Изба 1-го действия.

ЯВЛЕНИЕ I.

Анютка раздетая лежит на коннике под кафтаном, Митрич сидит на хорах и курит.

Митрич.

Ишь, духу-то напустили, в рот им ситного пирога с горохом. Мимо лили добро-то. И табаком не заглушишь. Так в носу и вертит. О, Господи! Спать, видно. *(Подходит к лампочке, хочет завернуть.)*

Анютка *(вскакивает, садится)*.

Дедушка, не туши, голубчик!

Митрич.

Чего не тушить?

Анютка.

А на дворе-то гомонили как. *(Прислушивается.)* Слышишь, опять в амбар пошли?

Митрич.

Тебе-то чего? Авось тебя не спрашивают. Ложись, да и спи. А я вот заверну свет. *(Завертывает.)*

Анютка.

Дедушка, золотой! не гаси совсем. Хоть в мышинный глазок оставь, а то жуть.

Митрич *(смеется)*.

Ну, ладно, ладно. *(Присаживается подле нее.)* Чего жутко-то?

Анютка.

Как не жутко, дедушка! Нянька как билась. Об рундук головой билась. (*Шопотом.*) Я ведь знаю... у ней робеночек родиться хочет... Родился уж никак...

Митрич.

Эка егоза, залягай тебя лягушки. Всё тебе знать надо. Ложись, да и спи. (*Анютка ложится.*) Вот так-то. (*Закрывает ее.*) Вот так-то. А то много знать будешь, скоро составишься.

Анютка.

А ты на печку пойдешь?

Митрич.

А то куды ж? То-то глупая, посмотрю я. Всё ей знать надо. (*Закрывает ее еще и поднимается итти.*) Вот так-то лежи, да и спи. (*Идет к печи.*)

Анютка.

Разочек крикнул, а теперь не слышать.

Митрич.

О, Господи, Микола милослевый!.. Чего не слышать-то?

Анютка.

Робеночка.

Митрич.

А нет его, так и не слышать.

Анютка.

А я слышала, однаво дыхнуть, слышала. Тооненько так.

Митрич.

Много ты слышала. А слышала так, как вот такую-то девчонку, как ты, детосека в мешок посадил, да и ну ее.

Анютка.

Какой такой детосека?

Митрич.

А вот такой самый. (*Лезет на печь.*) И хороша ж печка нынче, тепла. Любо! О Господи, Микола милословый!

Анютка.

Дедушка! Ты заснешь?

Митрич.

А то что ж ты думала – песни играть буду? (*Молчание.*)

Анютка.

Дедушка, а дедушка! Копают! Ей-Богу, копают, в погребу копают, слышь! Однаво дыхнуть, копают!

Митрич.

Чего не вздумает. Ночью копают. Кто копает? Корова чешется, а ты – копают! Спи, говорю, а то сейчас свет потушу.

Анютка.

Голубчик, дедушка, не туши. Не буду. Ей-Богу, не буду, однаво дыхнуть, не буду. Страшно мне.

Митрич.

Страшно? Ты не бойся ничего, вот и не будет страшно. А то сама боится и страшно, говорит. Как же не страшно, как ты боишься? Эка девчонка глупая какая. (*Молчание. Сверчок.*)

Анютка (*шопотом*).

Дедушка! А дедушка! Ты заснул?

Митрич.

Ну, чего еще?

Анютка.

Кака же така детосека?

Митрич.

А вот така. Вот как попадется такая же, как ты, – не спит, он придет с мешком, да девчонку шварк в мешок, да сам туда же с головой, подымет ей рубашонку, да и ну хлестать.

Анютка.

Да чем же он хлестает?

Митрич.

А веник возьмет.

Анютка.

Да он там не увидит, в мешке-то.

Митрич.

Небось увидит.

Анютка.

А я его укушу.

Митрич.

Нет, брат, его не укусишь.

Анютка.

Дедушка, идет кто-то! Кто это? Ай, матушки родимые! Кто это?

Митрич.

Идет, так идет. Чего ж ты? Мать, я чай, идет.

ЯВЛЕНИЕ II.

Те же и Анисья (входит).

Анисья.

Анютка! (*Анютка притворяется, что спит.*) Митрич!

Митрич.

Чего?

Анисья.

Что свет-то жжете? Мы в холодной ляжем.

Митрич.

Да вот только убрался. Я потушу.

Анисья (ищет в сундуке и ворчит).

Как надо, его никак и не найдешь.

Митрич.

Да ты чего ищешь-то?

Анисья.

Крест ищу. Окрестить надо. Помилуй Бог, помрет! Некрещеный-то! Грех, ведь!

Митрич.

А то как же, известно, порядок надо... Что, нашла?

Анисья.

Нашла. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ III.

Митрич и Анютка.

Митрич.

То-то, а то бы я свой дал. О, Господи!

Анютка (*вскакивает и дрожит*).

О-о, дедушка! Не засыпай ты, Христа ради. Страшно как!

Митрич.

Да чего страшно-то?

Анютка.

Помрет, должно, робеночек-то? У тетки Арины так же бабка окрестила, – он и помер.

Митрич.

Помрет – похоронят.

Анютка.

Да, может, он бы и не помер, да бабка Матрена тут. Ведь я слышала, что бабка-то говорила, однаво дыхнуть, слышала.

Митрич.

Чего слышала? Спи, говорю. Закройся с головой, да и всё.

Анютка.

А кабы жив был, я б его няньчила.

Митрич (*рычит*).

О, Господи!

Анютка.

Куды ж они его денут?

Митрич.

Туда и денут, куда надо. Не твоя печаль. Спи, говорю. Вот мать придет – она тебя! (*Молчание.*)

Анютка.

Дедушка! А ту девчонку, ты сказывал, ведь не убили же?

Митрич.

Про ту-то? О, та девчонка в дело вышла.

Анютка.

Как ты, дедушка, сказывал, нашли-то ее?

Митрич.

Да так и нашли.

Анютка.

Да где ж нашли? Ты скажи.

Митрич.

В ихнем доме и нашли. Пришли в деревню, стали солдаты шарить по домам, глядь – эта самая девчонка на пузе лежит. Хотели ее пришибить. Да так мне скучно стало, взял я ее на руки. Так ведь не дается. Отяжелела, как пять пудов в ней сделалось; а руками цапается за что попало, не отдерешь никак. Ну, взял я ее, да по головке, по головке. А шаршавая, как еж. Гладить, гладить – затихла. Помочил сухарика, дал ей. Поняла-таки. Погрызла. Что с ней делать? Взяли ее. Взяли, стали кормить да кормить, да так привыкла, с собой в поход взяли, так с нами и шла. Хороша девчонка была.

Анютка.

Что ж, а некрещеная?

Митрич.

А кто е знает. Сказывали, что не вполне. Потому народ ненашенский.

Анютка.

Из немцов?

Митрич.

Эка ты: из немцов. Не из немцов, а азиаты. Они всё равно как жида, а не жида тоже. Из поляков, а азиаты. Крудлы, круглы прозвище им. Да уж забыл я. Девчонку-то мы Сашкой прозвали. Сашка, а хороша была. Ведь вот всё забыл, а на девчонку, в рот ей ситного пирога с горохом, как сейчас гляжу. Только и помню из службы из всей. Как пороли, помню, да вот девчонка в памяти. Повиснет, бывало, на шее, и несешь ее. Такая девчонка была, что надо лучше, да некуда. Отдали потом. Ротного жена в дочери взяла. И в дело вышла. Жалели как солдаты!

Анютка.

А вот, дедушка, тоже батя, я помню, как помирал. Ты еще не жил у нас. Так он позвал Микиту, да и говорит: прости меня, говорит, Микита... а сам заплакал. *(Вздыхает.)* Тоже как жалостно.

Митрич.

А вот то-то и оно-то...

Анютка.

Дедушка, а дедушка. Вот опять шумят чтой-то в погребу. Ай, матушки, сестрицы-голубушки! Ох, дедушка, сделают они что над ним. Загубят они его. Махонький ведь он... О-о! *(Закрывается с головой и плачет.)*

Митрич (прислушивается).

И впрямь что-то пакостят, дуй их горой. А пакостницы же бабы эти! Мужиков похвалить нельзя, а уж бабы... Эти как звери лесные. Ничего не боятся.

Анютка (поднимается).

Дедушка, а дедушка!

Митрич.

Ну, чего еще?

Анютка.

Намедни прохожий ночевал, сказывал, что младенец помрет, – его душка прямо на небо пойдет. Правда это?

Митрич.

Кто е знает, должно так. А что?

Анютка.

Да хоть бы и я померла. (*Хнычет.*)

Митрич.

Помрешь, из счета вон.

Анютка.

До 10 годов всё младенец, душа к Богу, може, еще пойдет, а то ведь изгадишься.

Митрич.

Еще как изгадишься-то! Вашей сестре как не изгадиться? Кто вас учит? Чего ты увидишь? Чего услышишь? Только гнусность одну. Я хоть немного учен, а кое-что да знаю. Не твердо, а всё не как деревенска баба. Деревенска баба что? Слякоть одна. Вашей сестры в России большие миллионы, а все как кроты слепые, – ничего не знаете. Как коровью смерть опаживать, привороты всякие, да как под насест ребят носить к курам – это знают.

Анютка.

Мамушка и то носила.

Митрич.

А то-то и оно-то. Миллионов сколько баб вас да девок, а все как звери лесные. Как выросла, так и помрет. Ничего не видала, ничего не слыхала. Мужик – тот хоть в кабаке, а то и в замке, случаем, али в солдатстве, как я, узнает кое-что. А баба что? Она не то что про Бога, она и про пятницу-то не знает толком какая такая. Пятница, пятница, а спроси какая, она и не знает. Так, как щенята слепые ползают, головами в навоз тычатыся. Только и знают песни свои дурацкие: го-го, го-го. А что го-го, сами не знают...

Анютка.

А я, дедушка, Вотчу до половины знаю.

Митрич.

Знаешь ты много! Да и спросить с вас тоже нельзя. Кто вас учит? Только пьяный мужик когда вожжами поучит. Только ученья. Уж и не знаю, кто за вас отвечать будет. За рекрутов так с дядьки или с старшого спросят. А за вашу сестру и спросить не с кого. Так, беспастушная скотина, озорная самая, бабы эти. Самое глупое ваше сословие. Пустое самое ваше сословие.

Анютка.

А как же быть-то?

Митрич.

А так и быть. Завернись с головой да и спи. О, Господи!

(Молчание. Сверчок.)

Анютка (вскакивает).

Дедушка! Кричит кто-то, не путем кто-то! Ей-Богу, право, кричит. Дедушка, милый, сюда идет.

Митрич.

Говорю, с головой укройся.

ЯВЛЕНИЕ IV.

Те же, Никита и Матрена.

Никита (входит).

Что они со мной сделали? Что они со мною сделали?!

Матрена.

Выпей, выпей, ягодка, винца-то. *(Достает вино и ставит.)* Что ты?

Никита.

Давай. Не запью ли?

Матрена.

Тише! Не спят ведь. На, выпей.

Никита.

Что ж это? Зачем вы это вздумали? Снесли бы куда.

Матрена (шопотом).

Посиди, посиди тут, выпей еще, а то покури. Оно разобьет мысль-то.

Никита.

Матушка родимая, дошло видно до меня. Как запишит, да как захрустят эти косточки – кр... кр..., не человек я стал.

Матрена.

И-и! Что говоришь несуразно совсем. Оно точно – ночным делом жутость берет, а дай ободняет, денек-другой пройдет, и думать забудешь. *(Подходит к Никите, кладет ему руку на плечо.)*

Никита.

Уйди от меня. Что вы со мной сделали?

Матрена.

Да что ты, сынок, в самом деле. *(Берет его за руку.)*

Никита.

Уйди ты от меня! Убью! Мне теперь всё нипочем. Убью!

Матрена.

Ах, ах, напугался как! Да иди, что ль, спать-то.

Никита.

Некуда мне итти. Пропал я!

Матрена (качает головой)

Ох, ох, пойти убрать, а он обседитя, сойдет это с него. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ V.

Никита, Митрич, Анютка.

Никита (сидит, закрыв лицо руками. Митрич и Анютка замерли).

Пищит, право пищит, во, во... внятно. Зароет она его, право зароет! (*Бежит в дверь.*)
Матушка, не зарывай, живой он...

ЯВЛЕНИЕ VI.

Те же и Матрена.

Матрена (возвращаясь, шопотом).

Да что ты, Христос с тобой! И что не примстится. Где же живому быть! Ведь и косточки-то все раздребезжены.

Никита.

Давай еще вина. (*Пьет.*)

Матрена.

Иди, сынок. Заснешь теперь, ничего.

Никита (стоит, слушает).

Жив всё... во... пищит. Разве не слышишь? Во!

Матрена (шопотом).

Да нет же!

Никита.

Матушка родимая! Решился я своей жизни. Что вы со мной сделали! Куда уйду я? (*Выбегает из избы и Матрена за ним.*)

ЯВЛЕНИЕ VII.

Митрич и Анютка.

Анютка.

Дедушка, милый, голубчик, задушили они его!

Митрич (*сердито*).

Спи, говорю. Ах ты, лягай тебя лягушки! Вот я тебя веником! Спи, говорю.

Анютка.

Дедушка, золотой! Хватает меня ктой-то за плечушки, хватает ктой-то, лапами хватает. Дедушка, милый, одна дыхнуть, пойду сейчас. Дедушка, золотой, пусти ты меня на печь! Пусти ты меня ради Христа... Хватает... хватает... А-а! (*Бежит к печке.*)

Митрич.

Ишь натращали девчонку как. То-то пакостницы, лягай их лягушки. Ну! пролезай, что ль.

Анютка (*лезет на печь*).

Да ты не уходи.

Митрич.

Куда я пойду? Лезь, лезь! О, Господи, Микола угодник, Матерь пресвятая Богородица Казанская... Натращали девчонку как. (*Прикрывает ее.*) То-то дурочка, право дурочка... Натращали, право, паскудницы, в рот им ситного пирога с горохом.

Занавес.

—

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ.

ЛИЦА ПЯТОГО ДЕЙСТВИЯ.

Никита.
Анисья.
Акулина.
Аким.
Матрена.
Анютка.
Марина.
Муж Марины.
1-я девка.
2-я девка.
Урядник.
Извозчик.
Дружко.
Сваха.
Жених Акулины.
Староста.
Гости, бабы, девки, народ на свадьбе.

СЦЕНА 1-я.

Гумно. На первом плане одонье, слева ток, справа сарай гуменный. Открыты ворота сарая; в воротах солома; в глубине виден двор и слышны песни и бубенцы. Идут по дорожке мимо сарая к избе две девки.

ЯВЛЕНИЕ I.

Две девки.

1-я девка.

Вот видишь, как прошли, и полусапожек не замарали, а слободой-то беда! – грязно...

(Останавливаются, отирают соломой ноги.)

1-я девка (глядит в солому и видит что-то).

Это что ж тут?

2-я девка (разглядывает).

Митрич это, работник ихний. Вишь, налился как.

1-я девка.

Да он не пил никак?

2-я девка.

До поднесенного дня, видно.

1-я девка.

Глянь-ка, он, видно, сюда за соломой пришел. Вишь, и веревка в руках, да так и заснул.

2-я девка (прислушивается).

Всё еще величают. Должно, еще не благословляли. Акулина-то, сказывали, и выть не выла.

1-я девка.

Мамушка сказывала, неохотой идет. Ей вотчим пригрозил, а то бы в жисть не пошла. Ведь про нее что болтали!

ЯВЛЕНИЕ II.

Те же и Марина (догоняет девок).

Марина.

Здорово, деушки!

Девки.

Здорово, тетенька!

Марина.

На свадьбу, миленькие?

1-я девка.

Да уж отошла. Так, поглядеть.

Марина.

Покличьте вы моего старика, Семена из Зуева. Знаете, я чай?

1-я девка.

Как не знать? Родня он жениху никак.

Марина.

Как же, племянник моему хозяину-то жених-от.

2-я девка.

Что ж сама не идешь? На свадьбу да не итти.

Марина.

Неохота, деушка, да и недосуг. Ехать надо. Мы не на свадьбу и сбирались. Мы с овсом в город. Покормить остановились, а старика-то моего и зазвали.

1-я девка.

Вы к кому же заехали? К Федорочу?

Марина.

У него. Так я здесь постою, а ты покличь, миленькая, старика-то моего. Вызови, касатка. Скажи: баба твоя, Марина, велела ехать; товарищи запрягают.

1-я девка.

Что ж, ладно, коли сама не пойдешь. *(Девки уходят по тропинке ко двору. Слышны песни и бубенцы.)*

ЯВЛЕНИЕ III.

Марина (*одна*).

Марина (*задумывается*).

Пойти бы ничего, да неохота, потому не видалась я с ним с той самой поры, как отказался он. Другой год. А взглянула бы глазком, как живет он с своей с Анисьей. Говорят люди – нелады у них. Баба она грубая, характерная. Поминал, я чай, не раз. Позарился на прокладную жизнь. Меня променял. Ну да Бог с ним, я зла не помню. Тогда обидно было. Ах, больно было! А теперь перетерлось на себе – и забыла. А поглядела б его... (*Смотрит ко двору, видит Никиту.*) Вишь ты! Чего ж это он идет? Али девки ему сказали? Что ж это он от гостей ушел? Уйду я.

ЯВЛЕНИЕ IV.

Марина и Никита (*идет сначала повеся голову и, махая руками, бормочет*).

Марина.

Да и сумрачный же какой!

Никита (*видит Марину, узнает*).

Марина! Друг любезный, Маринушка! Ты чего?

Марина.

Я за стариком за своим.

Никита.

Что ж на свадьбу не пришла? Посмотрела б, посмеялась на меня.

Марина.

Чего ж мне смеяться-то? Я за хозяином пришла.

Никита.

Эх, Маринушка! (*Хочет ее обнять.*)

Марина (*сердито отстраняется*).

А ты, Микита, эту ухватку оставь. То было, да прошло. За хозяином пришла. У вас он, что ль?

Никита.

Не поминать, значит, старого? Не велишь?

Марина.

Старое нечего поминать. Что было, то прошло.

Никита.

И не воротится, значит?

Марина.

И не воротится. Да ты что ж ушел-то? Хозяин, да со свадьбы ушел.

Никита (*садится на солому*).

Что ушел-то? Эх, кабы знала ты да ведала!.. Скучно мне, Марина, так скучно, не глядели б мои глаза. Вылез из-за стола и ушел, от людей ушел, только бы не видать никого.

Марина (*подходит к нему ближе*).

Что ж так?

Никита.

А то, что в еде не заем, в питье не запью, во сне не засплю. Ах, тошно мне, так тошно! А пуще всего тошно мне, Маринушка, что один я, и не с кем мне моего горя размыкать.

Марина.

Без горя, Микита, не проживешь. Да я свое переплакала – и прошло.

Никита.

Это про прежнее, про старинное. Эх, друг, переплакала ты, а мне вот дошло!

Марина.

Да что ж так?

Никита.

А то, что опостылело мне всё мое житье. Сам себе опостылел. Эх, Марина, не умела ты меня держать, погубила ты меня и себя тоже! Что ж, разве это житье?

Марина (*стоит у сарая, плачет и удерживается*).

Я на свое житье, Никита, не жалюсь. Мое житье – дай Бог всякому. Я не жалюсь. Показалась я тогда старику моему. Простил он меня. И не попрекает. Я на свою жизнь не обижаюсь. Старик смиренный и желанный до меня; я его детей одеваю, обмываю. Он меня тоже жалеет. Что ж мне жалиться. Так, видно, Бог присудил. А твое житье что ж? В богатстве ты...

Никита.

Мое житье!.. Только свадьбу тревожить не хочется, а вот взял бы веревку, вот эту (*берет в руки веревку с соломой*), да на перемете вот на этом перекинул бы. Да петлю расправил бы хорошенько, да влез на перемет, да головой туда. Вот моя жизнь какая!

Марина.

Полно, Христос с тобой!

Никита.

Ты думаешь, я в шутку? Думаешь, что пьян? Я не пьян. Меня нынче и хмель не берет. А тоска, съела меня тоска наотделку. Так заела, что ничто-то мне не мило! Эх, Маринушка, только я пожил как с тобою, помнишь, на чугушке ночи коротали?

Марина.

Ты, Микита, не вереди, где наболело. Я закон приняла и ты тож. Грех мой прощенный, а старое не вороши...

Никита.

Что ж мне с своим сердцем делать? Куда деваться-то?

Марина.

Чего делать-то? Жена у тебя есть, на других не зарься, а свою береги. Любил ты Анисью, так и люби.

Никита.

Эх, эта мне Анисья – полынь горькая, только она мне как худая трава ноги оплела.

Марина.

Какая ни есть, – жена. Да что толковать! Поди лучше к гостям да мне мужа покличь.

Никита.

Эх, кабы знала ты все дела... Да что говорить!

ЯВЛЕНИЕ V.

Никита, Марина, муж ее и Анютка.

Муж Марины (*выходит от двора красный пьяный*).

Марина! Хозяйка! Старуха! Здесь ты, что ль?

Никита.

Вот и твой хозяин идет, тебя кличет. Иди.

Марина.

А ты что ж?

Никита.

Я? Я полежу тут. (*Ложится в соломе.*)

Муж Марины.

Где ж она?

Анютка.

А вон она, дяденька, дле сарая.

Муж Марины.

Чего стоить? Иди на свадьбу-то! Хозяева велят тебе итти, честь сделать. Сейчас поедет свадьба, и мы пойдем.

Марина (*выходит навстречу мужу*).

Да неохота было.

Муж Марины.

Иди, говорю. Выпьешь стаканчик. Петруньку шельмеца проздравишь. Хозяева обижаются, а мы во все дела поспеем.

(Муж Марины обнимает ее и шатаясь с ней вместе уходит.)

ЯВЛЕНИЕ VI.

Никита и Анютка.

Никита (*поднимается и садится на соломе*).

Эх, увидел я ее, еще тошней стало. Только и было жизни, что с нею. Ни за что про что загубил свой век; погубил я свою голову! (*Ложится.*) Куда денуть? Ах! Расступись, мать сыра земля!

Анютка (*видит Никиту и бежит к нему*).

Батюшка, а батюшка! Тебя ищут. Все уже, и крестный, благословили. Однава дыхнуть, благословили. Уж серчают.

Никита (*про себя*).

Куда денуть?

Анютка.

Ты чего? Чего говоришь-то?

Никита.

Ничего я не говорю. Что пристала?

Анютка.

Батюшка! пойдём, что ль? (*Никита молчит. Анютка тянет за руку.*) Батя, иди благословлять-то! Право слово, серчают, ругаются.

Никита (*выдергивает руку*).

Оставь!

Анютка.

Да ну же!

Никита (*грозит ей возжжсами*).

Ступай, говорю. Вот я тебя.

Анютка.

Так я ж мамушку пришлю. (*Убегает.*)

ЯВЛЕНИЕ VII.

Никита (*один*).

Никита (*поднимается*).

Ну как я пойду? Как я образ возьму? Как я ей в очи гляну? (*Ложится опять.*) Ох, кабы дыра в землю, ушел бы. Не видали б меня люди, не видал бы никого. (*Опять поднимается.*) Да не пойду я... Пропадай они совсем. Не пойду. (*Снимает сапоги и берет веревку; делает из нее петлю, прикидывает на шею.*) Так-то вот.

ЯВЛЕНИЕ VIII.

Никита и Матрена. (*Никита видит мать, снимает веревку с головы и ложится опять в солому.*)

Матрена (*подходит впопыхах*).

Микита! А Микита? Вишь ты, и голоса не подает. Микита, что ж ты, аль захмелел? Иди, Микитушка, иди, иди, ягодка. Заждался народ.

Никита.

Ах, что вы со мной сделали? Не человек я стал.

Матрена.

Да чего ты? Иди, родной, честь честью благословенье сделай, да и к стороне. Ждет ведь народ-от.

Никита.

Как мне благословлять-то?

Матрена.

Известно как. Разве не знаешь?

Никита.

Знаю я, знаю я. Да кого благословлять-то буду? Что я с ней сделал?

Матрена.

Что сделал? Эка вздумал поминать! Никто не знает: ни кот, ни кошка, ни поп Ерошка. А девка сама идет.

Никита.

Как идет-то?

Матрена.

Известно, из-под страху идет-то. Да идет же. Да что же делать-то? Тогда бы думала. А теперь ей упираться нельзя. И сватам тоже обиды нет. Смотрели два раза девку-то, да и денежки за ней. Всё шито, крыто.

Никита.

А в погребѣ-то что?

Матрена (смеется).

Что в погребѣ? Капуста, грибы, картошки, я чай. Что старое поминать?

Никита.

Рад бы не поминал. Да не могу я. Как заведешь мысль, так вот и слышу. Ох, что вы со мной сделали?

Матрена.

Да что ты в сам деле ломаешься?

Никита (переворачивается ничком).

Матушка! Не томи ты меня. Мне вот по куда дошло.

Матрена.

Да всё ж надо. И так болтает народ, а тут вдруг ушел отец, нейдет, благословлять не на сме- лится. Сейчас прикладать станут. Как заробеешь, сейчас догадываться станут. Ходи тором, не положат вором. А то бежишь от волка, напхаешься на ведмедя. Пуще всего виду не показывай, не робь, малый, а то хуже вознают.

Никита.

Эх, запутляли вы меня!

Матрена.

Да буде, пойдем. А выдь да благослови; всё как должно, честь честью, и делу конец.

Никита (лежит ничком).

Не могу я.

Матрена (сама с собой).

И что сделалось? Всё ничего, ничего, да вдруг нашло. Напущение, видно. Микитка, вста- вай! Гляди, вон и Анисья идет, гостей побросала.

ЯВЛЕНИЕ IX.

Никита, Матрена и Анисья.

Анисья (*нарядная, красная, выпивши*).

И хорошо как, матушка. Так хорошо, честно! И как народ доволен. Где ж он?

Матрена.

Здесь, ягодка, здесь. В солому лег, да и лежит. Неидет.

Никита (*глядит на жену*).

Ишь, тоже пьяная! Гляжу, так с души прет. Как с ней жить? (*Поворачивается ничком.*)
Убью я ее когда-нибудь. Хуже будет.

Анисья.

Вишь куда, в солому забрался. Аль хмель изнял? (*Смеется.*) Полежала бы я с тобой тут, да неколи. Пойдем, доведу. А уж как хорошо в доме-то! Лестно поглядеть. И гармония! Играют бабы, хорошо как. Пьяные все. Уж так почестно, хорошо так!

Никита.

Что хорошо-то?

Анисья.

Свадьба, веселая свадьба. Все люди говорят, на редкость свадьба такая. Так честно, хорошо всё. Иди же. Вместе пойдем... я выпила, да доведу. (*Берет за руку.*)

Никита (*отдергивается с отвращением*).

Иди одна. Я приду.

Анисья.

Чего кауришься-то! Все беды избыли, разлучницу сбыли, жить нам только, радоваться. Всё так честно, по закону. Уж так я рада, что и сказать нельзя. Ровно я за тебя в другой замуж иду. И-и! народ как доволен! Все благодарят. И гости всего хорошие. И Иван Мосеич – тоже и господин урядник. Тоже повеличали.

Никита.

Ну, и сиди с ними, – зачем пришла?

Анисья.

Да и то итти надо. А то к чему пристало? Хозяева ушли и гостей побросали. А гости всё хорошие.

Никита (встает, обирает с себя солому).

Идите, а я сейчас приду.

Матрена.

Ночная-то кукушка денную перекуковала. Меня не послушал, а за женой сейчас пошел. *(Матрена и Анисья идут.)* Идешь, что ль?

Никита.

Сейчас приду. Вы идите, я следом. Приду, благословлять буду... *(Бабы останавливаются.)* Идите... а я следом. Идите же! *(Бабы уходят. Никита глядит им вслед задумавшись.)*

ЯВЛЕНИЕ X.

Никита один, потом Митрич.

Никита (садится, и разувается).

Так и пошел я! Как же! Нет, вы поищите, на перемете нет ли. Распростал петлю да прыгнул с перемета, и ищи меня. И вожжи, спасибо, тута. *(Задумывается.)* То бы размыкал. Какое ни будь горе, размыкал бы! А то вон оно где – в сердце оно, не вынешь никак. *(Приглядывается ко двору.)* Никак опять идет. *(Передразнивает Анисью.)* «Хорошо, и хорошо как! Полежу с тобой!» У! шкуреха подлая! На ж тебе, обнимайся со мной, как с перемета снимут. Один конец. *(Схватывает веревку, дергает ее.)*

Митрич (пьяный поднимается, не пуская веревку).

Не дам. Никому не дам. Сам принесу. Сказал, принесу соломы – принесу! Микита, ты? *(Смеется.)* Ах, чорт! Аль за соломой?

Никита.

Давай веревку.

Митрич.

Нет, ты погоди. Послали меня мужики. Я принесу... *(Поднимается на ноги, начинает сгребать солому, но шатается, справляется и под конец падает.)* Ее верх. Пересилила...

Никита.

Давай вожжи-то.

Митрич.

Сказал, не дам. Ах, Микишка, глуп ты, как свиной пуп. *(Смеется.)* Люблю тебя, а глуп ты. Ты глядишь, что я запил. А мне чорт с тобой! Ты думаешь, ты мне нужен... Ты гляди на меня. Я унтер! Дурак, не умеешь сказать: унтер-офицер гренадерского ея величества самого первого полка. Царю, отечеству служил верой и правдой. А кто я? Ты думаешь, я воин? Нет, я не воин, а я самый последний человек, сирота я, заблудущий я. Зарекся я пить. А теперь закурил!.. Что ж, ты думаешь, я боюсь тебя? Как же! Никого не боюсь. Запил, так запил! Теперь недели две смолить буду, картошку под орех разделаю. До креста пропьюсь, шапку пропью, билет заложу и не боюсь никого. Меня в полку пороли, чтоб не пил я. Стегали, стегали... «Что, – говорят, – будешь?» Буду, – говорю. Чего бояться дерьма-то? Вон он я! Какой есть, такого Бог зародил. Зарекся не пить. Не пил. Теперь запил – пью. И не боюсь никого. Потому не вру, а как есть... Чего бояться, дерьма-то? На-те, мол, вот он я. Мне поп один сказывал. Дьявол – он самый хвастун. Как, говорит, начал ты хвастать, сейчас ты и заробеешь. А как стал робеть от людей, сейчас он, беспятый-то, сейчас и сцапал тебя и попер, куда ему надо. А как не боюсь я людей-то, мне и легко. Начхаю ему в бороду, лопатому-то, – матери его поросятины! Ничего он мне не сделает. На, мол, выкуси!

Никита *(крестится)*.

И что ж это я в самом деле? *(Бросает веревку.)*

Митрич.

Чего?

Никита *(поднимается)*.

Не велишь бояться людей?

Митрич.

Есть чего бояться, дерьма-то. Ты их в бане-то погляди. Все из одного теста. У одного потолще брюхо, а то потоньше, только и различки в них. Вона! кого бояться, в рот им ситного пирога с горохом!

ЯВЛЕНИЕ XI.

Никита, Митрич, Матрена (*выходит из двора*).

Матрена (*кличет*).

Что, идешь, что ли?

Никита.

Ох! Да и лучше так-то. Иду. (*Идет ко двору.*)

Занавес.

—

СЦЕНА 2-я.

Перемена декорации. Изба 1-го действия полна народом, сидящим за столами и стоящими. В переднем углу Акулина с женихом. На столе иконы и хлеб. В числе гостей Марина, муж ее и урядник. Бабы поют песни, Анисья разносит вино. Песни замолкают.

ЯВЛЕНИЕ I.

**Анисья, Марина, муж Марины, Акулина, жених, извозчик,
урядник, сваха, дружка, Матрена, гости и народ.**

Извозчик.

Ехать, так ехать, а церковь разве близко.

Дружко.

А вот дай срок, вотчим благословит. Да где ж он?

Анисья.

Идет. Сейчас идет, миленькие. Кушайте еще по стаканчику, не обижайте.

Сваха.

Что ж долго? Уж с какого времени ждем.

Анисья.

Придет. Сейчас придет. Стриженная девка косы не заплетет, тут будет. Кушайте, миленькие. *(Подносит вино.)* Сейчас идет. Поиграйте еще, красавицы, пока что.

Извозчик.

Да уж все песни пропели ожидавши.

(Бабы поют. Посередине песни входят Никита и Аким.)

ЯВЛЕНИЕ II.

Те же, Никита и Аким.

Никита *(держит Акима за руку и подталкивает вперед себя).*

Иди, батюшка, без тебя нельзя.

Аким.

Не люблю я, значит, тае...

Никита *(на баб).*

Буде, замолчите. *(Оглядывает всех в избе.)* Марина, ты тут?

Сваха.

Иди, бери образ, благословляй.

Никита.

Погоди, дай срок. *(Оглядывается.)* Акулина, ты здесь?

Сваха.

Да что ты народ перекликаешь? Где ж ей быть-то? Что он чудной какой...

Анисья.

Батюшки родимые! Да что ж он разутый!

Никита.

Батюшка! ты здесь? Гляди на меня. Мир православный, вы все здесь, и я здесь! Вот он я! *(Падает на колени.)*

Анисья.

Микитушка, чтой-то ты? О, головушка моя!

Сваха.

Вот на!

Матрена.

Я и говорю: перепил он французского, что ли, много. Опамятуйся, что ты? *(Хотят поднять его, он не обращает ни на кого внимания, смотрит перед собой).*

Никита.

Мир православный! Виноват я, каяться хочу.

Матрена *(тащит его за плечо).*

Что ты, с ума спятил? Миленькие, у него ум зашелся. Увести его надо.

Никита *(отстраняет ее плечом).*

Оставь! А ты, батюшка, слушай. Первое дело: Маринка, гляди сюда. *(Кланяется ей в ноги и поднимается.)* Виноват я перед тобой, обещал тебя замуж взять, соблазнил тебя. Тебя обманул, кинул, прости меня Христа ради! *(Опять кланяется в ноги.)*

Анисья.

И чего разлопоушился? Не к лицу совсем. Что никто не спрашивает. Встань ты, что озорничает?

Матрена.

О-ох, напущено это на него. И что это сделалось? Попорчен он. Встань. Что пустое болтаешь! *(Тянет его.)*

Никита *(мотает головой)*.

Не тронь! Прости, Марина, грех мой перед тобой. Прости Христа ради.

(Марина закрывается руками, молчит.)

Анисья.

Встань, говорю, что озорничает. Вспоминать вздумал. Буде форсить. Стыдно! О, головушка моя! Что это, очумел совсем.

Никита *(отталкивает жену, поворачивается к Акулине)*.

Акулина, к тебе речь теперь. Слушайте, мир православный! Окаянный я. Акулина! виноват я перед тобой. Твой отец не своею смертью помер. Ядом отравили его.

Анисья *(вскрикивает)*.

Головушка моя! Да что он?

Матрена.

Не в себе человек. Уведите ж вы его.

(Народ подходит, хочет взять его.)

Аким *(отстраняет руками)*.

Постой! Вы, ребята, тае, постой, значит.

Никита.

Акулина, я его ядом отравил. Прости меня Христа ради.

Акулина (*вскакивает*).

Брешет он! Я знаю кто.

Сваха.

Что ты? Ты сиди.

Аким.

О, Господи! Грех-то, грех-то.

Урядник.

Берите его! А старосту пошлите да понятых. Надо акт составить. Встань-ка ты, поди сюда.

Аким (*на урядника*).

А ты, значит, тае, светлые пуговицы, тае, значит, погоди. Дай он, тае, скажет, значит.

Урядник (*Акиму*).

Ты, старик, смотри, не мешайся. Я должен составить акт.

Аким.

Экий ты, тае. Погоди, говорю. Об ахте, тае, не толкуй, значит. Тут, тае, Божье дело идет...
кается человек, значит, а ты, тае, ахту...

Урядник.

Старосту!

Аким.

Дай Божье дело отойдет, значит, тогда, значит, ты и, тае, справляй, значит.

Никита.

Еще, Акулина, перед тобою грех мой великий: соблазнил я тебя, прости Христа ради!
(*Кланяется ей в ноги.*)

Акулина (*выходит из-за стола*).

Пусти меня, не пойду замуж. Он мне велел, а теперь не пойду.

Урядник.

Повтори, что сказал.

Никита.

Погодите, господин урядник, дайте досказать.

Аким (в восторге)

Говори, дитяtko, всё говори, легче будет. Кайся Богу, не бойся людей. Бог-то, Бог-то! Он во!..

Никита.

Отравил я отца, погубил я, пес, и дочь. Моя над ней власть была, погубил ее и ребеночка.

Акулина.

Правда это, правда.

Никита.

На погребнице доской ребеночка ее задушил. Сидел на нем... душил... а в нем косточки хрустели. *(Плачет.)* И закопал в землю. Я сделал, один я!

Акулина.

Брешет. Я велела.

Никита.

Не щити ты меня. Не боюсь я теперь никого. Прости меня, мир православный! *(Кланяется в землю.)*

(Молчание.)

Урядник.

Вяжите его, свадьба ваша, видно, расстроилась. *(Подходит народ с кушаками.)*

Никита.

Погоди, поспеешь... (*Отцу кланяется в ноги.*) Батюшка родимый, прости и ты меня, окаянного! Говорил ты мне спервоначала, как я этой блудной скверной занялся, говорил ты мне: «коготок увяз и всей птичке пропасть», не послушал я, пес, твоего слова, и вышло по-твоему. Прости меня Христа ради.

Аким (в восторге.)

Бог простит, дитяtko родимое. (*Обнимает его.*) Себя не пожалел, Он тебя пожалеет. Бог-то, Бог-то! Он во!..

ЯВЛЕНИЕ III.

Те же и староста.

Староста (входит.)

Понятых и здесь много.

Урядник.

Сейчас допрос снимем.

(Никиту вяжут.)

Акулина (подходит и становится рядом).

Я скажу правду. Допрашивай и меня.

Никита (связанный).

Нечего допрашивать. Всё я один сделал. Мой и умысел, мое и дело. Ведите куда знаете. Больше ничего не скажу.

Занавес.

—

МУДРАЯ ДЕВИЦА.

Был царь. И всё ему не удавалось. И послал он к мудрецам спросить, отчего ему неудача. Один мудрец сказал: «Оттого, что он не знает часа, когда что делать». Другой сказал: «Оттого, что он не знает того человека, который ему нужнее всех». Третий сказал. «Оттого, что он не знает, какое дело дороже всех других дел».

И послал царь еще спрашивать у мудрецов у этих и других: какой час важнее всех, какой человек нужнее всех и какое дело дороже всех?

И не мог никто отгадать. И всё думал об этом царь, и у всех спрашивал.

И отгадала ему девица. Она сказала, что важнее всех часов – теперешний, потому что другого ни одного нет такого же. А нужнее всех тот человек, с которым сейчас имеем дело, потому что только этого человека и знаем. А дороже всех дел то, чтобы сделать этому человеку доброе, потому что это одно дело тебе наверное на пользу.

—

БЕСЕДА ДОСУЖИХ ЛЮДЕЙ.

(ПРОЛОГ К ПОВЕСТИ: «ХОДИТЕ В СВЕТЕ».)

Собрались раз в богатом доме гости. И случилось так, что завязался серьезный разговор о жизни.

Говорили про отсутствующих и про присутствующих и не могли найти ни одного человека, довольного своею жизнью.

Мало того, что никто не мог похвалиться счастьем, но не было ни одного человека, который бы считал, что он живет так, как должно жить христианину. Признавались все, что живут мирской жизнью в заботах только о себе и своих семейных, а не думает никто о ближнем и уж тем меньше о Боге.

Так говорили гости между собой, и все были согласны, обвиняя самих себя в безбожной, нехристианской жизни.

– Так зачем же мы живем так? – вскричал юноша, – зачем делаем то, чего сами не одобряем? Разве мы не властны изменить свою жизнь? Мы сами сознаем, что губит нас наша роскошь, изнеженность, наше богатство, и главное – наша гордость, наше отделение себя от братьев. Чтобы быть знатными и богатыми, мы должны лишиться себя всего, что дает радость жизни человеку, мы скучиваемся в городах, изнеживаем себя, губим свое здоровье и, несмотря на все наши увеселения, умираем от скуки и от сожаления, что жизнь наша не такая, какая она должна быть.

Зачем же жить так? Зачем губить так всю жизнь, всё то благо, которое дано нам от Бога? Не хочу жить попрежнему. Брошу начатое ученье, – оно ведь приведет меня ни к чему другому, как к той же мучительной жизни, на которую мы все теперь жалуемся. Откажусь от своего имени и пойду жить в деревне с бедными, буду работать с ними, научусь работать руками и, если нужно бедным мое образование, буду сообщать его им, но не через учреждения и книги, а прямо живя с ними по-братски.

– Да, я решил, – сказал он, вопросительно взглядывая на своего отца, который был тут же.

– Желание твое доброе, – сказал отец, – но легкомысленное и необдуманное. Тебе представляется всё столь легким потому, что ты не знаешь жизни. Мало ли что нам кажется хорошим! Но дело в том, что исполнение этого хорошего очень бывает трудно и сложно. Трудно идти хорошо по битой колее, но еще труднее прокладывать новые пути. Их прокладывают только люди, которые вполне созрели и овладели всем тем, что доступно людям. Тебе кажется легким новый путь жизни потому, что ты не понимаешь еще жизни. Всё это – легкомыслие и гордость молодости. Мы, старые люди, для того и нужны, чтобы умерять ваши порывы и руководить вас нашим опытом, а вы, молодые, должны повиноваться нам, чтобы воспользоваться нашим опытом. Твоя жизнь деятельная еще впереди, теперь ты растешь и развиваешься. Воспитайся, образуйся вполне, стань на свои ноги, имей свои твердые убеждения и тогда начинай новую жизнь, если чувствуешь к тому силы. Теперь же тебе надо повиноваться тем, которые руководят тобой для твоего блага, а не открывать новые пути жизни.

Юноша замолчал, и старшие согласились с тем, что сказал отец.

– Вы правы, – обратился к отцу юноша человек женатый, средних лет. – Правда, – сказал он, – что юноша, не имея опыта жизни, может ошибиться, отыскивая новые пути жизни, и его решение не может быть твердо, но ведь все мы согласились в том, что жизнь наша противна нашей совести и не дает нам блага. Поэтому нельзя не признавать справедливым желанием выдти из этой жизни.

Юноша может принять свою мечту за вывод разума, но я не юноша, и скажу вам про себя: слушая разговоры нынешнего вечера, мне пришла в голову та же самая мысль. Та жизнь, которую я веду, очевидно для меня, не может дать мне спокойствия совести и блага. Это мне показывает и разум и опыт. Так чего же я жду? Бьешься с утра до вечера для семьи, а на деле выходит, что и сам и семья живем не по-Божьи, а всё хуже и хуже увязаем в грехах. Делаешь для семьи, а семье ведь не лучше, потому что то, что делаешь для них, не есть благо. И потому я часто думаю, что не лучше ли бы было, если б я изменил всю свою жизнь и сделал бы именно то, что сказал молодой человек: перестал бы о жене и детях заботиться, а только бы о душе думал. Не даром и у Павла сказано: «женившийся печется о жене, а неженившийся о Боге».

Не успел договорить этого женатый, как напустились на него все бывшие тут женщины и его жена.

– Об этом нужно было раньше думать, – сказала одна из пожилых женщин.

– Надел хомут, так тяни. Этак и всякий скажет, что хочу спастись, когда ему трудно покажется вести и кормить семью. Это обман и подлость. Нет, человек должен суметь в семье по-Божьи жить. А то так-то легко одному спастись. Да и, главное, поступить так – значит поступить против учения Христа. Бог велел других любить, а этим вы для Бога других оскорблять хотите. Нет, у женатого свои определенные обязанности, и он не должен пренебрегать ими. Другое дело, когда семья уж поставлена на ноги. Тогда делайте для себя как хотите. А семью насиловать никто не имеет права.

Но женатый не согласился с этим. Он сказал: «Я не хочу семью бросать. Я только говорю, что семью-то и детей надо вести не по-мирски, не к тому, чтоб они приучались жить для своей похоти, а надо вести так, как вот мы говорили, чтобы дети смолоду приучались к нужде, к работе, к помощи людям и, главное, к братской жизни со всеми. А для этого нужно отказаться от знатности и богатства».

– Нечего других ломать, пока сам не по-Божьи живешь, – с горячностью сказала на это его жена. – Ты сам жил смолоду в свое удовольствие, за что же ты своих детей и свою семью мучить хочешь? Пускай вырастут в покое, а потом что захотят, то и будут делать сами, а не ты их заставляй.

Женатый замолчал, но бывший тут старый человек заступился за него.

– Положим, – сказал он, – нельзя женатому человеку, приучив семью к известному недостатку, вдруг лишить ее всего этого. Правда, что если уж начато воспитание детей, то лучше окончить его, чем всё ломать. Тем более, что возросшие дети сами изберут тот путь, который найдут для себя лучшим. Я согласен, что семейному человеку трудно и даже невозможно без греха переменить свою жизнь. Вот нам, старикам, это и Бог велел. Я про себя скажу: живу я теперь без всяких обязанностей, живу, по правде сказать, только для своего брюха: ем, пью, отдыхаю, и мне самому гадко и противно. Вот мне так пора бросить эту жизнь, раздать свое имение и хоть пред смертью пожить так, как Бог велел жить христианину.

Не согласились и с стариком. Тут была его племянница и крестница, у которой он крестил всех детей и дарил по праздникам, и его сын. Все возражали ему.

– Нет, – сказал сын, – вы поработали на своем веку, вам надо отдохнуть и не мучать себя. Вы прожили 60 лет с своими привычками, вам нельзя отстать от них. Вы только будете напрасно мучать себя.

– Да, да, – подтвердила племянница, – будете в нужде и будете не в духе, будете ворчать и нагрешите больше. А Бог милосерд и всех грешников прощает, а не только вас, такого доброго, дядюшка.

– Да и к чему нам? – прибавил другой старик, ровесник дядюшки. – Нам уж с тобой всего, может быть, два дня жить осталось. К чему затевать?

– Что за чудо! – сказал один из гостей (он всё молчал). – Что за чудо! Все говорим, что хорошо по-Божьи жить и что живем худо, и духом и телом мучаемся, а как только дошло

дело до дела, так выходит, что детей ломать нельзя, а надо воспитывать не по-Божьему, а по-старому. Молодым нельзя из воли родительской выходить, и надо им жить не по-Божьему, а по-старому. Женатым нельзя жену и детей переламывать, а надо жить не по-Божьему, а по-старому. А старикам не к чему начинать: и не привыкли они да им два дня жить осталось. Выходит, что жить хорошо никому нельзя, только поговорить можно.

1888 г.

ХОДИТЕ В СВЕТЕ, ПОКА ЕСТЬ СВЕТ.

(ПОВЕСТЬ ИЗ ВРЕМЕН ДРЕВНИХ ХРИСТИАН.)

33. *Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился.*

34. *Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям, взять свои плоды.*

35. *Виноградари, схвативши слуг его, много прибили, много убили, а много побили камнями.*

36. *Опять послал он других слуг, большие прежнего: и с ними поступили так же.*

37. *Наконец послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего.*

38. *Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: это наследник; пойдём, убьём его и завладеём наследством его.*

39. *И схвативши его, вывели вон из виноградника и убили.*

40. *Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?*

41. *Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои.*

(Матф. XXI, 33—41).

I.

Было это в царствование римского императора Траяна, 100 лет после Рождества Христа. Было это в то время, когда живы еще были ученики учеников Христовых, и христиане твердо держали закон Учителя, как сказано в Деяниях: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа: и никто ничего из имени своего не называл своим; но всё у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду». (Деяния, гл. IV, от. 32—35.)

Жил в эти первые времена в стране Киликийской, в городе Тарсе, богатый купец, сириянин, торговец драгоценными камнями, Ювеналий. Вышел он из простых и бедных людей, но трудом и искусством в своем деле нажил богатство и уважение своих сограждан. Ездил он много по разным землям и, хотя не был учен, многое узнал и понял, и городские люди уважали его за его ум и справедливость. Веры он держался той римской, языческой, которой держались все уважаемые люди римской империи – той веры, исполнение обрядов которой стали строго требовать со времен Августа императора и которую твердо соблюдал и теперешний император Траян.

Киликийская страна далека от Рима, но управлялась римским начальником, и всё, что делалось в Риме, отзывалось и в Киликии, и управители подражали своим императорам.

Ювеналий помнил в детстве еще рассказы про то, что делал Нерон в Риме, видел потом, как гибли императоры один за другим, и, как умный человек, он понимал, что во власти импе-

раторской и в религии римской ничего не было священного, но что всё это было дело рук человеческих. Но вместе с тем, как умный человек, он понимал и то, что противиться этой власти было не выгодно и что для своего спокойствия надо было подчиняться установленному порядку. Но, несмотря на то, безумие всей окружающей жизни, особенно того, что происходило в Риме, где он бывал по своим делам, часто смущало его. Были у него сомнения, он не мог обнять всего и относил это к своей необразованности. Он был женат, и детей у него было четверо, но трое умерли в молодых годах, остался один, по имени Юлий.

На этого-то Юлия Ювеналий положил всю свою любовь и все свои заботы. В особенности хотелось Ювеналию так воспитать Юлия, чтобы он не мучался теми сомнениями о жизни, которые смущали его самого.

Когда Юлию минуло 15 лет, отец отдал его в учение к поселившемуся в их городе философу,⁹ принимавшему к себе юношей в обучение. Отец отдал его философу вместе с товарищем его, Памфилием, сыном умершего вольноотпущенного Ювеналия. Юноши были ровесники, оба красавцы и друзья.

Юноши учились оба прилежно. Оба были нрава хорошего. Юлий отличался более в изучении поэтов и математики, Памфилий же в изучении философов.

За год до окончания их учения Памфилий, придя в школу, объявил учителю, что мать его, вдова, уходит с друзьями в небольшой городок Дарну, и что он должен идти с матерью, чтобы помогать ей, и потому должен оставить учение.

Жалел учитель о потере ученика, делавшего ему честь; жалел Ювеналий, но больше всех жалел Юлий. На все увещания оставаться и продолжать учение Памфилий остался непреклонен и, поблагодарив своих друзей за любовь к нему и заботы: о нем, расстался с ними.

Прошло два года. Юлий окончил учение и за всё это время ни разу не видал своего друга. Однажды он встретил его на улице, зазвал к себе в дом и стал расспрашивать о том, как и где он живет. Памфилий рассказал ему, что он с матерью живет всё там же.

– Живем мы, – говорил он, – не одни, но с нами много друзей, с которыми у нас всё общее.

– Как общее? – спросил Юлий.

– Так, что никто из нас ничего не считает своим.

– Зачем же вы это делаете?

– Мы христиане, – сказал Памфилий.

– Неужели! – воскликнул Юлий.

Христианином быть в то время было то же, что в наше время заговорщиком. Как только кого обличали в христианстве, так тотчас его сажали в тюрьму, судили, и если он не отрекался, то казнили. Это-то ужаснуло Юлия. Он слышал всякие ужасы про христиан.

– А как же мне говорили, что христиане убивают детей и едят их? Неужели и ты участвуешь в этом?

– Приди и посмотри, – отвечал Памфилий. – Мы ничего не делаем особенного, мы просто живем, стараясь не делать дурного.

– Но как же можно жить, ничего не считая своим?

– Мы кормимся. Если мы отдаем братьям наши труды, то они отдают нам свои.

– Ну, а если братья берут труды ваши, а не отдают их, тогда как же? – спросил Юлий.

– Таких нет, – сказал Памфилий. – Такие люди любят жить роскошно, не придут к нам, а жизнь у нас простая и не роскошная.

– Да мало ли ленивцев, которые рады будут тому, чтобы их даром кормили.

– Есть и такие, и мы охотно принимаем их. Недавно пришел один такой, бежавший раб. Сначала он, правда, ленился и жил дурно, но скоро изменил свою жизнь и теперь стал хорошим братом.

⁹ Философ – ученый, мудрец. Философия – наука о высшей мудрости

– Но если бы он не исправился?

– Есть и такие. Старец Кирилл говорит, что с такими-то и надо поступать, как с самыми дорогими братьями и еще больше любить их.

– Разве можно любить негодяев?

– Нельзя не любить человека.

– Но как же вы можете давать всем то, чего они просят? – спросил Юлий. – Если бы мой отец давал всем, кто просит, у него очень скоро ничего бы не осталось.

– Не знаю, – отвечал Памфилий, – у нас остается на нужду. И если и случится, что нечего есть или нечем прикрыться, так мы у других просим, и нам дают. Да редко случается. Мне только раз и случилось лечь спать без ужина. Да и то оттого, что устал я очень и не хотелось идти к брату просить.

– Не знаю, как вы делаете, – сказал Юлий, – только, как отец говорит, если свое не беречь, да если еще давать всем, кто просит, так сам с голоду умрешь.

– Мы не умираем. Приди, посмотри. Мы живем и не только не нуждаемся, но даже много лишнего у нас.

– Да как же это так?

– А вот отчего. Исповедуем мы все один закон, но силы исполнения закона у всех разные: у одного больше, у другого меньше. Один усовершенствовался уже в доброй жизни, другой только начинает ее. Впереди всех нас стоит Христос с своей жизнью, и мы все стараемся подражать Ему и в одном видим наше благо. Одни из нас, как старец Кирилл и жена Пелагея, стоят впереди нас, другие сзади, третьи еще сзади, но все идут по одному пути.

Передовые уже близки к закону Христа – отречения от себя и погубили свою душу, чтобы приобрести ее. Этим ничего не нужно. Эти себя не жалеют и всё последнее по Христову закону отдают просящему. Другие есть послабее, такие, которые не могут всё отдать: ослабевают и еще жалеют сами себя. Ослабевают без привычной одежды и пищи, и не всё отдают.

Есть еще слабее, те, которые только недавно вступили на путь. Эти живут еще по-старому, удерживают много для себя, и отдают только лишнее. И эти-то задние приходят на помощь передним.

Кроме того, все мы перепутаны родством с язычниками. У одного отец язычник, держит имя и дает сыну. Сын дает просящим, но отец опять дает. У другого мать язычница, жалеет сына и помогает ему. У третьего дети язычники, а мать христианка и дети покоят мать, дают ей и просят не раздавать, а она из любви к ним принимает и всё-таки отдает другим. У четвертого жена язычница, а муж христианин. У пятого муж язычник, жена христианка.

Так перепутаны все, и передние рады бы отдать последнее, да не могут.

Этим-то и поддерживаются слабые в вере, и от этого-то набирается у нас много лишнего.

На это сказал Юлий:

– Да если так, то вы, значит, отступаете от учения Христа, и только вид делаете. А если вы не всё отдаете, то и нет между нами и вами разницы. По мне, если уж быть христианином, так исполнять всё. Отдать всё, и остаться нищим.

– А это лучше всего, – сказал Памфилий. – И сделай так.

– Да, я сделаю, когда увижу, что вы делаете.

– Мы ничего показывать не хотим. И тебе не советую идти к нам и выходить из своей жизни для показу. Делаем мы то, что делаем, не для показу, а по вере нашей.

– Что значит по вере?

– А по вере значит то, что мы верим, что спасенье от зол мира, от смерти только в жизни по учению Христа. И для нас всё равно, что скажут про нас люди. Мы делаем не для людей, а потому что только в этом мы видим жизнь и благо.

– Нельзя не жить для себя, – сказал Юлий. – Боги сами вложили в нас то, что мы любим себя больше других и ищем себе радостей. И вы то же самое делаете. Ты сам говоришь, что

и из ваших есть, которые себя жалеют. Они будут больше и больше себе готовить радостей, и всё больше будут бросать вашу веру, и будут то же делать, что и мы.

– Нет, – отвечал Памфилий, – наши идут по другому пути и никогда не слабеют, а всё сильнеют, как огонь никогда не потухнет, когда на него подкладывают дрова. В этом-то и вера.

– Не пойму я, в чем эта вера?

– Вера наша в том, что мы понимаем жизнь так, как объяснил нам ее Христос.

– Как же?

– Христос сказал такую притчу:

– Жили виноградари в чужом саду и должны были платить оброк хозяину. Это мы, люди, живем в мире и должны платить оброк Богу, исполнять Его волю. А люди по мирской вере подумали, что сад ихний, что им за него платить нечего, а только и дела, что пользоваться плодами его. Прислал к людям хозяин посланного, чтобы получить оброк, а они выгнали его; прислал своего сына за оброком, а они убили его, думая, что после этого никто уже им не помешает. – Вот эта мирская вера, по которой живут все люди мира, не признающие того, что жизнь дана для того, чтобы служить Богу. Христос же научил нас тому, что мирская вера о том, что человеку будет лучше, если он прогонит из сада посланного и сына хозяина и не даст оброка; что эта вера ложная, потому что не миновать либо дать оброк, либо быть выгнанным из сада. Он научил нас тому, что те радости, которые мы называем радостями: еда, питье, веселье – не могут быть радостями, если в них полагается жизнь; что они радости только тогда, когда мы ищем другого: исполнения воли Бога, что только тогда эти радости, как награда настоящая, следуют за исполнением воли Бога. Хотеть брать радости без труда исполнения воли Бога, отрывать одни радости от труда, это всё равно, что разрывать стебли цветов и рассаживать их без кореньев. Мы верим в это, и потому не можем искать обмана вместо правды. Вера наша в том, что благо жизни не в ее радостях, а в исполнении воли Бога без мысли о радостях и надежды на них. И мы живем так, и что дальше живем, то больше видим, что радости и благо, как колесо за оглоблями, идет по пятам за исполнением воли Бога. Учитель наш сказал: «Приидите все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».

Так говорил Памфилий; Юлий слушал его и сердце его трогалось, но ему было не ясно то, что говорил Памфилий; ему то казалось, что Памфилий обманывает его, то, когда он глядел в добрые глаза своего друга и вспоминал его доброту, ему казалось, что Памфилий сам обманывает себя.

Памфилий приглашал Юлию приехать к ним, чтобы посмотреть на их жизнь и, если она ему понравится, остаться жить с ними. И Юлий обещал.

Юлий обещал, но не поехал к Памфилию. И, увлекшись своею жизнью, забыл о нем.

Он как будто боялся того, чтоб жизнь их не привлекла его к себе. Он представлял себе жизнь христиан такую, при которой необходимо отречься от всех радостей жизни, а он не мог отречься от них, потому что в них полагал жизнь. Он осуждал христиан и дорожил этим осуждением, боялся перестать осуждать их и потому искал случая находить в них дурное.

Когда бы, где бы он ни встречал христиан в городе, он тотчас находил в них предлог для осуждения. Когда он видел их на торгу, продающих плоды и овощи, он говорил себе, а иногда и им: вот вы говорите, что не имеете ничего своего, а вот продаете за деньги, а не отдаете даром всякому, кто хочет взять. Вы обманываете себя и нас, говорил он, и не хотел входить в рассуждения с ними, почему они считали нужным и справедливым продавать на торгу, а не отдавать даром.

Когда он встречал христианина в хорошей одежде, он упрекал его за то, что он еще не отдал ее. Ему нужно было, чтобы христиане были виноваты, а так как они никогда не отрицали своей вины, то они и были виноваты в его глазах. В его глазах они были притворщики,

обманщики, которые говорили, но не делали. Он говорил: я по крайней мере, что говорю, то и делаю, а вы говорите одно, а делаете другое. И когда он уверял себя в этом, он был покоен и оставался жить попрежнему.

II.

Нрава Юлий был доброго, но по обычаю богатых, молодых людей, он имел рабов и нередко жестоко наказывал их, когда они не исполняли его приказаний, или когда он бывал не в духе. Он имел много дорогих, ненужных вещей и одежд, и приобретал еще больше таких; любил театры и зрелища; и уж с молодых лет имел любовниц и предавался в обществе своих друзей объяденью и пьянству.

Жизнь его, казалось ему, шла весело, потому что он не видал своей жизни – вся она проходила в забавах, так что некогда было и подумать о ней.

Так ушло два года. И Юлий думал, что он проживет так всю жизнь. Но это было невозможно. В такой жизни, какую вел Юлий, всё надо усиливать забавы для того, чтобы было всё одинаково весело. Если ему сперва весело выпить чашу своего вина с приятелем, то после повторения такого же удовольствия несколько раз, нужно было выпить уже две чаши вина и более хорошего качества, чтобы было так же весело. Если сперва весело побеседовать с приятелем, то часто это уже надоедает, и чтобы было так же весело, нужно беседовать уже с приятельницей; а потом и этого мало, нужно еще другое. Потом и этого мало, одни и те же приятельницы надоедают, нужно переменить их. И так во всех удовольствиях тела. Чтобы удовольствие не прекращалось, нужно постоянно усиливать его. А чтобы усиливать удовольствие, увеличивать его, нужно требовать больше от других людей; а чтобы заставлять делать других людей то, что мне хочется, есть и было у простых людей – не у властителей – одно средство – деньги. Так было и с Юлием. Он предавался удовольствиям тела, но не был властителем; и потому ему нужно было постоянно увеличивать их, – нужны были деньги.

Отец Юлия был богат, любил своего единственного сына, гордился им и не жалел для него денег. Жизнь Юлия проходила так, как проходит жизнь богатых молодых людей: в праздности, роскоши и развратных увеселениях, которые всегда были и остаются одни и те же: вино, игра и разгульные женщины.

Но удовольствия, которым предавался Юлий, требовали всё больше и больше денег, и их стало недоставать у Юлия. Он раз попросил у отца больше, чем то, что обыкновенно давал ему. Отец дал, но сделал сыну выговор. Сын чувствовал себя виноватым и, не желая сознаться в своей вине, разозлился, нагрубил отцу, как всегда злятся те, которые знают свою вину и не хотят сознаться в ней. Взятые у отца деньги очень скоро вышли. И, кроме того, в это же самое время Юлию случилось с пьяным товарищем ввязаться в драку и убить человека. Начальник города узнал это и хотел взять под стражу Юлия. Но отец его выхлопотал ему прощение. В это-то время Юлию по его разгульным делам понадобилось еще более денег. Он занял у товарища и обещал отдать ему. Кроме того, любовница его требовала от него подарков: полюбилось ей жемчужное ожерелье, и он видел, что если он не исполнит ее просьбы, она бросит его и сойдется с богачом, который уж давно отбивал ее от Юлия. Юлий пришел к матери и сказал ей, что ему необходимы деньги, что если она не достанет ему столько, сколько ему нужно, он убьет себя.

В том, что он находился в таком положении, он винил не себя, но отца. Он говорил: отец приучил меня к роскошной жизни, а потом стал жалеть мне денег. Если бы он дал мне сначала без укоров то, что он дал мне после, я бы устроил свою жизнь и не нуждался; но так как он всегда давал мне недостаточно, я должен был обращаться к ростовщикам, и они высасывают из меня всё, и для жизни, свойственной мне, как богатому юноше, мне ничего не остается, мне стыдно перед товарищами. А отец ничего этого не хочет понимать. Он забыл, что сам был

молод. Он довел меня до этого положения. И теперь, если он не даст мне того, что я прошу, я убью себя.

Мать, баловавшая сына, пошла к отцу. Отец позвал сына и стал бранить и его и мать. Сын грубо ответил. Отец ударил его. Сын схватил за руки отца. Отец крикнул рабов и велел связать сына и запереть его.

Оставшись один, Юлий проклинал отца и свою жизнь. Смерть своя или отца представлялась ему единственным выходом из того положения, в котором он находился.

Мать Юлия страдала больше его. Она не разбирала того, кто был виноват во всем этом. Она только жалела о любимом детище. Она пошла к мужу умолять его о прощении. Муж не стал слушать ее, стал упрекать ее в том, что она развратила сына; она упрекала его и кончилось тем, что муж избил и жену. Но мать ни во что не считала свои побои, пришла к сыну, уговорила его, чтобы он просил прощения у отца и покорился ему. За это она обещала ему тайно от отца дать ему те деньги, которые ему были нужны. Сын согласился, и тогда мать пошла к своему мужу и упросила его простить сына. Отец долго бранил жену и сына, но, наконец, решил, что он простит сына только с тем условием, чтобы он бросил свою распутную жизнь и женился бы на дочери богатого купца, которую отец обещал высватать за сына.

«Он получит от меня деньги и приданое жены, сказал отец, и тогда пусть начнет правильную жизнь. Если он обещает исполнить мою волю, я прощу его. Теперь же я ничего не дам ему и при первой его вине отдам его в руки начальника».

Юлий на всё согласился и был выпущен. Он обещал жениться и бросить свою дурную жизнь. Но он не намеревался этого сделать. И жизнь дома теперь сделалась для него адом. Отец не говорил с ним, бранился с матерью за него. Мать плакала.

На другой день мать позвала его в свои покои и тайно передала сыну драгоценный камень, который она унесла у мужа.

– Поди, продай его, не здесь, а в другом городе, и исполни то, что надо, а я сумею скрыть эту пропажу до времени. А если откроется, то вину возложу на одного из рабов.

Слова матери тронули сердце Юлия. Он ужаснулся тому, что она сделала, и, не взяв драгоценного камня, ушел вон из дома. Он сам не знал, куда и зачем он идет. Он шел вперед, всё вперед, вон из города, чувствуя необходимость остаться одному и обдумать всё то, что было с ним и что ожидало его. Идя всё вперед и вперед, он вышел из города и вошел в священную рощу богини Дианы.¹⁰ Войдя в уединенное место, он стал думать. Первая мысль, которая пришла ему, была в том, чтобы просить помощи у богини. Но он не верил уже в богов своих, и потому знал, что от них нельзя ожидать помощи. А коли не у них, то у кого? Самому обдумать свое положение ему казалось слишком страшным. В душе у него была путаница и мрак. Но делать было больше нечего. Надо было обратиться к своей совести, и он стал перед ней обсуживать свою жизнь и свои поступки. И то и другое показалось ему дурным и прежде всего глупым. Из-за чего он так мучил себя? Из-за чего так губил свои молодые годы? Радостного было мало, а горя и несчастий много. Главное же было то, что он чувствовал себя одиноким. Прежде была любящая мать, был отец, были даже друзья, теперь никого не было. Никто не любил его. Всем он был в тягость. Всем он умел стать поперек их жизни: для матери он был причиной раздора с отцом, для отца он был расточителем богатств, собранных трудом целой жизни; для друзей он был опасный, неприятный соперник. Для всех них должно было быть желательно, чтобы он умер.

Перебирая свою жизнь, он вспомнил о Памфилии и о последнем свидании с ним, и о том, как Памфилий звал его к ним, к христианам. И ему пришло в голову не возвращаться домой, а прямо отсюда уйти к христианам и остаться с ними. Но неужели мое положение такое отчаянное? подумал он и опять стал вспоминать всё, что с ним было, и опять его ужаснуло то,

¹⁰ Диана – одна из многих языческих богинь.

что, ему казалось, никто не любил его, и он не любил никого. Мать, отец, друзья – не любили его, должны были желать его смерти, но и сам он любил ли кого? Друзей, он чувствовал, что никого не любил. Все они были соперники и все были безжалостны к нему теперь, когда он был в несчастье. Отца? спросил он себя. И ужас охватил его, когда он при этом вопросе заглянул в свое сердце. Не только он не любил, но он ненавидел его за стеснения, за оскорбления. Ненавидел – и, кроме того, ясно видел, что для его, Юлия, счастья нужна смерть отца.

«Да, – спросил себя Юлий, – и если бы я знал, что никто никогда не увидит и не узнает, что бы я сделал, если бы я мог ударом сразу лишить его жизни и освободить себя?» И Юлий ответил себе: «Да, я убил бы его». Он ответил это себе и ужаснулся сам на себя. «Мать? да, я жалею ее, но и ее я не люблю. Мне всё равно, что будет с ней, мне только нужна ее помощь... Да, я зверь! И зверь забитый, затравленный, и только тем и отличаюсь от зверя, что могу по своей воле уйти от этой обманчивой, злой жизни, могу сделать то, что не может зверь – убить себя. Отца ненавижу, никого не люблю: ни мать, ни друзей... Да нечто Памфилия одного»...

И он опять вспомнил о нем. Стал вспоминать последнее свидание и их беседу и слова Памфилия о том, что их учитель Христос говорил: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Неужели это правда? Он стал думать, вспоминать кроткое, бесстрашное и радостное лицо Памфилия, и ему захотелось видеть и слышать его, захотелось верить тому, что говорил Памфилий. Что же, в самом деле, сказал он себе, кто я? – Человек ищущий блага. Я искал его в похотях и не нашел. И все живущие так же, как я, тоже не находят. Все злы и страдают. Есть же человек, который всегда радостен, оттого что он ничего не ищет. Он говорит, что их много таких и что все будут такие, и я могу быть таким, если последую тому, что говорит их учитель. Что если это истина?

Истина или не истина, – меня влечет к ней и я пойду.

Так сказал себе Юлий, вышел из рощи и, решившись не возвращаться более домой, пошел к той деревне, в которой жили христиане.

III.

Юлий шел бодро и радостно, и что дальше он шел и чем живее представлял себе жизнь христиан, вспоминая всё, что говорил Памфилий, тем радостнее ему становилось на душе.

Уже солнце спускалось к вечеру, и он хотел отдохнуть, как на пути ему попался человек отдыхающий и полуднувший.

Человек был средних лет с умным лицом. Он сидел и ел оливки и лепешку. Увидав Юлия, он улыбнулся и сказал:

– Здравствуй, юноша. Путь далек еще, садись и отдохни.

Юлий поблагодарил и сел.

– Куда идешь? – спросил незнакомец.

– К христианам, – сказал Юлий и слово за слово рассказал незнакомцу всю свою жизнь и свое решение.

Незнакомец слушал внимательно, расспрашивал о подробностях и сам не высказывал своего мнения; но когда Юлий кончил, незнакомец сложил в сумку оставшуюся пищу, оправил свою одежду и сказал:

– Юноша, не исполняй своего намерения, ты заблуждаешься. Я знаю жизнь, а ты не знаешь ее. Я знаю христиан, а ты не знаешь их. Слушай, я разберу всю твою жизнь и твои мысли, и когда ты услышишь их от меня, ты примешь то решение, которое представится тебе более правильным. Ты молод, богат, красив, силен, – страсти кипят в тебе. Ты хочешь найти тихое пристанище, такое, в котором бы страсти не волновали тебя, и ты бы не страдал от их последствий, и тебе кажется, что ты найдешь такое убежище среди христиан. Такого места нет, милый юноша, потому что то, что тревожит тебя, находится ни в Киликии, ни в Риме, но в тебе самом.

В тиши сельского уединения те же страсти будут мучать тебя, но только в сто раз сильнее. Обман христиан или ошибка их (я не хочу осуждать их) состоит именно в том, что они не хотят признавать природы человека. Совершенным исполнителем их учения может быть только старик, выживший из всех страстей своих. Человек же в силе, особенно юноша, как ты, не изведавший жизни и самого себя, не может подчиниться их закону, потому что закон этот имеет в основе не природу человеческую, а праздное мудрствование их основателя – Христа. Если ты пойдешь к ним, ты будешь страдать тем же, чем ты страдаешь теперь, но только в гораздо большей степени. Теперь твои страсти увлекают тебя на ложные пути, но ты, ошибившись раз в направлении, можешь поправиться, теперь ты всё-таки имеешь удовлетворение освобожденной страсти, т. е. жизни. Но среди них ты, сдерживая насильно свои страсти, будешь заблуждаться точно так же, еще хуже, и кроме этого страдания будешь еще иметь неперестающее страдание неудовлетворенных потребностей человека. Пусти воду из плотины, и она будет поить землю и луга и животных, но удержи ее, – она будет рыть землю и вытекать грязью. То же и с страстями. Учение христиан состоит, кроме тех верований, которыми они утешаются и о которых я не стану говорить, – учение их состоит для жизни в следующем: они не признают насилия, не признают войны, судов; не признают собственности; не признают наук, искусств, всего того, что делает жизнь легкой и радостной.

Все это было бы хорошо, если бы люди были все такими, каким они описывают своего учителя. Но ведь этого нет и не может быть. Люди злы и подвержены страстям. Эта игра страстей и те столкновения, которые происходят от них, и удерживают людей в тех условиях жизни, в которых они живут. Варвары (дикари) не знают никаких стеснений, и один дикарь для удовлетворения своих похотей уничтожил бы весь мир, если бы все люди покорялись так, как покоряются христиане. Если боги вложили в людей чувство гнева, мести, даже злобы против злых, то они сделали это потому, что чувства эти необходимы для жизни людей. Христиане учат, что эти чувства дурные, и что без них люди были бы счастливы, не было бы убийств, казней, войн. Это справедливо, но это подобно тому предположению, что для благосостояния людей им не надо питаться. Действительно, не было бы жадности, голода и всех происходящих от того бедствий. Но ведь это предположение не изменило бы природу человека. Если бы два, три десятка людей, поверив этому, и действительно, не принимая пищи, умерли бы от голода – это не изменило бы природу человека. Точно то же с другими страстями человека: негодование, злоба, месть, даже любовь к женщине, к роскоши, к блеску и величию, свойственны и богам, и потому и суть неизменные свойства человека. Уничтожь питание человека – и уничтожится человек; точно так же, уничтожь свойственные человеку страсти – и уничтожится человечество. То же самое и о собственности, которую будто бы отвергают христиане. Посмотри вокруг себя: каждый виноградник, каждая ограда, каждый дом, каждая ослица – всё это произведено людьми только при условии собственности. Откинь право собственности – и ни один виноградник не будет перекопан, ни одно животное не будет воспитано и ухожено. Христиане утверждают, что у них нет собственности, но они пользуются плодами ее. Они говорят, что всё у них общее и всё сносят вместе. Но то, что они сносят, они получили от людей, владеющих собственностью. Они только обманывают людей и в лучшем случае обманывают самих себя. Ты говоришь: они сами работают, чтобы кормиться, но то, что они сработают, не прокормило бы их, если бы они не пользовались тем, что произвели люди, признающие собственность. Если бы даже они и могли прокормиться, то они только могли бы поддержать свою жизнь, и уже в их среде не было бы места ни наукам, ни искусствам. Они и не признают пользы наших наук и искусств. Да им и нельзя поступать иначе. Всё их учение идет только к тому, чтобы вернуть людей к их первобытному состоянию, к дикости, к животному. Они не могут служить человечеству науками и искусствами, и, не зная их, отрицают их. Не могут служить теми способностями, которые составляют исключительное свойство человека и приближают его к богам. У них не будет ни храмов, ни статуй, ни театров, ни музеев. Они говорят, что этого им не нужно. Самый легкий

способ не стыдиться своей низости – это презирать высоту. Это они и делают. Учитель их – невежда и обманщик. И они подражают ему. Кроме того, они – безбожники. Они не признают богов и вмешательства их в дела людей. Для них есть только отец их учителя, которого они называют и своим отцом, и сам учитель, по их понятиям, открывший им все тайны жизни. Учение их – жалкий обман. Пойми одно: учение наше говорит: мир стоит богами, боги покровительствуют людям. Людям же для того, чтобы жить хорошо, нужно почитать богов и самим искать и думать. И потому руководит в жизни нашей, с одной стороны, воля богов, с другой – совокупная мудрость всего человечества. Мы живем, думаем и ищем, и потому подвигаемся к истине. У них же нет ни богов, ни их воли, ни мудрости человеческой, а есть одно – слепая вера в своего распятого учителя, и во всё то, что он сказал им. Взвесь же, какой руководитель надежнее: воля богов и совокупная свободная деятельность всей мудрости человеческой, или принудительная, слепая вера в слова одного человека?

Юлий был поражен тем, что сказал ему незнакомец, и в особенности последними его словами. Намерение его идти к христианам было не только поколеблено, но ему теперь казалось даже странным, как он мог под влиянием своих бед решиться на такое безумие; но для него оставался еще вопрос о том, что ему делать теперь и как выйти из тех затруднительных обстоятельств, в которых он находится, и он, рассказав свое положение, спросил об этом незнакомца.

«Об этом самом я и хотел сказать теперь», продолжал незнакомец. «Что тебе делать? путь твой, насколько мне доступна человеческая мудрость, для меня ясен. Все твои бедствия вытекают из свойственных людям страстей. Страсть увлекла тебя, завела так далеко, что ты пострадал. Таковы обычные уроки жизни. Уроки эти должны быть тобой употреблены на пользу. Ты изведаль многое и знаешь, где горькое и где сладкое. Ты не можешь уж повторять тех же ошибок. Пользуйся своим опытом. То, что больше всего тебя огорчает, – это твоя вражда к отцу. Вражда эта произошла от твоего положения: избери другое, и она уничтожится, или, по крайней мере, не будет уже так болезненно проявляться.

Все твои беды произошли от неправильности твоего положения. Ты предавался увеселениям молодости. Это естественно и потому хорошо. И оно было хорошо, пока было свойственно возрасту. Но пора миновалась, ты с силами мужа отдался резвостям юности, и стало дурно. Ты в той поре, когда надо делаться гражданином, мужем, и служить республике, трудиться на ее пользу. Отец предлагает тебе жениться. Совет его мудрый. Ты пережил одну пору жизни – юность, и вступил в другую. Все твои тревоги суть только признаки переходного состояния. Признай, что пора юности миновалась, и, смело отбросив всё, что было свойственно ей, но не свойственно мужу, вступи на новый путь. Женись, брось потехи юности, занимайся торговлей, общественными делами, науками и искусствами, и ты, кроме того, что примиришься с отцом и с друзьями, ты найдешь успокоение и радость. Главное, что тебя тревожило – это неестественность твоего положения. Ты возмужал и тебе нужно вступить в брак и быть мужем. И потому главный совет мой: исполни желание отца – женись. Если же тебя влечет к тому уединению, которое ты думаешь найти у христиан, если ты склонен к философии, а не к деятельности жизни, то ты можешь с пользой предаться этой деятельности только после того, как ты узнаешь жизнь в ее настоящем значении. А ты узнаешь это только, как самостоятельный гражданин и глава семейства. Если и потом тебя будет тянуть к уединению, предайся ему, тогда это будет истинное влечение, а не вспышка недовольства, каково оно теперь. Тогда иди.

Последние слова более всего другого убедили Юлия. Он поблагодарил незнакомца и вернулся домой. Мать приняла его радостно. Отец тоже, узнав о его намерении покориться его воле и жениться на той девице, которую он предлагал ему, примирился с сыном.

IV.

Через три месяца была отпразднована свадьба с красавицей Евлалией, и Юлий, изменив свой образ жизни, стал жить отдельным домом с женою и сам вести часть торгового дела, которое передал ему его отец.

Однажды он поехал для своего торгового дела в недалеко отстоящий город и там, сидя в лавке у купца, увидел проходящего мимо лавки Памфилия с незнакомой ему девицей. Оба шли с тяжелыми ношами винограда, который они продавали. Юлий, узнав друга, вышел к нему и просил его войти в лавку, чтобы побеседовать с ним.

Девица, увидя желание Памфилия пойти с другом и сомнение его в том, чтобы оставить ее одну, поспешила сказать, что она не нуждается в нем и одна посидит с виноградом, ожидая покупателя.

Памфилий поблагодарил ее и пошел с Юлием в лавку. Войдя в лавку, Юлий попросил у своего знакомого купца позволения войти с своим другом в его горницу и, получив это позволение, удалился с Памфилием в задние покои.

Друзья расспросили друг друга об обстоятельствах своей жизни.

Жизнь Памфилия не изменилась с тех пор, как они виделись последний раз; он продолжал жить в христианской общине, не был женат и уверял своего друга, что жизнь его с каждым годом, днем и часом становится всё радостнее и радостнее.

Юлий рассказал другу всё, что с ним было, и как он был уж на дороге к христианам, когда встреча незнакомца остановила его, и то, как незнакомец разъяснил ему заблуждения христиан, его главную обязанность жениться, и как он последовал совету и женился.

– Ну, что же, ты счастлив теперь? – спросил Памфилий. – Нашел ты в женитьбе то, что обещал тебе незнакомец?

– Счастлив? – сказал Юлий. – Что такое счастлив? Если разуметь под этим словом полное удовлетворение своих желаний, то, разумеется, я не счастлив. Я веду свое дело торговое пока с успехом, люди начинают почитать меня, и в том и в другом я нахожу некоторое удовлетворение. Хотя я и вижу много людей, которые богаче и почетнее меня, я предвижу возможность сравняться с ними и даже превзойти их. Эта сторона моей жизни полна; но супружество, я прямо скажу, не удовлетворило меня. Скажу больше: я чувствую, что это самое супружество, которое должно было дать мне радость, не дало мне ее, и что та радость, которую я испытал сначала, шла постоянно уменьшаясь и, наконец, уничтожилась, и на том месте, где была радость от супружества, вырастает горе. Жена моя красива, умна, учена и добра. В первое время я был совершенно счастлив. Но теперь – ты не знаешь этого, не имея жены – у нас являются причины раздора оттого, что то она ищет моих ласк, когда я равнодушен к ней, то наоборот. Кроме того, для любви необходима новизна. Женщина менее привлекательная, чем моя жена, более привлекает меня в первое время, но потом становится еще менее привлекательна, чем жена; я уже испытал это. Нет, я не нашел удовлетворения в супружестве. Да, друг, – заключил Юлий, – правы философы: жизнь не дает того, чего желает душа. Это я испытал на супружестве. Но то, что жизнь не дает того блага, которого жаждет душа, не доказывает того, чтобы и ваш обман мог дать его, – прибавил он улыбаясь.

– В чем же ты видишь наш обман? – спросил Памфилий.

– Обман ваш состоит в том, что вы для того, чтобы избавить человека от бед, соединенных с делами жизни, отрицаете все дела жизни – самую жизнь. Чтобы избавиться от разочарований, вы отрицаете очарование, вы отрицаете самый брак.

– Мы не отрицаем брака, – сказал Памфилий.

– Если не брак, то вы отрицаете любовь.

– Напротив, мы всё отрицаем, кроме любви. Она для нас служит первой основой всего.

– Я не понимаю тебя, – сказал Юлий, – сколько я слышал от других и от тебя, и потому, что ты не женат еще теперь, несмотря на то, что мы ровесники, я по всему заключаю, что у вас нет брака. Ваши продолжают брачную жизнь, установленную прежде; но вновь не вступают в брак. Вы не заботитесь о продолжении рода человеческого. И если бы вы были одни, род человеческий давно бы прекратился, – говорил Юлий, – повторяя то, что он много раз слышал.

– Это несправедливо, – сказал Памфилий. – Правда, что мы не ставим себе целью продолжение рода человеческого и не так заботимся об этом, как я много раз слышал от ваших мудрецов. Мы полагаем, что Отец наш позаботился уже об этом, цель наша только в том, чтобы жить сообразно Его воле. Если в Его воле находится продолжение рода человеческого, то он продолжится, если нет, он кончится. Это не наша забота. Наша забота – жить по Его воле. Воля же его выражена и в нашей природе, и в нашем откровении, где сказано, что муж да соединится с женою, и будет не два, но одно тело. Брак у нас не только не запрещен, но поощряется нашими стариками-учителями. Разница нашего брака с вашим состоит только в том, что наш закон открыл нам, что всякое похотливое взирание на женщину есть грех, и потому мы и наши женщины, вместо того, чтобы употреблять все средства, чтобы украшать себя и вызывать похоть, мы стараемся удалять ее от себя настолько, чтобы чувство любви между нами, как между сестрами и братьями, было сильнее чувства похоти к одной женщине, которое вы называете любовью.

– Но вы не можете всё-таки подавить чувства к красоте? – сказал Юлий. – Я уверен, например, что та красавица девица, с которой ты принес виноград, несмотря на ее наряд, скрывающий ее прелести, вызывает же в тебе чувство любви к женщине.

– Я не знаю еще, – сказал Памфилий, покраснев. – Я не думал о ее красоте. Ты первый сказал мне о ней. Она для меня только сестра. Но я продолжаю то, что хотел сказать тебе о различии нашего и вашего брака.

«Разница происходит уже оттого, что у вас похоть, под названием красоты и любви и служения богине Венере, поддерживается, вызывается в людях, у нас же, наоборот, похоть считается не злом (Бог не сделал зла), но добром, которое бывает злом, когда оно не в своем месте, – соблазном, как мы называем это. И мы всеми средствами стараемся избегать его. И вот от этого я не женат до сих пор, хотя очень может быть женюсь завтра.

– Но что же решит это?

– Воля Бога.

– Почему ты узнаешь ее?

– Если никогда не искать указаний ее, никогда не увидишь; если же постоянно искать ее указаний, они становятся ясны, как ясны для вас гадания на жертвах и на птицах. И как у вас есть ваши мудрецы, которые толкуют для вас волю богов по своей мудрости и по внутренностям жертвы и по полету птиц, так точно у нас есть мудрецы-старцы, которые разъясняют нам волю Отца, по откровению Христа, по изучению своего сердца и мыслей других людей, и, главное, по любви к ним.

– Но всё это слишком неопределенно, – возразил Юлий. – Что укажет тебе например, когда и на ком тебе надо жениться? Когда мне предстояло жениться, у меня был выбор трех девиц. Эти три девицы были выбраны из всех других, потому что они были красивы, богаты и отец мой был согласен на мой брак с каждой из них. Из трех же я выбрал свою Евлалию потому, что она была красивее, для меня привлекательнее других. Это понятно. Но что будет руководить тобою в выборе?

– Для того, чтобы ответить тебе, – сказал Памфилий, – я должен сказать тебе прежде всего то, что так как по нашему учению все люди равны перед своим Отцом, то они также равны перед нами и по положению своему, и по душевным и телесным свойствам; и потому выбор наш (если употреблять это слово, для нас непонятное) не может быть ограничен ничем.

«Женою христианина и мужем христианки может быть всякий человек из всех живущих мужчин и женщин мира».

– При этом еще невозможнее решиться, – сказал Юлий.

– Я тебе скажу то, что мне говорил наш старец о разнице, которая существует между браком христианина и язычника.

«Язычник, как ты, выбирает ту, которая, по его мнению, доставит ему, лично ему, больше всего наслаждений. При этом условия глаза разбегаются, и трудно решить, тем более, что наслаждения впереди. Но для христианина нет этого выбора для себя, или скорее выбор для себя, для своего личного наслаждения занимает не первое, а второстепенное место. Для христианина вопрос в том, чтобы своей женитьбой не нарушить волю Бога».

– Но в чем же может быть нарушение воли Бога при браке?

– Я бы мог забыть Илиаду, которую мы вместе с тобой учили и читали, но тебе, живущему в среде мудрецов и поэтов, нельзя забыть. Что же вся Илиада? – Это повесть о нарушении воли Бога по отношению к браку. И Менелай, и Парис, и Елена, и Ахиллес, и Агамемнон, и Хризеида – всё это описание всех страшных бедствий, вытекающих для людей и теперь происходящих от этого нарушения.

– Да в чем же нарушение?

– Нарушение в том, что человек любит в женщине свое наслаждение от сближения с нею, а не человека, подобного себе, и потому вступает в брак ради своего наслаждения. Христианский брак возможен только тогда, когда у человека есть любовь к людям и когда предмет любви плотской уже прежде есть предмет братской любви человека к человеку. Как разумно и прочно строить дом можно только тогда, когда есть основание, и картину писать, когда подготовлено то, на чем пишешь, так плотская любовь только тогда законна, разумна и прочна, когда в основании ее лежит уважение, любовь человека к человеку. На этом основании только может возникнуть разумная христианская семейная жизнь.

– Но всё-таки я не вижу, почему такой христианский, как ты говоришь, брак, – сказал Юлий, – исключает ту любовь к женщине, которую испытывал Парис.

– Я не говорю, чтобы христианский брак не допускал исключительной любви к женщине, напротив, только тогда он и разумен и свят; но исключительная любовь к женщине только тогда может возникнуть, когда не нарушена прежде существовавшая любовь ко всем людям. Исключительная же любовь к женщине, которую воспевают поэты, признанная сама по себе хорошей, без того, чтобы она основывалась на любви к людям, не имеет права называться любовью. Она есть похоть животная и очень часто переходит в ненависть. Лучший пример того, как эта, так называемая, любовь – эрос, если она не основана на братской любви ко всем людям, делается зверством – это случай насилия над той самой женщиной, которую будто любит тот, кто, насилуя, заставляет ее страдать и губит ее. В насилии явно, что нет любви к человеку, если он мучает того, кого любит. Но при нехристианском браке часто есть скрытое насилие – когда тот, кто женится на девушке, не любящей его или любящей другого, заставляет ее страдать и не жалеет ее, только бы удовлетворить своей любви.

– Положим, что это так, – сказал Юлий, – но если девушка любит его, то и нет несправедливости, и я не вижу разницы между христианским и языческим браком.

– Я не знаю подробности твоего брака, – отвечал Памфилий, – но я знаю, что всякий брак, имеющий в основе одно личное благо, не может не быть причиной раздора, точно так же, как простое принятие пищи не может обойтись между животными и людьми, мало различающимися от животных, без ссоры и драки. Всякому хочется сладкий кусок, а так как сладких кусков на всех не достанет, то является раздор. Если и нет видимого раздора, то есть затаенный. Слабому хочется сладкого куска, но он знает, что сильный не даст его ему; и хотя он уже знает невозможность отнять его прямо у сильного, он с затаенной, завистливой злобой смотрит на сильного и пользуется первым случаем, чтобы отнять у него. То же и с браком языческим; но

только – вдвое хуже, потому что предмет зависти есть человек, так что злоба зарождается и между супругами.

– Но как же сделать, чтобы брачующиеся никого не любили, кроме двоих себя. Всегда найдется человек или девица, который любит того или другого. И тогда, по вашему, брак невозможен. И потому-то я вижу, что справедливо то, что и говорят про вас, что вы вовсе не женитесь. Поэтому-то и ты не женат и, вероятно, не женишься. Как же может быть то, чтобы человек женился на одной женщине, никогда раньше не возбудив к себе чувства любви со стороны другой женщины, или девушка дождалась до зрелости, не возбудив к себе чувств мужчины? Как же должна была поступить Елена?

– Старец Кирилл говорит об этом так: в языческом мире люди, не думая о любви к братьям, не воспитывая этого чувства, думают об одном: о возбуждении в себе любви страстной к женщине, и воспитывают в себе эту страсть. И потому в их мире всякая Елена или подобная ей возбуждает любовь многих. Соперники бьются друг с другом, стараются превзойти одного, как животные, чтобы приобрести самку. И в большей или меньшей степени брак их есть борьба и насилие. В нашей общине мы не только не думаем о личном наслаждении красотой, но избегаем всех соблазнов, ведущих к этому и возведенных в языческом мире в достоинство и предмет обожания; мы, напротив, только думаем о тех обязанностях уважения и любви к ближнему, которые мы имеем безразлично ко всем людям, к величайшей красоте и к величайшему уродству: мы воспитываем всеми силами это чувство, и потому в нас чувство любви к людям берет верх над соблазном красоты и побеждает его и уничтожает раздор, происходящий из половых сношений.

Христианин женится только тогда, когда его соединение с женщиной, с которой они чувствуют взаимное влечение, не причинит никому огорчения. Кирилл говорит даже так: христианин почувствует влечение к женщине только тогда, когда он знает, что его соединение с ней не причинит никому горя.

– Но разве это возможно? – возразил Юлий, – разве можно управлять своими влечениями?

– Нельзя, когда им дана воля, но не дать им просыпаться и подниматься мы можем. Возьми пример отношений отцов с дочерьми, матерей с сыновьями, братьев с сестрами. Мать для сына, дочь для отца, сестра для брата, как бы она ни была прекрасна, – не предмет личного удовольствия, а любви, и чувства не просыпаются. Они проснулись бы только тогда, когда отец узнал бы, что та, которую он считал дочерью – не его дочь, или для сына мать, или для брата сестра, но и тогда чувство это было бы очень слабо и покорно, и во власти человека было бы удержать его. Чувство похоти было бы слабо, потому что в основу его положено чувство любви к матери, к дочери, к сестре. Почему ты не хочешь поверить, что в человеке может быть воспитано и утверждено такое чувство ко всем женщинам, как матерям, дочерям, сестрам, и что на основе этого чувства может вырасти чувство супружеской любви? Как брат, только тогда, когда он узнал, что та, которую он считал сестрой, не сестра, позволяет в себе подниматься к ней чувству любви, как к женщине, так точно христианин, только чувствуя, что любовь его не огорчает никого, позволяет чувству этому подниматься в душе.

– Ну, а если два человека полюбили одну девушку?

– Тогда один жертвует своим счастьем для счастья другого.

– Но когда она любит одного из них?

– Тогда пожертвует своим чувством тот, которого она менее любит, для счастья ее.

– Ну, а если она любит обоих, и оба жертвуют собой, – она ни за кого не выйдет?

– Нет, тогда старшие рассудят дело и посоветуют так, чтобы было наибольшее благо для всех, при наибольшей любви.

– Но ведь так не делается. А не делается потому, что это противно природе человека.

– Природе человека? Какой природе человека? Человек, кроме того, что животное, еще и человек, и правда, что такое отношение к женщине несогласно с животной природой человека, но оно согласно с его разумной природой. И когда он употребляет разум на служение своей животной природе, он делается хуже животного – он доходит до насилия, до кровосмешения, – то, до чего не доходит ни одно животное. Но когда он употребляет свою разумную природу на обуздание животной, когда животная природа служит разуму, тогда только, он достигает того блага, которое удовлетворяет его.

V.

– Но скажи мне о себе лично, – сказал Юлий. – Я вижу тебя с этой красавицей, ты, как видно, живешь с ней, и неужели ты не желаешь стать ее мужем?

– Я не думал о том, – сказал Памфилий. – Она дочь христианской вдовы. Я служу им так же, как им служат другие.

Я служу матери так же, как и дочери, и люблю их одинаково. Ты спросил меня: люблю ли я так, чтобы соединиться с ней?

Вопрос этот тяжел мне. Но я отвечу прямо. Мысль эта приходила мне, но есть юноша, который любит ее, и потому я не смею еще думать об этом. Юноша этот христианин и любит нас обоих; и я не могу сделать поступка, который бы огорчил его. Я живу не думая об этом. Я ищу одного – исполнить закон любви к людям. Это единое на потребу. Я женюсь тогда, когда увижу, что так надо.

– Но для матери не может быть безразлично приобрести доброго, трудолюбивого зятя. Она будет желать тебя, а не другого.

– Нет, ей безразлично, потому что она знает, что, кроме меня, все наши готовы служить ей, как и всякому другому; и я не меньше, ни больше буду служить ей, если я буду или не буду ее зятем. Если же из этого вытечет мой брак с дочерью, я приму это с радостью, как я приму и брак ее с другим.

– Не может этого быть! – вскрикнул Юлий. – Вот это-то и ужасно в вас, что вы сами обманываете себя! И этим вы обманываете других. Верно сказал мне про вас тот незнакомец. Слушая тебя, я невольно подчиняюсь красоте той жизни, которую ты описываешь мне, но, размышляя, я вижу, что всё это обман, и обман, ведущий к дикости, грубости жизни, приближающейся к животной.

– В чем же ты видишь эту дикость?

– А в том, что, поддерживая сами свою жизнь трудами, вы не имеете досуга и возможности заниматься науками и искусствами. Ты вот в оборванном одеянии, с огрубевшими руками и ногами, твоя спутница, которая бы могла быть богиней красоты, похожа на рабу. Нет у вас ни песен Аполлона, ни храмов, ни поэзии, ни игр – ничего, что дали боги для украшения жизни человека. Работать, работать, как рабы или как волы, чтоб только грубо кормиться – разве это не добровольное и безбожное отречение от воли и природы человека?

– Опять природа человека! – сказал Памфилий. – Но в чем эта природа? В том ли, чтобы мучать непосильным трудом рабов, убивать своих братьев и брать их в рабы, из женщины делать предмет забавы?.. Всё это необходимо для той красоты жизни, которую ты считаешь свойственной природе человека. В этом ли природа человека, или в том, чтобы жить в любви и согласии со всеми, чувствовать себя членом одного всемирного братства?

Ты тоже очень ошибаешься, если думаешь, что мы не признаем науки и искусства. Мы высоко ценим все способности, которыми одарена человеческая природа. Но на все способности, присущие человеку, мы смотрим, как на средства для достижения одной и той же цели, которой мы посвящаем всю нашу жизнь, а именно – исполнение воли Божьей. В науке и искусстве мы видим не потеху, годную только для увеселения праздных людей; мы требуем от науки

и от искусства того же, что от всех занятий человеческих, – чтобы в них осуществлялась та же деятельная любовь к Богу и ближнему, которою проникнуты все дела христианина. Мы признаем за действительную науку только такие знания, которые помогают нам жить лучше, и искусство мы уважаем только тогда, когда оно очищает наши помыслы, возвышает душу, укрепляя наши силы, необходимые для трудовой любовной жизни. Такие знания мы, по мере возможности, не упускаем случая развивать в себе и в наших детях; и такому искусству мы охотно предаемся в свободное время. Мы читаем и изучаем писания, завещанные нам мудростью людей, живших до нас; мы поем стихи, пишем картины, и стихи и картины наши ободряют наш дух и утешают нас в минуты печали. Потому-то мы и не можем одобрять те применения, которые вы себе делаете из науки и искусства. Ваши ученые употребляют свою способность соображения на измышление новых средств для причинения зла людям: они усовершенствуют приемы войны, т. е. убийства; изобретают новые способы наживы, т. е. обогащения одних на счет других. Искусство ваше служит на сооружение и украшение храмов в честь богов, которым наиболее развитые из вас давно уже не верят, но веру в которых вы поддерживаете в других, рассчитывая, что таким обманом вы лучше удержите их под своею властью. Статуи воздвигаются в честь наиболее сильных и жестоких из ваших тиранов, которых никто не уважает, но все боятся. На театрах ваших даются представления, восхваляющие преступную любовь. Музыка служит для потехи ваших богачей, объедающихся и напивающихся на своих роскошных пирах. Живопись применяется к изображению в домах разврата таких картин, на которые не может, не краснея, взглянуть человек трезвый или не одурманенный животною страстью.

Нет, не на это даны человеку те высшие способности, которые отличают его от зверей. Нельзя делать из них потеху для нашего тела. Посвящая всю свою жизнь на исполнение воли Божьей, мы тем более употребляем на это же служение и высшие наши способности.

– Да, – сказал Юлий, – всё это было бы прекрасно, если бы жизнь при таких условиях была возможна: но жить так нельзя. Вы сами обманываете себя. Вы не признаете наших защит. А если бы не было римских легионов, разве вы бы могли жить покойно? Вы пользуетесь защитой не признавая ее. Даже некоторые из вас, ты сам говорил, защищали себя. Вы не признаете собственности, а пользуетесь ею, ваши же имеют ее и дают вам; ты сам не отдашь даром виноград, а продашь его и будешь покупать..... все это обман. Если бы вы вполне делали то, что говорите, тогда бы так; а то вы других и себя обманываете!

Юлий разгорячился и высказал всё, что имел на душе. Памфилий молчал, ожидая. Когда Юлий кончил, Памфилий сказал:

Напрасно ты думаешь, что не признавая ваших защит, мы ими пользуемся. Нам римские легионы не нужны, так как мы не придаем никакой цены тому, что требует защиты насилем, благо наше в том, что не требует защиты, и этого никто не может отнять у нас. Если же и проходят через наши руки вещественные предметы, представляющие в ваших глазах собственность, то мы не считаем их своими и передаем их тем, кому они нужны для пропитания. Мы продаем виноград желающим покупать его не ради собственной наживы, а единственно для того, чтобы приобретать нуждающимся необходимое для жизни. Если кто-нибудь пожелал бы отнять у нас этот виноград, мы бы отдали его без противления. По этой самой причине мы не боимся и нашествия дикарей. Если б они стали отнимать у нас произведения нашего труда, мы им уступали бы их; если бы они потребовали, чтобы мы работали на них, мы и это исполняли бы с радостью; и им не только не за что, но и не выгодно было бы нас убивать или мучать. Дикари скоро поняли бы и полюбили бы нас, и от них нам пришлось бы меньше терпеть, чем от окружающих нас теперь и преследующих нас просвещенных людей.

Говорят, что только благодаря праву собственности получают все те произведения, которыми люди питаются и живут; но, посуди сам, кем в действительности производятся все нужные для жизни предметы? Благодаря чьему труду накапливаются эти богатства, которыми вы так гордитесь? Производится ли всё это теми, кто, сидя сложа руки, повелевают своими

рабами и наемниками и которые одни пользуются собственностью, или теми бедными рабами, которые, ради куска хлеба, исполняют приказание своих хозяев и сами не пользуются никаким имуществом, получая на свою долю едва достаточно, для дневного пропитания? И почему же вы думаете, что рабы эти, не щадящие своих сил для исполнения распоряжений часто им даже вовсе непонятных, – почему вы думаете, что люди эти перестанут работать, когда им представит возможность работать разумную и понятную для них работу на себя и на тех, кого они любят и жалеют?

Обвинения твои против нас состоят в том, что мы не достигаем вполне того, к чему стремимся, даже, что мы обманываем других, утверждая, что мы не признаем насилия и собственности и вместе с тем пользуясь ими. Если мы обманщики, то с нами и говорить нечего, и мы не заслуживаем гнева, ни обличения, а одного презрения. И презрение мы охотно принимаем, ибо одно из наших правил это признание своего ничтожества. Но если бы мы искренно стремились к тому, что мы исповедуем, то тогда обвинения твои нас в обмане были бы несправедливы. Если мы стремимся, как стремлюсь я и мои братья, к тому, чтобы, исполняя закон нашего учителя, жить без насилия и вытекающей из него собственности, то ведь мы стремимся к этому не для внешних целей: богатства, власти, почестей – всего этого мы ведь не приобретаем, – но для чего-то другого. Мы так же, как и вы, ищем блага: разница только в том, что мы и вы в различном видим благо. Вы верите, что благо в богатстве и почестях, а мы верим в другое. Вера наша указывает нам, что благо наше не в насилии, а в покорности, не в богатстве, а в отдаче всего. И мы, как растения к свету, не можем не стремиться туда, где видим наше благо. Мы не исполняем всего, чего мы хотим для нашего блага, т. е. не очистились совсем от насилия и собственности. Это правда. Но разве это может быть иначе? Ты стремишься к тому, чтобы иметь самую красивую жену, чтобы иметь самое большое имущество, – разве ты или кто-либо достиг этого? Если стрелок не попадет в цель, то разве оттого, что он много раз не попадал в цель, он перестанет метить в нее? То же и с нами. Благо наше – по учению Христа – в любви, любовь же исключает насилие и вытекающую из него собственность. Мы ищем нашего блага, но далеко не вполне и различно, каждый по-своему, достигаем его.

– Да, но почему же вы не верите всей мудрости человеческой и отвернулись от нее, а верите одному вашему распятому учителю. Рабство ваше, покорность перед ним, вот что отталкивает меня.

– Опять ты ошибаешься, и ошибается тот, кто думает, что мы исповедуем наше учение, имеем нашу веру, потому что так нам велел это человек, которому мы верим. Наоборот – те, которые ищут всей душой познания истины, общения с Отцом, те, которые ищут истинного блага, те невольно приходят на тот путь, по которому шел Христос, и потому, невольно становясь позади его, видят его перед собой. Все, любящие Бога, сойдутся на этом пути, и ты также. Он – Сын Божий и посредник между Богом и людьми, не потому что нам кто-нибудь сказал это и мы в это слепо верим, но потому что все те, которые ищут Бога, находят Его Сына перед собой, и невольно только через него понимают, видят и знают Бога.

Юлий не отвечал и долго сидел молча.

– Ты счастлив? – спросил он.

– Ничего не желаю лучшего. Но мало того, я большей частью испытываю чувство недоумения, сознание несправедливости какой-то. За что именно я так огромно счастлив? – сказал Памфилий улыбаясь.

– Да, – сказал Юлий, – может быть, я был бы счастливее, если бы я тогда не встретил незнакомца и дошел до вас.

– А если ты думаешь так, так что же мешает тебе?

– А жена?

– Ты говорил, что она склонна к христианству, и она пойдет с тобой.

– Да, но начата уже другая жизнь; как разбивать ее? Начата – надо доживать ее, – сказал Юлий, живо представив себе и недовольство отца, матери, друзей, и главное, всё то усилие, которое надо бы употребить, чтобы сделать этот переворот.

В это время к двери лавки подошла девица, подруга Памфилия, с юношей. Памфилий вышел к ним, и юноша при Юлии рассказал, что он прислан от Кирилла закупить кожи. Виноград был уже продан, и пшеница закуплена. Памфилий предложил юноше идти с Магдалиной домой с пшеницей, а самому купить и принести кожи.

– Тебе будет лучше, – сказал он.

– Нет, Магдалине лучше идти с тобой, – сказал юноша и удалился. Юлий проводил Памфилия в лавку к знакомому купцу. Памфилий насыпал пшеницы в мешки и, положив малую часть Магдалине, вскинув свою тяжелую ношу, простился с Юлием и рядом с девицей пошел из города.

На повороте из улицы Памфилий оглянулся и улыбаясь кивнул головой Юлию и так, еще радостнее улыбаясь, сказал что-то Магдалине, и они скрылись из глаз.

Да, лучше бы я сделал, если бы тогда дошел до них, подумал Юлий. И в его воображении, сменяясь, восставали два образа: то сильный Памфилий с высокой, сильной девой, несущей на голове корзину, и их добрые и светлые лица, то тот свой домашний очаг, из которого он вышел утром и в который вернется: изнеженная, красивая, но прискучившая и постылая жена в уборах, запястьях, лежащая на коврах и подушках.

Но Юлию некогда было думать, подошли купцы, товарищи, и началось обычное занятие, кончившееся обедом, с питьем и ночью с женою...

VI.

Прошло десять лет. Юлий не встречался более с Памфилием. И свидания с ним понемногу вышли из его памяти, и изгладилось впечатление о нем и о христианской жизни. Жизнь Юлия шла обычным чередом. За это время умер его отец, и он должен был принять всё торговое дело. Дело было сложное, были привычные покупатели, были продавцы в Африке, были приказчики, были долги, которые надо было собрать и которые надо было заплатить. Юлий невольно втянулся в дело и отдавал ему всё свое время. Кроме того, явились новые заботы. Он был избран на общественную должность. И это новое занятие, щекотавшее его самолюбие, было для него заманчиво. Кроме торговых дел, он занялся и общественным и, имея ум и дар слова, стал выдвигаться между другими, так что он мог достигнуть высокого общественного положения.

В продолжение этих десяти лет в семейном быту его произошла тоже значительная и неприятная для него перемена. У него родилось трое детей, и это рождение детей удалило его от жены. Во-первых, жена его потеряла большую часть своей красоты и свежести; во-вторых, она меньше заботилась теперь о муже. Все ее нежности и ласки были сосредоточены на детях. Хотя дети и были отдаваемы, по обычаю язычников, кормилицам и няням, часто Юлий заставлял их у матери, или ее не находил в ее покоях, а у ее детей. А дети большею частью тяготили Юлия, доставляя ему больше неприятностей, чем радостей. Занятый торговыми и общественными делами, Юлий оставил свою прежнюю разгульную жизнь, но ему нужно было, как он полагал, изящное отдохновение после трудов, и он не находил его у жены, тем более, что жена за всё это время всё больше и больше сходилась с своей рабыней-христианкой, всё больше и больше увлекалась новым учением и откидывала в своей жизни всё внешнее языческое, которое составляло прелесть для Юлия. Не находя в жене того, чего искал, Юлий сошелся с женщиною легкого поведения и с нею проводил те досуги, которые оставались у него от занятий. Если бы спросили у Юлия, счастлив ли он был или несчастлив за эти годы своей жизни, он бы не мог ответить: он был так занят! От одного дела и удовольствия он переходил к другому

делу или другому удовольствию, но ни одно дело не было такое, при котором он бы был вполне доволен, которое бы он желал продолжать. Всякое дело было такое, что чем скорее он мог освободиться от него, тем было для него лучше, и ни одно удовольствие не было таково, которое бы не было чем-нибудь отравлено, к которому бы не примешивалась скука пресыщения.

Так жил Юлий, когда с ним случилось событие, чуть не изменившее весь ход его жизни. На Олимпийских играх он участвовал в ристалищах и, проведя благополучно свою колесницу до конца, вдруг наскочил на другую, обгоняя ее. Колесо сломалось, он упал и сломал себе два ребра и руку. Повреждения его были тяжелы, но не опасны для жизни. Юлия отнесли домой, и он должен был пролежать три месяца.

В эти три месяца среди тяжелых телесных страданий стала работать его мысль, и он имел досуг обдумывать свою жизнь, глядя на нее, как на жизнь постороннего человека.

И жизнь его представлялась ему в мрачном свете, тем более, что в это же время случились три неприятные события, сильно огорчившие его: первое было то, что раб, надежный слуга еще отца его, получив в Африке дорогие камни, бежал с ними и сделал большой убыток и расстройство в делах Юлия. Второе было то, что наложница Юлия оставила его и избрала себе нового покровителя. Третье, и самое неприятное для Юлия было то, что во время его болезни были выборы на то место правителя, которое он надеялся занять, и место это занял его соперник. Все это, казалось Юлию, произошло от его болезни; болезнь же произошла оттого, что колесница его на одну толщину пальца взяла влево. Лежа один в постели, он невольно стал думать о том, от каких ничтожных случайностей зависело его счастье, и мысли эти навели его на другие и на воспоминания о прежних своих несчастиях, о попытке его уйти к христианам и о Памфилии, которого он не видал уже десять лет. Воспоминания еще усиливались беседами с женою, которая теперь часто была с ним во время его болезни и рассказывала ему про всё то, что она знала о христианах от своей рабыни. Рабыня эта жила одно время в той же общине, где жил Памфилий, и знала его. Юлий пожелал видеть ее рабыню и, когда она пришла к его ложу, подробно расспрашивал обо всем и в особенности о Памфилии.

Памфилий, рассказывала рабыня, был одним из их лучших братьев и был любим и уважаем всеми; он был женат на той самой Магдалине, которую десять лет тому назад видел Юлий. И у них уж было несколько детей.

– Да, тому человеку, который не верит в то, что Бог сотворил людей для их блага, – заключила рабыня, – надо пойти посмотреть их жизнь.

Юлий отпустил рабыню и остался один, думая о том, что он слышал. Ему завидно было сличать жизнь Памфилия с своей, и он хотел не думать об этом. Чтобы развлечься, он взял ту греческую рукопись, которую положила ему жена, и стал читать ее. В рукописи он прочитал следующее:

«Есть два пути, один – жизни и один – смерти.

Путь жизни состоит в следующем: во-первых, ты должен любить Бога, создавшего тебя; во-вторых, ближнего своего, как самого себя; и всего того, чего не желаешь, чтобы случилось с собою, не делай и ты другому. Учение же, заключающееся в сих словах, следующее: благословляйте проклинающих вас, молитесь за врагов ваших и за ваших гонителей; ибо какое благодеяние, если вы любите любящих вас? Не делают ли то же язычники? Вы же любите ненавидящих вас, и вы не будете иметь врагов. Удаляйся от плотских и мирских прихотей. Если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую, и будешь совершен. Если кто-либо принуждает тебя идти с ним одну версту, иди с ним две; если кто берет твою верхнюю одежду, отдай ему и рубашку; если кто взял у тебя твое, не требуй назад; ибо ты этого не можешь. Всякому просящему у тебя дай и не требуй назад; ибо Отец желает, чтобы всем было даруемо от его благодатных даров. Блажен дающий по заповеди...

Вторая проповедь учения. Не убивай, не прелюбодействуй, не распутничай, не крадь, не волхвуй, не отравляй, не желай принадлежащего ближнему твоему. Не клянись, не лжесвиде-

тельствуй, не злословь, не помни зла. Не будь двойственным в масле, ни двуязычным... Да не будет слово твое лживо, ни пусто, но согласно с делом. Не будь корыстолюбивым, ни хищником, ни лицемером, ни злонравным, ни надменным. Не предпринимай худого намерения против ближнего своего. Не имей ненависти ко всякому человеку, но одних обличай, за других молись, а иных люби более души своей...

Чадо мое! избегай всякого зла и всего подобного ему. Не будь гневлив, ибо гнев ведет к убийству; ни ревнив, ни сварлив, ни вспыльчив: ибо из всего этого происходят убийства. Чадо мое! не будь похотлив, ибо похоть доводит до блуда; не будь срамословен, ибо из этого происходят прелюбодеяния. Чадо мое! не ворожи, ибо это ведет к идолопоклонничеству; не волхвуй, не чернокнижничай, не делай заговоров и не желай смотреть на подобные дела, потому что это – идолопоклонство. Чадо мое! не будь лжив, поелику ложь доводит до воровства, ни сребролюбив, ни тщеславен; ибо из всего этого происходят воровства. Чадо мое! не будь ропотником, ибо сие ведет к богохульству; ни дерзким, ни зломыслящим; ибо из всего этого происходят богохульства. Но будь кроток, потому что кроткие наследуют землю. Будь долготерпелив, и милостив, и не злобив, и смирен, и добр, и всегда трепещи слов, которые ты услышал. Не превозносись и не давай душе своей дерзости. Да не прилепляется душа твоя к гордым, но обращай с праведными и смиренными. Всё, что случается с тобой, принимай как благо, зная, что без Бога ничего не бывает... Чадо мое! не причиняй разделения, спорящих же примирай. Не простирай рук к принятию и не сжимай при отдавании. Не колеблись давать и отдавая не ропщи: ибо ты узнаешь, кто добрый Мздовоздаятель. Не отвращайся от нуждающегося, но во всем имей общение с братом своим и ничего не называй своею собственностью: ибо если вы соучастники в нетленном, то тем более в вещах тленных! От юности учи детей своих страху Божию. Во гневе своем не повелевай рабом своим или рабою, дабы они не перестали бояться Бога, сущего над обоими вами; ибо он не приходит призывать, судя по лицам, но он призывает тех, коих уготовал Дух».

А путь смерти следующий: прежде всего он злой и исполнен проклятия; здесь убийство, прелюбодеяние, похоть, блуд, воровство, идолослужение, волшебство, отравление, хищение, лжесвидетельство, лицемерие, двоедушие, коварство, гордость, злоба, высокомерие, алчность, сквернословие, зависть, дерзость, заносчивость, тщеславие; здесь гонители добрых, ненавистники истины, любители лжи, не признающие воздаяния за праведность, не прилепляющиеся к добру, ни к праведному суждению, бдительные не в добре, но в зле, от которых далеки кротость и терпение; здесь же любящие суету, гоняющиеся за мздовоздаянием, не имеющие сострадания к бедному, не трудящиеся за утружденных, не знающие Творца своего, убийцы детей, погубители образа Божия, отвращающиеся от нуждающегося, притеснители угнетенного, защитники богатых, незаконные судьи бедных, грешники во всем! Берегитесь, дети, от всех таких людей!»...

Еще далеко не дочтя рукопись до конца, с ним случилось то, что бывает с людьми, с искренним желанием истины читающими книгу, т. е. чужие мысли, случилось то, что он вступил душой в общение с тем, кто внушил их. Он читал, вперед угадывая то, что будет, и не только соглашаясь с мыслями книги, но как будто сам высказывая эти мысли.

С ним случилось то обыкновенное, не замечаемое нами, но таинственнейшее и значительнейшее явление в жизни, состоящее в том, что так называемый живой человек становится истинно живым, когда вступает в общение, соединяется в одно с так называемыми умершими и живет с ними одною жизнью. Душа Юлия соединилась с тем, кто писал и внушил эти мысли, и после этого общения он оглянулся на себя, на свою жизнь. И сам он и вся его жизнь оказалась ему одной ужасающей ошибкой. Он не жил, а только губил в себе всеми заботами о жизни и соблазнами возможность истинной жизни.

– Не хочу губить жизнь, хочу жить, идти по пути жизни, – сказал он себе.

Он вспомнил всё, что ему говорил Памфилий в их прежних беседах, и всё это теперь показалось так ясно и несомненно, что он удивлялся тому, как мог он тогда поверить незнакомцу и не исполнить своего намерения уйти к христианам. Он вспомнил тоже то, что сказал ему незнакомец: *«пойди тогда, когда испытаешь жизнь»*.

– Ну вот, я испытал жизнь и ничего не нашел в ней. – Он вспомнил тоже слова Памфилия о том, что когда бы он ни пришел к нему, они будут рады принять его. – Нет, довольно заблуждаться и страдать, – сказал он себе. – Брошу всё и пойду к ним жить так, как сказано здесь. Он сказал жене, и жена его была восхищена его намерением.

Жена была готова на всё. Дело стояло только за тем, как привести его в исполнение. Как поступить с детьми? Взять ли их с собой или оставить у бабушки? Как взять их? Как после нежности их воспитания подвергнуть их всем трудностям суровой жизни? Рабыня предложила идти с ними. Но мать боялась за детей и говорила, что лучше оставить их у бабушки, а идти одним. И на этом оба согласились. Всё было решено, только болезнь Юлия задерживала исполнение.

VII.

В таком расположении духа Юлий заснул. На утро ему сказали, что проезжий искусный врач желает его видеть, обещаясь скоро помочь. Юлий с радостью принял врача. Врач был не кто иной, как тот самый незнакомец, которого встретил Юлий, когда шел к христианам.

Осмотрев его раны, врач предписал приемы трав для подкрепления сил.

– Буду ли я в состоянии работать рукою? – спросил Юлий.

– О, да. Править колесницей, писать – да.

– Но тяжелую работу – копать?

– Я не думал об этом, – сказал врач, – потому что это не может быть тебе нужно по твоему положению.

– Напротив, это-то мне и нужно, – сказал Юлий и рассказал врачу, что с тех пор, как он видел его, он последовал его совету, испытал жизнь; но жизнь не дала ему того, что она обещала, а, напротив, разочаровала его, а что он теперь хочет привести в исполнение то намерение, о котором говорил тогда.

– Да, видно, пустили они в дело все свои обманы и прельстили тебя, так что ты в твоём положении, с теми обязанностями, которые лежат на тебе, особенно по отношению к детям, не видишь всё-таки их заблуждений.

– Прочти это, – сказал Юлий, подавая врачу рукопись, которую он читал.

Врач взял рукопись, взглянул на нее.

– Знаю я это, – сказал он, – знаю этот обман и удивляюсь тому, что такой умный человек, как ты, может попасться в такую ловушку.

– Я не понимаю тебя. В чем ловушка?

– Всё дело в жизни, и вот они, эти софисты¹¹ и бунтовщики против людей и богов предлагают счастливый путь жизни. Под таким путем жизни они разумеют такой путь жизни, при котором все люди были бы счастливы – не было бы ни войн, ни казней, ни бедности, ни распутства, ни ссор, ни злобы. И они утверждают, что такое состояние людей будет тогда, когда люди будут исполнять заповеди Христа: не ссориться, не блудить, не клясться, не насиловать, не враждовать народу против народа. Но они ошибаются или обманывают тем, что они цель принимают за средство. Цель в том, чтобы не ссориться, не клясться, не блудить и т. д., и эта цель достигается только средствами общественной жизни. А то они говорят почти то же, что сказал бы учитель стрельбы, сказав: в цель ты попадешь тогда, когда стрела твоя будет лететь

¹¹ Софисты – лжеумудрецы, ловкими доказательствами выдающие ложь за истину.

по прямой линии к цели. Да как сделать, чтобы она летела по прямой – в этом задача. И задача эта достигается в стрельбе тем, что тетива натянута, лук упруг, стрела пряма. То же и с жизнью людей. Наилучшая жизнь людей, такая, при которой не надо ссориться, блудить, убивать – достигается тем, чтобы была тетива – правители, упругость лука – сила власти, и прямая стрела – справедливость законов. Они же под предлогом лучшей жизни разрушают всё то, что улучшило и улучшает жизнь. Они не признают ни правителей, ни власти, ни законов.

– Но они утверждают, что без правителей, власти и законов жизнь будет лучше, если люди будут исполнять закон Христа.

– Да, но что ручается, что люди будут исполнять его? Ничто? Они говорят: вы испытали жизнь при власти и законах, и жизнь не стала совершенной, испытайте же отсутствие власти и законов, и жизнь станет совершенной. Вы не имеете права отрицать этого, потому что вы не испытывали. Но тут-то явен софизм этих безбожников. Говоря так, разве они не то же говорят, что сказал бы человек земледелец; ты сеешь в землю и закрываешь семена, и всё-таки урожай не таков, какого бы ты хотел; а я советую тебе, сей в море, тогда будет лучше. И ты не имеешь права отрицать мое положение, потому что ты его не испытывал.

– Да, это справедливо, — сказал начавший колебаться Юлий.

– Но мало этого, – продолжал врач. – Допустим нелепое, невозможное, что основы христианского учения могут быть сообщены всем людям приемом каких-нибудь капель, и что вдруг все люди будут исполнять учение Христа, любить Бога и ближнего и исполнять заповеди; допустим это, и всё-таки путь жизни по их учению не выдерживает разбора. Жизни не будет и жизнь прекратится. Учитель их был холостой бродяга, такими будут и последователи его, по нашему предположению – и весь мир. Теперь живущие проживут, но дети их не выживут или выживет один из десяти. По учению их, все дети должны быть равны – для каждой матери и отца – свои и чужие. Как же уберутся эти дети, когда мы видим, что вся страсть, любовь к этим детям, вложенная в матерей, едва охраняет детей от гибели, что же будет, когда это будет одно сожаление, равное ко всем детям? Какого взять и сохранять ребенка? Кто будет просиживать ночи с больным вонючим детищем, кроме матери? Природа сделала броню ребенку – любовь матери; они снимают ее, ничем не заменяя. Кто выучит сына, кто вникнет в его душу, как не отец его? Кто предотвратит от опасностей? Это всё устраняется. Устраняется вся жизнь, т. е. продолжение рода человеческого.

– И это справедливо, – сказал Юлий, увлеченный красноречием врача.

– Нет, друг мой, оставь бредни и живи разумно, особенно теперь, когда на тебе лежат такие великие, важные и настоятельные обязанности. Исполнение их есть дело чести. Ты дожил до второго периода сомнений, но иди дальше, и сомнений не будет. Первая и несомненнейшая твоя обязанность – это воспитание детей, которым ты пренебрег. Обязанность твоя в отношении их есть то, чтобы сделать их достойными слугами республики. Республика дала тебе всё, что ты имеешь, ты должен и сам служить ей и дать ей достойных слуг в своих детях. Этим же самым ты даешь благо и детям. Другая твоя обязанность – это служение обществу. Тебя огорчила и разочаровала твоя неудача – это случайность временная. Без усилий и борьбы ничего не достается. И радость торжества только тогда, когда победа была трудна. Предоставь твоей жене забавляться болтовней христианских писаний. Ты же будь мужем и воспитай детей быть мужами. Начни эту деятельность сознанием своего долга и отпадут все твои сомнения. Они и пришли к тебе от болезненного состояния. Исполни свои обязанности по отношению к республике своим служением ей и приготовлением своих детей к этой службе; поставь их на ноги, чтобы они могли заменить тебя, и тогда спокойно отдавайся той жизни, которая влечет тебя, а до тех пор ты не имеешь права, да если бы отдался, то ничего не нашел бы, кроме страдания.

VIII.

Лекарственные ли травы или советы мудрого врача подействовали на Юлия, но очень скоро он ободрился и его мысли о христианской жизни показались ему бредом.

Врач, пробыв несколько времени, уехал. Юлий же скоро после него встал и, пользуясь его советами, начал новую жизнь. Он взял учителя для детей и сам следил за их учением. Свое же время всё проводил в общественных делах, и очень скоро приобрел в городе большое влияние.

Так прожил Юлий год, и в этот год ни разу не вспомнил даже о христианах. Но по истечении года назначен был в их городе суд над христианами.

В Киликию приехал посланный от римского императора для подавления христианской проповеди. Юлий слышал о мерах, принимаемых против христиан, и полагая, что это не коснется христианской общины, в которой жил Памфилий, не думал о нем. Но однажды, когда шел по площади в место своего управления, к нему подошел пожилой, бедно одетый человек, которого он не узнал сначала. Это был Памфилий. Памфилий шел к нему.

– Здравствуй, друг, – сказал он ему. – У меня к тебе есть великая просьба, но не знаю, захочешь ли ты во время теперешнего гонения на христиан признавать [меня] своим другом, и не боишься ли ты потерять свое место сношениями со мной.

– Я никого не боюсь, – отвечал Юлий, – и в доказательство прошу тебя идти со мной ко мне. Я пропущу даже свое дело на площади с тем, чтобы говорить с тобой и быть тебе полезным. Пойдем со мной. Чей это ребенок?

– Это сын мой.

– Впрочем, я бы мог не спрашивать. Я узнаю твое лицо в нем. Узнаю и эти голубые глаза и могу не спрашивать о том, кто твоя жена. Это та красавица, которую я шесть лет тому назад видел с тобой. Это ее глаза.

– Ты угадал, – отвечал Памфилий. – Скоро после того, как мы виделись с тобой, она стала моей женой.

Друзья вошли в дом Юлия. Юлий вызвал жену и отдал ей мальчика, а сам провел Памфилия в свою роскошную, уединенную комнату.

– Здесь ты можешь всё говорить, никто не услышит нас, – сказал Юлий.

– Я не боюсь того, чтоб меня услышали, – отвечал Памфилий. – Даже просьба моя состоит не в том, чтобы тех христиан, которые взяты, не судили и не казнили, а только в том, чтобы им позволили всенародно высказать свою веру.

И Памфилий рассказал о том, что христиане, взятые властями, из темницы дали знать о своем положении в свою общину.

Старец Кирилл, зная об отношениях Памфилия к Юлию, поручил Памфилию идти просить за христиан.

Христиане не просили о помиловании. Они считали призванием своей жизни: свидетельство истины учения Христа. Они могли свидетельствовать это длинной, 80-летней жизнью, или свидетельствовать то же самое мученичеством. То и другое им было безразлично, и смерть плотская, неизбежная для них, была одинаково не страшна и радостна сейчас или через 50 лет; но им желалось, чтобы жизнь их служила бы на пользу людям, и потому они послали Памфилия хлопотать о том, чтобы суд и казнь были при народе.

Юлий подивился просьбе Памфилия, но обещался сделать всё, что от него зависит.

– Я обещал тебе свое заступничество, – сказал Юлий, – но я обещал тебе его по моей дружбе к тебе и тому особенному доброму чувству размягчения, которое ты всегда вызываешь во мне; но должен признаться тебе, что учение ваше я считаю самым безумным и зловредным. Я могу судить про это, потому что сам очень недавно в минуты разочарования и болезни, в упадке духа, разделял опять ваши взгляды и опять чуть было не бросил всё и не ушел к вам.

Я знаю, на чем зиждется ваше заблуждение, потому что прошел через него – на любви к себе, на слабости духа и на болезненном расслаблении. Это вера баб, а не мужей.

– Но почему же?

– А потому что, признавая то, что в природе человека лежит раздор и вытекающие из него насилия, вы хотите не принимать в них участия; предавать их другим и, не внося своего участия, пользоваться устройством мира, основанным на насилии. Разве это справедливо? Мир всегда стоял тем, что были властители. Властители эти брали на себя весь труд и всю ответственность, ограждали нас от внешних и внутренних врагов. И взамен этого мы, подданные, покорялись этим властителям, воздавали им почести или помогали им в их служении.

Вы же из гордости, вместо того, чтобы своим трудом участвовать в делах республики и по мере заслуг подниматься трудом выше и выше в уважении людей, вы сразу, по своей гордости, признаете всех людей равными, для того, чтобы никого не считать выше себя, а считать себя равными Кесарю. Вы сами так думаете и учите так других. И для слабых и ленивых соблазн этот велик. Вместо труда, всякий раб сразу считает себя равным Кесарю. Но мало этого: вы отрицаете и подати, и рабство, и суд, и казни, и войну, – всё то, что держит вместе людей. Если бы люди послушали вас, общество бы распалось и мы бы вернулись к временам дикости. Вы в государстве проповедуете разрушение государства. Но самое существование ваше обусловлено государством. Не будь этого, и вас бы не было. Вы бы все были рабами скифов или первых дикарей, которые бы узнали о вашем существовании.

Вы – как нарыв, разрушающий тело, но могущий появиться и питаться только телом. И живое тело борется с ним и подавляет его. То же делаем и мы с вами и не можем не делать. И, несмотря на обещание мое помочь тебе в исполнении вашего желания, я смотрю на ваше учение, как на самое вредное и низкое. Низкое потому, что я считаю, что грызть ту грудь, которая тебя питает, не честно, не справедливо пользоваться благами республики и, не принимая участия в том устройстве, которым она держится, разрушать ее.

– В твоих словах, – сказал Памфилий, – было бы много справедливого, если бы действительно мы так жили, как ты думаешь. Но ты не знаешь нашей жизни, и составил себе ложные представления о ней.

Те средства к жизни, которыми мы пользуемся для себя, достижимы без помощи насилия. Человек так устроен, что в здоровом состоянии он может своими руками заработать гораздо больше того, что необходимо для его жизни. Живя же вместе, мы в состоянии трудом сообща прокормить наших детей и стариков, больных и слабых.

Ты говоришь о властителях, что они ограждают людей от внешних и внутренних врагов. Но мы любим врагов, и потому у нас нет их. Ты говоришь, что мы, христиане, возбуждаем в рабе желание быть Кесарем. Напротив того, и словом и делом мы проповедуем одно: терпеливое смирение и труд, – самый простой, считающийся низким, труд рабочего человека.

Мы не знаем и не понимаем ничего в государственных делах. Мы знаем одно, и знаем это несомненно, что благо наше только там, где благо других людей, и мы ищем этого блага. Благо же всех людей в их единении. Единение же достигается не насилием, но любовью. Насилие разбойника над прохожим для нас так же возмутительно, как насилие войска над пленным, судьи над казненным, и мы не можем сознательно участвовать ни в том, ни в другом. Пользоваться же без труда насилием мы не можем. Насилие отражается на нас. Но наше участие в насилии состоит не в приложении его, а в покорном перенесении его над собою.

– Да, – прервал его Юлий, – но вы только делаете вид, что вы мученики и рады гибнуть за истину; но истина не на вашей стороне; вы гордые безумцы, разрушающие все основы общественной жизни. Вы на словах проповедуете любовь, но если разобрать то, что вытекает из вашей любви, то выходит совсем другое – из нее вытекает варварство, возвращение к дикому состоянию убийства, насилия, грабежа, которые, по вашему учению, не должны быть ничем сдержаны.

– Нет, это не так, – сказал Памфилий. – И если только ты действительно захочешь внимательно и беспристрастно разобрать то, что вытекает из нашего учения и нашей жизни, то сам увидишь, что не только из них не вытекают убийства, насилия и грабежи, но, наоборот, успешно бороться с подобными преступлениями возможно только теми средствами, которые мы применяем. Убийство, грабежи и всяческое зло было всегда в мире и до христианства; и с ними люди всегда боролись, только безуспешно, теми средствами, которые мы отрицаем. Средства эти, отвечающие насилием на насилие, не сдерживают преступлений, а только возбуждают их, распространяя среди людей ожесточение и злобу.

Взгляни на могущественное римское государство. Ни в какой другой стране не хлопочут столько о законах, сколько в Риме. Изучение и совершенствование законов там возведены даже в особую науку. Законы преподают в школах, обсуждаются в сенате, самые способные граждане занимаются их улучшением и применением. Законное правосудие считается высшею доблестью, и должность судьи пользуется особым почетом, между тем всем известно, что в настоящее время нет на свете города, более погрязшего в разврате и преступлениях, чем Рим. Вспомни историю Рима, и тебе бросится в глаза, что народ римский в прежние более первобытные времена отличался добродетелями, несмотря на то, что тогда законы не были еще выработаны. В наше же время, рядом с изучением, улучшением и применением законов, нравы римлян всё больше и больше развращаются, число преступлений всё увеличивается, и самые виды преступлений становятся более разнообразными и искусными.

Да иначе и быть не может. Успешно бороться с преступлениями, как и со всяким злом, возможно только христианским орудием – любви, а не языческим орудием мести, наказания, насилия. Я думаю, что ты и сам желал бы, чтобы люди не из страха наказания воздерживались от зла, но чтобы они не хотели делать зло. Неужели ты желал бы, чтобы люди походили на тех заключенных в тюрьмах, которые только потому не делают зла, что их сторожат часовые? Законами предупреждения, пресечения и наказания не делается того, чтобы люди хотели не делать зла, а хотели бы делать добро. Достигать этого можно только тогда, когда борешься со злом в самом его корне, лежащем внутри человека. Мы так и делаем, а вы боретесь только с наружными последствиями зла. До самого же его источника вы не можете добраться, потому что не ищите его и не знаете, где он.

Самые обыкновенные и часто повторяющиеся преступления, как убийства, грабежи, кражи, обманы, вытекают из стремления людей увеличивать свой достаток, а иногда даже – только приобрести необходимое пропитание, которое почему-либо не дается другим путем. Из этих преступлений некоторые караются законом, хотя самые сложные и обширные по своему значению совершаются под крылом этого же закона, как-то: крупные торговые обманы и вообще все разнообразные виды обирания бедных богатыми. Те из этих преступлений, которые караются законом, этим действительно несколько сдерживаются или, вернее, затрудняются некоторые простые виды преступлений, и преступники из опасения наказания действуют осторожнее и искуснее, изобретая новые виды преступлений, неуловимые законом. При христианской же жизни человек самым своим образом жизни предохраняет себя от таких преступлений, вызываемых, с одной стороны, погоней за наживою, а с другой – неравномерным скоплением наживы в одних руках. Мы сдерживаем преступления других, грабежи и убийства только тем, что, пользуясь для самих себя только самым необходимым для жизни и отдавая другим весь свой свободный труд, мы, христиане, не соблазняем других накопленными богатствами, редко имея под руками больше того, что нужно для нашего дневного пропитания. Голодный человек, впадающий в отчаяние и готовый совершить преступление ради куска хлеба, если придет к нам, то без всякого преступления найдет у нас то, что ему нужно, так как мы для того и живем, чтобы делиться последним с голодными и холодными. И выходит, что одни преступники сами удаляются от нас, а другие сближаются с нами, находят свое спасение и перестают быть преступниками, понемногу становясь работниками, трудящимися на общую пользу людей.

Другой разряд преступлений вызывается необузданностью страстей, например, ревностью, мстью, животной любовью, гневом, ненавистью. Подобные преступления никогда не сдерживаются законами. Человек, совершающий их, находится в животном состоянии полной разнузданности какой-либо страсти и не может соображать о последствиях своего поступка. Препятствие только разжигает его страсть. А потому помощью законов невозможно бороться с такими преступлениями. Мы же действительно боремся с ними. Мы веруем, что только в духе человек найдет удовлетворение и смысл своей жизни, и что, служа своим страстям, он не может получить удовлетворения. Мы сами укрощаем свои страсти трудовой, любовной жизнью и развиваем в себе силу духа; и чем больше разрастется наше число, чем шире и глубже распространится наша вера, тем неизбежнее уменьшится число таких преступлений.

Наконец третий разряд преступлений совершается из желания помочь людям. Из желания облегчить участь народа, некоторые люди, заговорщики, убивают тирана, думая, что они этим помогут большинству. Источник таких преступлений лежит в том, что люди думают, что можно при помощи зла творить добро. Эти преступления из-за идеи не только не сдерживаются применением к ним законной кары, но, наоборот, только поощряются и распространяются карательными мерами. Сами люди, совершающие подобные преступления, хотя и заблуждаются, но действуют под влиянием доброго побуждения, из желания служить людям. Они люди искренние, готовые жертвовать собою и не отступающие ни перед какими опасностями. И потому страх наказания не сдерживает их. Наоборот, опасности их воодушевляют, и страдания и казнь возводят их в положение героев, привлекают к ним сочувствие других людей и увлекают других на тот же путь. Это мы видим в истории всякого народа. Мы, христиане, веруем, что зло пройдет только тогда, когда все поймут несчастье, неизбежно вытекающее из него для себя и для других. Мы знаем, что братство достигается только тогда, когда каждый из нас будет братом, – что нельзя устроить братство без братьев. И мы, хотя видим заблуждение заговорщиков, но ценим их искренность и самоотречение и сближаемся с ними в том хорошем, что в них есть. Они же видят в нас не врагов, а людей таких же искренних и желающих добра людям, как и они, и многие из них переходят на нашу сторону, убеждаясь в том, что тихая трудовая жизнь, проводимая в неотступной заботе о других, несравненно и полезнее для людей и труднее их минутных подвигов, сопряженных с человеческими жертвами. И такие люди, примкнувшие к нам, оказываются одними из самых деятельных и сильных духом из всех братьев в наших общинах.

Кто же успешнее борется с преступлениями всякого рода и больше содействует их искоренению, мы ли, христиане, показывающие радость духовной жизни, из которой не вытекает зла, мы, действующие примером и любовью, – или же ваши правители и судьи, постановляющие приговоры по букве мертвого закона и в конце губящие своих жертв или доводящие их до самого крайнего ожесточения?

– Когда слушаешь тебя, – сказал Юлий, – то выходит, как будто вы и правы. Но скажи же мне, Памфилий, – почему люди относятся к вам враждебно, преследуют вас, гонят и убивают? Почему из вашего учения любви вытекает раздор?

– Причина этому не в нас самих, а вне нас. Сейчас я говорил о таких преступлениях, которые признаются преступлениями одинаково и государством и нами. Эти преступления представляют такой вид насилия, который нарушает временно установленные законы какой-либо страны. Но помимо этих законов, люди сознают в себе еще другие законы вечные, общечеловеческие, написанные в сердцах всех людей. Мы, христиане, подчиняемся этим божеским общечеловеческим законам, признавая в словах и жизни нашего учителя наилучшее, самое ясное и полное их выражение. А потому в наших глазах преступление есть всякое насилие, нарушающее заповеди Христа, так как они выражают закон Божий. Мы признаем, что, ради возможного избежания вражды против нас, нам следует исполнять и государственные законы той страны, в которой мы живем; но мы ставим выше всего закон божеский, управляющий

нашей совестью и разумом, мы можем исполнять только те государственные законы, которые не противны Божескому. Кесарево – Кесарю, а Божье – Богу. Мы имеем в виду не только преступления законов одного какого-либо государства, в пределах которого мы случайно родились и должны жить; но прежде всего избегаем преступлений против воли Божьей, общей всей природе человеческой. И потому наша борьба с преступлениями и шире и глубже вашей – государственной. И вот это самое признание нами закона Божеского за высший закон тревожит и возмущает людей, ставящих выше всего какой-нибудь частный закон, например, закон своего государства или даже, как часто бывает, возводящих в закон обычай своей среды. Не желая или не будучи в состоянии стать людьми в настоящем смысле, в том смысле, в котором Христос говорил, что истина сделает нас свободными, эти люди ограничиваются положением подданного того или другого государства или члена общества, и потому естественно питают вражду к тем, которые видят и признают более высокое назначение человека. Не желая или не будучи в состоянии сами сознать это высшее назначение, они не допускают его для других. О них и говорил Христос: «Горе вам, законники, что вы взяли ключи разумения; сами не вошли и входящим воспрепятствовали». От них-то и исходят те гонения против нас, которые тебя смущают.

Мы сами ни к кому не питаем вражды, даже и к тем, которые нас гонят, и наш образ жизни никому не наносит ни вреда, ни ущерба. Если люди раздражаются против нас и даже питают к нам вражду, то это может быть только оттого, что наша жизнь колет им глаза, обличая их жизнь, основанную на насилии. Прекратить такую вражду против нас, исходящую не от нас, мы не имеем возможности, потому что не можем перестать понимать ту истину, которую мы поняли, – не можем зажать противно нашей совести и нашему разуму. Про эту самую вражду, которую наша вера вызывает в других против нас, наш учитель сказал: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю; не мир пришел я принести, но меч». Христос испытывал на себе эту вражду и нас, своих учеников, не раз предупреждал о ней. «Меня, говорил он, мир ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Но, как и Христос, мы не боимся убивающих тело, и потом не могущих ничего более сделать. Освященные светом истины, мы живем в этом свете, и жизнь эта не знает смерти. Плотские же страдания и смерть не минуют никакого человека. Придется в свое время и нашим палачам страдать телом и умирать; и ужас берет, когда подумаешь, как мучиться они будут, несчастные, беспомощные перед плотской смертью, теряя в ней всё то, чего они с такими хлопотами, с такими напряженными усилиями достигли в течение всей своей жизни. От этих ужаснейших из всех страданий мы, слава Богу, предохранены, так как счастье для нас лежит не в том, чтобы не страдать телом и не умирать, а в том, чтобы, возвысив в себе жизнь духа, сохранять свое равновесие при всех обстоятельствах – радостно сознавать разумность и неизбежность для нас всего того, что помимо нашей воли происходит с нами и, главное, знать, что мы верны нашей совести и разуму, этим высшим дарам, вложенным в человека самим источником истины. И мы не страдаем от наших гонителей, враждующих против нас. Страдаем не мы, а они страдают от их чувства вражды и ненависти, которое они, как змею на груди, взлелеяли в своем сердце. «Суд над нами состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет; потому что дела их были злы». Смущаться тут нечего, потому что истина берет свое. «Овцы слышат голос пастыря и идут за ним, потому что знают голос его».

«И не гибнет стадо Христово, а растет, привлекая к себе новых овец со всех сторон земли, ибо дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, хотя и не знаешь, откуда приходит и куда уходит».

– Да, – прервал его Юлий, – но много ли искренних между вами? Часто вас обвиняют в том, что вы только делаете вид, что вы мученики и рады погибнуть за истину, но истина не на вашей стороне, вы – гордые безумцы, разрушающие все основы общественной жизни.

Памфилий ничего не отвечал и с грустью глядел на Юлия.

IX.

В то время, как Юлий говорил это, в комнату вбежал маленький сын Памфилия и прижался к отцу. Несмотря на все ласки жены Юлия, он убежал от нее и прибежал к отцу.

Памфилий вздохнул и приласкал сына и поднялся, но Юлий удержал его, прося остаться и еще побеседовать и пообедать.

– Меня удивляет, – сказал Юлий, – что ты женился и имеешь детей. Я не могу понять, каким образом вы, христиане, можете при отсутствии собственности воспитывать детей. Каким образом ваши матери могут жить спокойно, зная необеспеченность и беспомощность своих детей.

– Почему же наши дети менее обеспечены, чем ваши?

– Да потому, что у вас нет рабов, нет имущества. Жена моя очень склонна к христианству; она даже одно время хотела бросить эту жизнь. Это было шесть лет тому назад. Я хотел с нею вместе уйти. Но прежде всего ее испугала та необеспеченность, та нужда, которая предстояла детям, и я не мог не согласиться с нею. Это было во время моей болезни. Вся моя жизнь опротивела мне, и я хотел всё бросить. Но тут страх жены, и с другой стороны разъяснения врача, который лечил меня, убедили меня, что христианская жизнь, как вы ее ведете, возможна и хороша для несемейных, но что семейным людям, матерям с детьми, в ней нет места. Что при жизни, как вы ее понимаете, жизнь, т. е. род человеческий должен прекратиться. И это совершенно справедливо. Поэтому появление тебя с ребенком особенно удивило меня.

– Не только один ребенок. Дома остался еще один, грудной и 3-х летняя девочка.

– Объясни же мне, как это делается. Я не понимаю. Я пять лет тому назад был готов бросить всё и идти к вам. Но у меня были дети, и я понял, что, как бы ни хорошо было мне, я не имел права жертвовать детьми, и остался для них жить попрежнему, чтобы вырастить их в тех условиях, в которых я сам вырос и жил.

– Странно, – сказал Памфилий. – Мы рассуждаем совершенно обратно. Мы говорим: если бы взрослые люди жили по-мирски – это еще можно простить, потому что они уже испорчены; но дети?

Это ужасно! Жить с ними в миру и соблазнять их! «Горе миру от соблазнов: ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит».

Так говорит наш учитель, и потому, не для возражения я говорю это, а потому что это действительно так – самая главная необходимость жить так, как мы все живем, вытекает для нас из того, что среди нас есть дети, те существа, про которых сказано: «Если не будете как дети, не войдете в царство небесное».

– Но как может христианское семейство не иметь определенных средств к жизни?

– Средство к жизни по нашей вере есть только одно: любовная работа на людей. Ваше же средство есть насилие. Оно может уничтожиться, как уничтожаются богатства, и тогда остается одна работа и любовь людей. Мы считаем, что то, что есть основа всего, того и надо держаться, увеличивая его. И когда это есть, то семья живет и даже благоденствует.

Нет, – продолжал Памфилий – если бы я сомневался в истинности учения Христа и если колебался бы в исполнении его, то и сомнение и колебания мои кончились бы тотчас, если бы я подумал об участи детей, воспитанных в язычестве, в тех условиях, в которых ты вырос и растут твои дети. Какие бы мы, некоторые люди, ни делали устройства жизни – с дворцами, рабами и произведениями чуждых стран, привозимыми к нам, жизнь большинства людей всё-

таки остается такую, какая она есть, какой она должна быть. Обеспечение этой жизни остается всегда одно: любовь людей и труд. Мы хотим сами освободить себя и своих детей от этих условий и посредством насилия – не любовно заставляем людей служить нам, и – удивительное дело! – чем больше мы, как будто, обеспечиваем себя, этим мы тем больше лишаем себя истинного естественного и вечного обеспечения – любви. Чем больше власть владыки, тем меньше к нему любви.

То же и с другим обеспечением – трудом. Чем больше человек избавляет себя от труда и приучается к роскоши, тем менее он становится способным к труду; тем более лишается истинного и вечного обеспечения. И эти-то условия, в которые люди ставят детей своих, они называют обеспечением. Возьми твоего сына и моего и пошли их теперь найти дорогу, передать распоряжение, сделать нужное дело, и посмотри, который из двух лучше сделает; а попробуй отдать их на воспитание, – которого из двух охотнее возьмут? Нет, не говори этих ужасных слов, что христианская жизнь возможна только для бездетных. Напротив, можно сказать, языческой жизнью жить простительно только бездетным. Но горе тому, кто соблазнит единого из малых сих.

Юлий молчал.

– Да, – сказал он, – может, ты и прав, но воспитание детей начато, лучшие учителя учат их. Пускай они узнают всё, что мы знаем. Вреда от этого не может быть. А для меня и для них время есть еще. Они могут придти к вам, когда будут в силе, если найдут это нужным. Я же могу сделать это, когда поставлю на ноги детей и останусь свободным.

– Познаете истину и свободны будете, – сказал Памфилий. Христос дает сразу полную свободу; мирское учение никогда не дает ее. Прощай.

И Памфилий ушел с сыном.

Суд состоялся гласный, и Юлий видел на нем Памфилия, как он с другими христианами убирал тела мучеников. Он видел его, но, опасаясь высшей власти, не подошел к нему и не позвал к себе.

Х.

Прошло еще двенадцать лет. Жена Юлия умерла. Жизнь его текла в заботах общественной деятельности и в поисках за властью, которая то давалась ему, то ускользала от него. Состояние его было велико и еще увеличивалось.

Но сыновья его выросли, и особенно второй, стал вести роскошную жизнь. Он делал дыры в дне ведра, в которое собиралось состояние, и по мере увеличения состояния увеличивалась быстрота течения из дыр. Началась у Юлия борьба с сыновьями такая же, какая была у него самого с отцом. Злоба, ненависть, ревность. К этому же времени новый император лишил Юлия своих милостей. Юлий был брошен прежними льстецами и ему предстояло изгнание. Он поехал объясняться в Рим. Его не допустили и велели уехать.

Приехав домой, он застал сына с распутными юношами в доме. В Киликии прошел слух, что Юлий умер, и сын праздновал смерть отца. Юлий вышел из себя, ударил сына так, что он упал замертво, и ушел в покои жены. В покоях жены он нашел Евангелие и прочел: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас».

«Да, – подумал Юлий, – давно уж он зовет меня. Я не верил Ему и был непокорен и зол, и иго мое было тяжело и бремя мое было зло».

Долго просидел Юлий с развернутым списком Евангелия на коленях, размышляя о всей протекшей жизни и вспоминая то, что в разное время говорил ему Памфилий.

Потом Юлий встал и пошел к сыну. Он застал своего сына на ногах и несказанно обрадовался тому, что не нанес ему повреждений своим ударом.

Не говоря сыну ни слова, Юлий вышел на улицу и пошел по направлению к христианской общине.

Он шел весь день и вечером остановился ночевать у поселянина. В комнате, в которую он вошел, лежал человек. При шуме шагов человек поднялся.

Это был врач.

– Нет, теперь уж ты не отговоришь меня, – закричал Юлий. – Я третий раз иду туда же и знаю, что там только найду успокоение.

– Где? – спросил врач.

– У христиан.

– Да, может быть, найдешь успокоение, но ты не исполнишь своей обязанности. В тебе нет мужества, несчастья побеждают тебя. Не так поступают истинные философы. Несчастья – это только огонь, которым испытывают золото. Ты прошел через горнило. И теперь-то ты и нужен, и теперь-то ты и бежишь. Теперь-то испытай людей и себя. Ты приобрел истинную мудрость и ее-то должен употребить на благо республики. Что бы было с гражданами, если бы те, которые познали людей, их страсти и условия жизни, вместо того, чтобы нести свои знания, свою опытность на пользу общества, зарывали бы их в поисках за успокоением. Жизненная мудрость твоя приобретена в обществе, и ее ты должен отдать тому же обществу.

– Но у меня никакой мудрости нет. Я весь в заблуждениях. Они стары, но от этого не стали мудростью. Как вода, как бы она ни была стара и гнила, она не станет вином.

Так сказал Юлий и, схватив свой плащ, вышел из дома и, не отдыхая, пошел дальше.

В конце другого вечера он пришел к христианам. Его приняли радостно, хотя и не знали, что он друг всеми любимого и уважаемого Памфилия.

За трапезой Памфилий увидал своего друга и с радостной улыбкой подбежал к нему и обнял его.

– Вот я и пришел, – сказал Юлий, – скажи, что мне делать, я буду слушаться тебя.

– Не заботься об этом, – сказал Памфилий. – Пойдем со мной.

И Памфилий провел Юлия в дом, где жили приходящие, и, указав ему постель, сказал:

– Чем ты можешь служить людям, ты сам увидишь, когда успеешь приглядеться к нашей жизни; но чтобы знать, куда сейчас определить свой досуг, я укажу тебе на завтра дело. В садах наших идет сбор винограда, иди и подсобляй там. Ты сам увидишь, где тебе место.

На утро Юлий пошел в виноградник. Первый был виноградник молодой, обвешанный гроздьями. Молодые люди обирали и снимали его. Все места были заняты, и, походив долго везде, Юлий не нашел себе места.

Он пошел дальше; это был виноградник более старый, плодов было меньше; но и тут нечего было делать Юлию – все работали попарно, и ему не было места. Он прошел еще дальше и вошел в уже перестаревший виноградник. Он был весь пустой. Лозы были корявые, кривые и, как казалось Юлию, все пусты.

Так вот что, моя жизнь, – сказал он себе. – Если бы я пришел в первый раз, она была бы, как плоды первого сада. Если бы я пришел, когда пошел во второй раз, – она была бы, как плоды второго сада, а вот моя жизнь – она, как эти ненужные, состаревшиеся лозы, годные только на топливо.

Испугался Юлий того, что он сделал, испугался того наказания, которое ждет его за то, что ни за что погубил всю свою жизнь.

И опечалился Юлий и говорил:

«Никуда я не годен и ничего не могу сделать теперь». И не поднимался с места и плакал о том, что погубил он то, чего возратить уже нельзя было.

Но вдруг услышал он старческий голос, звавший его:

– Трудись, брат милый, – говорил голос.

Юлий оглянулся и увидел согнутого годами белого, как лунь, старичка, насилу передвигавшего ноги. Он стоял у лозы и собирал с нее кое-где оставшиеся сладкие гроздья. Юлий подошел к нему.

– Трудись, милый брат. Труд радостный.

И он указал ему, как отыскивать оставшиеся кое-где гроздья. Юлий пошел искать, нашел несколько и принес и сложил в корзину к старцу.

И сказал ему старец:

– Посмотри: чем хуже эти гроздья тех, которые собирали в тех садах?

«Ходите в свете, пока есть свет в вас», сказал наш учитель. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Ибо не послал Бог Сына своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а не верующий уже осужден, потому что не уверовал в едиnorodного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий худые дела, ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны.

Ты опечален тем, что не сделал больше того, что сделал. Не печалься, сын мой. Мы все сыны Бога и слуги Его. Мы все одно войско Его. Что же, разве, кроме тебя, думаешь, нет слуг Ему? И что ж, если бы ты во всей силе своей отдался служению Его, разве бы ты всё сделал, что нужно Ему, всё то, что должно делать людям, чтобы установить царство Его?

Ты говоришь, что ты сделал бы вдвое, вдесятеро, в сто раз больше. Да если бы ты в тьматем больше всех людей сделал, – что бы это было в деле Божьем? Ничто. Делу Божьему, как и Богу, нет пределов и нет конца. Дело Божье в тебе. Ты приди к нему и стань не работником, но сыном, и ты станешь участником беспредельного Бога и дела Его. У Бога нет малого и большого, и в жизни нет малого и большого, а есть только прямое и кривое. Войди в прямой путь жизни, и ты будешь с Богом, и дело твоё станет не малым и не большим, а станет делом Божьим. Вспомни, что на небе больше радости за одного грешника, чем за сто праведников. Мирское дело, всё то, что ты пропустил, показало тебе только грех твой. А когда ты увидел грех твой, ты и покаялся. А как ты покаялся, так ты нашел прямой путь. А нашел прямой путь, иди по нем с Богом, и не думай о прошлом, о большом и малом. Для Бога все живые равны. Один Бог и одна жизнь.

И успокоился Юлий, и стал жить и работать по силе, по мочи для братьев своих. И прожил так в радости еще двадцать лет и не видал, как умер плотской смертью.

–

ТРИ СЫНА

(ПРИТЧА).

Дал отец сыну именье, хлеба, скотины, и сказал: – живи так, как я, и будет тебе всегда хорошо.

Взял сын всё отцовское, ушел от отца и стал жить в свое удовольствие. Отец ведь сказал, чтобы я жил так, как и он. Он живет и радуется, и я буду так жить.

Жил так год, два, десять, двадцать лет, и прожил всё отцовское именье, и ничего не осталось у него. И стал он просить отца дать ему еще; но отец не слушал его. Тогда стал он задабривать отца и дарить отцу то, что у него было лучшего, и просить его. Но отец ничего не отвечал ему. Тогда сын стал просить прощенья у отца, думая, что он обидел чем отца, и опять просил дать ему еще; но отец ничего не говорил.

И тогда стал сын клясть отца. Он сказал: – Если теперь не даешь, зачем прежде давал и отделял меня и обещал, что мне будет всегда хорошо жить. Не стоят все мои прежние радости, когда я проживал именье, одного часа теперешней муки. Вижу, что погибаю, и спасенья нет. А кто виноват? – Ты. Ты ведь знал, что мне не достанет именья, а не дал больше. Ты сказал мне только: живи, как я, и тебе будет хорошо. Я и жил, как ты. Ты жил в свое удовольствие, и я жил в свое удовольствие. Себе-то ты больше оставил. У тебя и теперь есть, а мне не достало. Не отец ты, а обманщик и злодей. Проклятая моя жизнь, проклят и ты, злодей, мучитель, не хочу знать и ненавижу тебя.

Дал отец именье и второму сыну, и сказал только: – живи как я, и тебе будет всегда хорошо. Второй сын уж не так обрадовался именью, как первый. Он думал, что ему так и следует. Но он знал, что случилось с старшим братом, и потому стал думать о том, как бы не прожить всё именье так же, как и первый. Он понял одно, что старший брат не так понял слова: живи как я, и что не надо жить только в свое удовольствие. И стал он думать, что значит: живи как я. И придумал, что надо как и отец, заводить всё то именье, которое дано ему. И начал заводить вновь такое же именье, как и то, которое дал ему отец.

И стал он придумывать, как бы самому снова сделать всё то, что дал ему отец. И стал спрашивать у отца, как что делать: но отец не отвечал ему. Но сын подумал, что отец боится сказать ему, и стал разбирать все вещи отцовские, чтобы понять по ним, как всё сделано, и перепортил и погубил всё, что получил от отца, а всё, что сделал нового, всё это было не на пользу; но ему не хотелось признаться, что он всё перепортил, и он жил и мучался, а всем говорил, что отец ему ничего и не давал, а всё он сделал себе сам. А все мы сами и всё можем делать лучше и лучше и дойдем скоро так, что всё будет прекрасно. Так говорил второй сын, пока еще у него оставалось кое-что отцовское, но когда он переломал последнее и ему стало нечем жить, он сам на себя наложил руки и убил себя.

Дал отец такое же именье и третьему сыну, и так же сказал: живи так, как я, и тебе будет всегда хорошо. И третий сын так же, как первый и второй, обрадовался именью и ушел от отца; но он знал, что случилось с старшими братьями, и стал думать о том, что значит: живи так, как я, и тебе будет всегда хорошо.

Старший брат думал, что жить так, как отец, значит жить в свое удовольствие, и всё прожил и пропал. Второй брат думал, что жить так, как отец, значит сделать самому всё то, что сделал отец, и тоже отчаялся. Что же значит: живи так, как отец?

И стал он вспоминать всё, что знал об отце. И сколько он ни думал, ничего другого он не знал об отце, как только то, что прежде ничего не было, и его самого не было; и что отец родил, вспоил, вскормил его, научил и дал ему всякое добро и сказал: живи так, как я, и тебе

будет всегда хорошо. То же отец сделал и с братьями. И сколько он ни думал, больше он ничего не мог узнать об отце. Всё, что он знал об отце, было только то, что отец делал добро и ему и братьям его.

И тогда он понял, что значат слова: живи так, как я. Он понял, что жить так, как отец, значит, делать то, что он делает, делать добро людям.

И когда он подумал это, отец уж был подле него и сказал: Вот мы и опять вместе, и тебе всегда будет хорошо. Поди же к своим братьям, ко всем детям моим и скажи им, что значит: живите как я, и что правда то, что тем, которые будут жить, как я, будет всегда хорошо.

И третий сын пошел и всё рассказал своим братьям, и с тех пор все дети, когда получали именье от отца, радовались не тому, что у них именья много, а тому, что они могут жить так же, как отец, и что им будет всегда хорошо.

—

Отец – это Бог; сыновья – это люди; именье – это жизнь. Люди думают, что они могут жить одни, без Бога. – Одни из этих людей думают, что жизнь им дана затем, чтобы веселиться этой жизнью. Они веселятся и проматывают жизнь, а как придет время умирать, не понимают, зачем была дана жизнь такая, веселье которой кончается страданиями и смертью. И эти люди умирают, проклиная Бога и называя его злым, и отделяются от Бога. Это первый сын.

Другие люди думают, что жизнь им дана затем, чтобы понять, как она сделана и чтобы сделать её лучше, чем та, к[оторая] дана им от Бога. И они бьются о том, чтобы сделать другую, лучшую жизнь. Но они, улучшая эту жизнь, губят ее, и этим сами лишают себя жизни.

Третьи говорят: Всё, что мы знаем о Боге, это то, что Он дает людям благо, велит им делать то же, что и Он, и потому будем делать то же, что Он – благо людям.

И как только они начинают делать это, Бог сам приходит к ним и говорит:

– Этого самого я и хотел. Делайте со мною вместе то, что я делаю, и как я живу, так и вы жить будете.

—

СТАТЬИ 1886—1889

ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «ЦВЕТНИК».

Порождения ехидны! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое.

Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда.

Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься.
(*Матф. 12, 34—37.*)

В этой книге кроме рассказов, в которых описываются истинные происшествия, собраны еще истории, предания, сказания, легенды, басни, сказки, такие, какие были составлены и написаны на пользу людей.

Мы собрали такие, какие мы считаем согласными с учением Христа и потому считаем добрыми и правдивыми.

Многие люди и особенно дети, читая историю, сказку, легенду, басню, прежде всего спрашивают: правда ли то, что описывается; и часто, если видят, что то, что описывается, не могло случиться, то говорят: это пустая выдумка и это неправда.

Люди, которые судят так, судят неправильно.

Правду узнает не тот, кто узнает только то, что было, есть и бывает, а тот, кто узнает, что должно быть по воле Бога.

Напишет правду не тот, кто только опишет, как было дело и что сделал тот, и что сделал другой человек, а тот, кто покажет, что делают люди хорошо, т. е. согласно с волей Бога и что дурно, т. е. противно воле Бога.

Правда – это путь. Христос сказал: «Я есмь путь и истина, и жизнь».

И потому правду знает не тот, кто глядит себе под ноги, а тот, кто знает по солнцу, куда ему идти.

Все словесные сочинения и хороши, и нужны не тогда, когда они описывают, что было, а когда показывают, что должно быть; не тогда, когда они рассказывают то, что делали люди, а когда оценивают хорошее и дурное, когда показывают людям один тесный путь воли Божьей, ведущей в жизнь.

Для того же, чтобы показать этот путь, нельзя описывать только то, что бывает в мире. Мир лежит во зле и соблазнах. Если будешь описывать много лжи, и в словах твоих не будет правды. Чтобы была правда в том, что описываешь, надо писать не то, что есть, а то, что должно быть, описывать не правду того, что есть, а правду царствия Божия, которое близится к нам, но которого еще нет. От этого и бывает то, что есть горы книг, в которых говорится о том, что точно было или могло быть, но книги эти всё ложь, если те, кто их пишут, не знают сами, что хорошо, что дурно и не знают, и не показывают того единого пути, который ведет людей к царствию Божьему. И бывает то, что есть сказки, притчи, басни, легенды, в которых описывается чудесное, такое, чего никогда не бывало и не могло быть, и легенды, сказки, басни эти правда потому, что они показывают то, в чем воля Божия всегда была, есть и будет, показывают, в чем правда царствия Божия.

Может быть такая книга, и много, много есть таких романов, историй, в которых описывается, как человек живет для своих страстей, мучается, других мучает, терпит опасности, нужду, хитрит, борется с другими, выбивается из бедности и под конец соединяется с предметом своей любви и делается знатен, богат и счастлив. Книга такая, если бы и всё, что в ней описывается, точно так и было и не было бы в ней ничего невероятного, всё-таки будет ложь и неправда, потому что человек, живущий для себя и для своих страстей, какая бы у него ни была красавица жена и как бы он ни был знатен, богат, не может быть счастлив.

И может быть такая легенда, что Христос с апостолами ходили по земле и зашли к богачу, и богач не пустил Его, а зашли к бедной вдове, и она пустила. И потом Он велел бочке золота покатиться к богачу, а волка послал к бедной вдове съесть ее последнюю телушку, и вдове было хорошо, а богачу худо. А хорошо было вдове потому, что доброго ее дела и счастья от того, что она его сделала, никто не мог отнять у нее; а богачу было худо потому, что на совести осталось дурное дело, и горечь от дурного дела не прошла от бочки золота.

Такая история вся невероятная, потому что ничего того, что описывается, не бывало и не могло быть; но она вся правда, потому что в ней показывается то, что всегда должно быть, в чем добро, в чем зло и к чему должен стремиться человек, чтобы исполнить волю Бога.

Какие бы чудеса ни описывались, какие бы звери ни разговаривали по-людски, какие бы ковры самолеты ни переносили людей, – и легенды, и притчи, и сказки будут правда, если в них будет правда царствия Божия. А если не будет этой правды, то пускай всё, что описывается, будет засвидетельствовано кем бы то ни было, всё это будет ложь, потому что нет в нем правды царствия Божия. Сам Христос говорил притчами и притчи Его остались вечною правдою. Он только прибавлял: «и так наблюдайте, как вы слушаете».

О ЖИЗНИ 1886—1887

L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt: et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Ainsi, toute notre dignité consiste dans la pensée. C'est de là qu'il faut nous relever, non de l'espace et de la durée. Travaillons donc à bien penser: voilà le principe de la morale.

Pascal.

Zwei Dinge erfüllen mir das Gemüth mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir... Das erste fängt von dem Platze an, den ich in der äussern Sinnenwelt einnehme, und erweitert die Verknüpfung, darin ich stehe, ins unabsehlich Grosse mit Welten über Welten und Systemen von Systemen, überdem noch in grenzenlose Zeiten ihrer periodischen Bewegung, deren Anfang und Fortdauer. Das zweite fängt von meinem unsichtbaren Selbst, meiner Persönlichkeit an, und stellt mich in einer Welt dar, die wahre Unendlichkeit hat, aber nur dem Verstände spürbar ist, und mit welcher ich mich, nicht wie dort in blos zufälliger, sondern allgemeiner und nothwendiger Verknüpfung erkenne.

Kant. [Krit. der pract. Vern. Beschluss].

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга».

Ев. Иоан. XII, 34

ВСТУПЛЕНИЕ.

Представим себе человека, которого единственным средством к жизни была бы мельница. Человек этот – сын и внук мельника и по преданию твердо знает, как надо во всех частях ее обращаться с мельницей, чтобы она хорошо молола. Человек этот, не зная механики, прилаживал, как умел, все части мельницы так, чтобы размол был спорый, хороший, и человек жил и кормился.

Но случилось этому человеку раздуматься над устройством мельницы, услышать кое-какие неясные толки о механике, и он стал наблюдать, что от чего вертится.

И от порхлицы до жернова, от жернова до вала, от вала до колеса, от колеса до заставок, плотины и воды, дошел до того, что ясно понял, что всё дело в плотине и в реке. И человек так обрадовался этому открытию, что вместо того, чтобы, по прежнему, сличая качество выходящей муки, опускать и поднимать жернова, ковать их, натягивать и ослаблять ремень, стал изучать реку. И мельница его совсем разладилась. Стали мельнику говорить, что он не то делает. Он спорил и продолжал рассуждать о реке. И так много и долго работал над этим, так горячо и много спорил с теми, которые показывали ему неправильность его приема мысли, что под конец и сам убедился в том, что река и есть самая мельница.

На все доказательства неправильности его рассуждений, такой мельник будет отвечать: никакая мельница не мелет без воды; следовательно, чтоб знать мельницу, надо знать, как пус-

кать воду, надо знать силу ее движения и откуда она берется, – следовательно, чтобы знать мельницу, надо познать реку.

Логически мельник неопровержим в своем рассуждении. Единственное средство вывести его из его заблуждения состоит в том, чтобы показать ему, что в каждом рассуждении не столько важно само рассуждение, сколько занимаемое рассуждением место, т. е. что для того, чтобы плодотворно мыслить, необходимо знать, о чем прежде надо мыслить и о чем после; показать ему, что разумная деятельность отличается от безумной только тем, что разумная деятельность распределяет свои рассуждения по порядку их важности: какое рассуждение должно быть 1-м, 2-м, 3-м, 10-м, и т. д. Безумная же деятельность состоит в рассуждениях без этого порядка. Нужно показать ему и то, что определение этого порядка не случайно, а зависит от той цели, для которой и производятся рассуждения.

Цель всех рассуждений и устанавливает порядок, в котором должны располагаться отдельные рассуждения, для того чтобы быть разумными.

И рассуждение, не связанное с общей целью всех рассуждений, безумно, как бы оно ни было логично.

Цель мельника в том, чтобы у него был хороший размол, и эта-то цель, если он не будет упускать ее из вида, определит для него несомненный порядок и последовательность его рассуждений о жерновах, о колесе, плотине и о реке.

Без этого же отношения к цели рассуждений, рассуждения мельника, как бы они ни были красивы и логичны, сами в себе будут неправильны и, главное, праздны; будут подобны рассуждениям Кифы Мокеевича, рассуждавшего о том, какой толщины должна бы быть скорлупа слоновое яйцо, если бы слоны выводились из яиц как птицы. И таковы, по моему мнению, рассуждения нашей современной науки о жизни.

Жизнь есть та мельница, которую хочет исследовать человек. Мельница нужна для того, чтобы она хорошо молола, жизнь нужна только затем, чтобы она была хорошая. И эту цель исследования человек не может покидать ни на одно мгновение безнаказанно. Если он покинет ее, то его рассуждения неизбежно потеряют свое место и сделаются подобны рассуждениям Кифы Мокеевича о том, какой нужен порох, чтобы пробить скорлупу слоновых яиц.

Исследует человек жизнь только для того, чтобы она была лучше. Так и исследовали жизнь люди, подвигающие вперед человечество на пути знания. Но, рядом с этими истинными учителями и благодетелями человечества, всегда были и теперь есть рассудители, покидающие цель рассуждения и вместо нее разбирающие вопрос о том, отчего происходит жизнь, отчего вертится мельница. Одни утверждают, что от воды, – другие, что от устройства. Спор разгорается, и предмет рассуждения отодвигается всё дальше и дальше и совершенно заменяется чуждыми предметами.

Есть старинная шутка о споре жидовина с христианином. Рассказывается, как христианин, отвечая на запутанные тонкости жидовина, ударил его ладонью по плечи так, что щелкнуло, и задал вопрос: от чего щелкнуло? от ладони или от плечи? И спор о вере заменился новым неразрешимым вопросом.

Что-то подобное с древнейших времен рядом с истинным знанием людей происходит и по отношению к вопросу о жизни.

С древнейших времен известны рассуждения о том, отчего происходит жизнь? от неведомого начала или от различных комбинаций материи? И рассуждения эти продолжают до сих пор, так что не предвидится им никакого конца, именно потому, что цель всех рассуждений оставлена и рассуждается о жизни независимо от ее цели; и под словом жизнь понимают уж не жизнь, а то, отчего она происходит, или то, что ей сопутствует.

Теперь, не только в научных книжках, но и в разговорах, говоря о жизни, говорят не о той, которую мы все знаем, – о жизни, сознаваемой мною теми страданиями, которых я боюсь и которые ненавижу, и теми наслаждениями и радостями, которых я желаю; а о чем-то таком,

что, может быть, возникло из игры случайности по некоторым физическим законам, а может быть и от того, что имеет в себе таинственную причину.

Теперь слово «жизнь» приписывается чему-то спорному, не имеющему в себе главных признаков жизни: сознания страданий и наслаждений, стремления к благу.

«La vie est l'ensemble des fonctions, qui résistent à la mort. La vie est l'ensemble des phénomènes, qui se succèdent pendant un temps limité dans un être organisé». «Жизнь есть двойной процесс разложения и соединения, общего и вместе с тем непрерывного. Жизнь есть известное сочетание разнородных изменений, совершающихся последовательно. Жизнь есть организм в действии. Жизнь есть особенная деятельность органического вещества. Жизнь есть приспособление внутренних отношений к внешним».

Не говоря о неточностях, тавтологиях, которыми наполнены все эти определения, сущность их всех одинакова, именно та, что определяется не то, что все люди одинаково бесспорно понимают под словом «жизнь», а какие-то процессы, сопутствующие жизни и другим явлениям.

Под большинство этих определений подходит деятельность восстанавливающегося кристалла; под некоторые подходит деятельность брожения, гниения, и под все подходит жизнь каждой отдельной клеточки моего тела, для которых нет ничего – ни хорошего, ни дурного. Некоторые процессы, происходящие в кристаллах, в протоплазме, в ядре протоплазмы, в клеточках моего тела и других тел, называют тем словом, которое во мне неразрывно соединено с сознанием стремления к моему благу.

Рассуждение о некоторых условиях жизни, как о жизни, всё равно, что рассуждение о реке, как о мельнице. Рассуждения эти, может быть, для чего-нибудь очень нужны. Но рассуждения эти не касаются того предмета, который они хотят обсуживать. И потому все заключения о жизни, выводимые из таких рассуждений, не могут не быть ложны.

Слово «жизнь» очень коротко и очень ясно, и всякий понимает, что оно значит. Но именно потому, что все понимают, что оно значит, мы и обязаны употреблять его всегда в этом понятном всем значении. Ведь слово это понятно всем не потому, что оно очень точно определено другими словами и понятиями, а напротив, потому, что слово это означает основное понятие, из которого выводятся многие, если не все другие понятия, и поэтому для того, чтобы делать выводы из этого понятия, мы обязаны прежде всего принимать это понятие в его центральном, бесспорном для всех значении. А это-то самое, мне кажется, и было упущено спорящими сторонами по отношению к понятию жизни. Случилось то, что основное понятие жизни, взятое в начале не в его центральном значении, вследствие споров о нем всё более и более удаляясь от основного, всеми признаваемого центрального значения, потеряло наконец свой основной смысл и получило другое, несоответствующее ему значение. Сделалось то, что самый центр, из которого описывали фигуры, оставлен и перенесен в новую точку.

Спрячь о том, есть ли жизнь в клеточке или в протоплазме или еще ниже, в неорганической материи? Но прежде чем спорить, надо спросить себя: имеем ли мы право приписывать понятие жизни клеточке?

Мы говорим, например, что в клеточке есть жизнь, что клеточка есть живое существо. А между тем основное понятие жизни человеческой и понятие той жизни, которая есть в клеточке, суть два понятия, не только совершенно различные, но и не соединимые. Одно понятие исключает другое. Я открываю, что мое тело всё без остатка состоит из клеточек. Клеточки эти, мне говорят, имеют то же свойство жизни, как и я, и суть такие же живые существа, как и я; но себя я признаю живым за только потому, что я сознаю себя со всеми клеточками, составляющими меня, одним нераздельным живым существом. Весь же я без остатка, мне говорят, составлен из живых клеточек. Чему же я припишу свойство жизни – клеточкам или себе? Если я допущу, что клеточки имеют жизнь, то я от понятия жизни должен отвлечь главный признак своей жизни, сознание себя единым живым существом; если же я допущу, что я имею

жизнь, как отдельное существо, то очевидно, что клеточкам, из которых состоит всё мое тело и о сознании которых я ничего не знаю, я никак не могу приписать того же свойства.

Или я живой и во мне есть неживые частицы, называемые клеточками, – или есть сонмище живых клеточек, а мое сознание жизни не есть жизнь, а только иллюзия.

Мы ведь не говорим, что в клеточке есть что-то такое, что мы называем *брызнь*, а говорим, что есть «жизнь». Мы говорим: «жизнь», потому что под этим словом разумеем не какой-то *x*, а вполне определенную величину, которую мы знаем все одинаково и знаем только из самих себя, как сознание себя с своим телом единым, нераздельным с собою, и потому такое понятие неотнормировано к тем клеточкам, из которых состоит мое тело.

Какими бы исследованиями и наблюдениями ни занимался человек, для выражения своих наблюдений он обязан под каждым словом разумеет то, что всеми одинаково бесспорно разумеется, а не какое-либо такое понятие, которое ему нужно, но никак не сходится с основным, всем известным понятием. Если можно слово «жизнь» употреблять так, что оно обозначает безразлично: и свойство всего предмета, и совсем другие свойства всех составных частей его, как это делается с клеточкой и животным, состоящим из клеточек, то можно также употреблять и другие слова, – можно, например, говорить, что так как все мысли из слов, а слова из букв, а буквы из черточек, то рисование черточек есть то же, что изложение мыслей, и потому черточки можно назвать мыслями.

Самое обычное явление, например, в научном мире – слышать и читать рассуждения о происхождении *жизни* из игры физических, механических сил.

Да едва ли не большинство научных людей держится этого... затрудняюсь, как сказать... мнения не мнения, парадокса не парадокса, а скорее шутки или загадки. Утверждается, что жизнь происходит от игры физических и механических сил, – тех физических сил, которые мы называли физическими и механическими только в противоположность понятию жизни.

Очевидно, что неправильно прилагаемое к чуждым ему понятиям слово «жизнь», уклоняясь далее и далее от своего основного значения, в этом значении удалилось от своего центра до того, что жизнь предполагается уже там, где, по нашему понятию, жизни и быть не может. Утверждается подобное тому, что есть такой круг или шар, в котором центр вне его периферии.

В самом деле, жизнь, которую я не могу себе представить, иначе, как стремлением от зла к благу, происходит в той области, где я не могу видеть ни блага, ни зла. Очевидно, что центр понятия жизни перестановлен совсем. Мало того, следя за исследованиями об этом чем-то, называемом жизнью, я вижу даже, что исследования эти и не касаются почти никаких известных мне понятий. Я вижу целый ряд новых понятий и слов, имеющих свое условное значение в научном языке, но не имеющих ничего общего с существующими понятиями.

Известное мне понятие жизни понимается не так, как все понимают его, и выводные из него понятия тоже не сходятся с обычными понятиями, а являются новые, условные понятия, получающие соответствующие выдуманные названия.

Человеческий язык вытесняется всё более и более из научных исследований, и вместо слова, средства выражения существующих предметов и понятий, воцаряется научный воляпук, отличающийся от настоящего воляпука только тем, что настоящий воляпук общими словами называет существующие предметы и понятия, а научный – несуществующими словами называет несуществующие понятия.

Единственное средство умственного общения людей есть слово, и для того, чтобы общение это было возможно, нужно употреблять слова так, чтобы при каждом слове несомненно вызывались у всех соответствующие и точные понятия. Если же можно употреблять слова как попало и под словами разумеет, что нам вздумается, то лучше уж не говорить, а показывать всё знаками.

Я согласен, что определять законы мира из одних выводов разума без опыта и наблюдения есть путь ложный и ненаучный, т. е. не могущий дать истинного знания; но если изучать

заявления мира опытом и наблюдениями, и вместе с тем руководствоваться в этих опытах и наблюдениях понятиями не основными, общими всем, а условными, и описывать результаты этих опытов словами, которым можно приписывать различное значение, то не будет ли еще хуже? Самая лучшая аптека принесет величайший вред, если ярлыки на банках будут наклеиваться не по содержанию, а как удобнее аптекарю.

Но мне скажут: наука и не ставит себе задачей исследования всей совокупности жизни (включая в нее волю, желание блага и душевный мир); она только делает отвлечение от понятия жизни тех явлений, которые подлежат ее опытным исследованиям.

Вот это было бы прекрасно и законно. Но мы знаем, что это совсем не так в представлении людей науки нашего времени. Если бы было прежде всего признано понятие жизни в его центральном значении, в том, в котором все его понимают, и потом было бы ясно определено, что наука, сделав от этого понятия отвлечение всех сторон его, кроме одной, подлежащей внешнему наблюдению, рассматривает явления с одной этой стороны, для которой она имеет свойственные ей методы исследования, тогда бы было прекрасно и было бы совсем другое дело: тогда и место, которое заняла бы наука, и результаты, к которым бы мы приходили на основании науки, были бы совсем другие. Надо говорить то, что есть, а не скрывать того, что мы все знаем. Разве мы не знаем, что большинство опытно-научных исследователей жизни вполне уверены, что они изучают не одну только сторону жизни, а всю жизнь.

Астрономия, механика, физика, химия и все другие науки вместе, и каждая порознь, разрабатывают каждая подлежащую ей сторону жизни, не приходя ни к каким результатам о жизни вообще. Только во времена своей дикости, т. е. неясности, неопределенности, некоторые науки эти пытались с своей точки зрения охватить все явления жизни и путались, сами выдумывая новые понятия и слова. Так это было с астрономией, когда она была астрологией, так было и с химией, когда она была алхимией. То же происходит и теперь с той опытной эволюционной наукой, которая, рассматривая одну сторону или некоторые стороны жизни, заявляет притязания на изучение всей жизни. Люди с таким ложным взглядом на свою науку никак не хотят признать того, что их исследованиям подлежат только некоторые стороны жизни, но утверждают, что вся жизнь со всеми ее явлениями будет исследована ими путем внешнего опыта. «Если, говорят они, — *«психика»* (они любят это неопределенное слово своего воляпюка) неизвестна еще нам, то она будет нам известна». Исследуя одну или несколько сторон жизненных явлений, мы узнаем все стороны; т. е., другими словами, что если очень долго и усердно смотреть на предмет с одной стороны, то мы увидим предмет со всех сторон и даже из середины.

Как ни удивительно такое странное учение, объяснимое только фанатизмом суеверия, оно существует, и, как всякое дикое фанатическое учение, производит свое губительное влияние, направляя деятельность человеческой мысли на путь ложный и праздный. Гибнут добросовестные труженики, посвящающие свою жизнь на изучение почти ненужного, гибнут материальные силы людей, направляясь туда, куда не нужно, гибнут молодые поколения, направляемые на самую праздную деятельность Киф Мокеевичей, возведенную на степень высшего служения человечеству.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.